ЧЕЛОВЕК И ОРУЖИЕ

О. ГОНЧАР

ОЛЕСЬ ГОНЧАР

ЧЕЛОВЕК И ОРУЖИЕ

ЧЕЛОВЕК И ОРУЖИЕ

ОЛЕСЬ ГОНЧАР

ЧЕЛОВЕК И ОРУЖИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Гончару
Александру Терентьевичу
за роман
«Человек и оружие»
присуждена премия
имени Т. Г. Шевченко 1962 года.

ОЛЕСЬ ГОНЧАР

ЧЕЛОВЕК И ОРУЖИЕ

РОМАН

Авторизованный перевод с украинского
М. Алексеева и И. Карабутенко

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1962

Послесловие В. Чалмаева

Художник
Д. Пяткин

1

Еще никто ничего не знает.

Еще бестревожно ходят по городу те, которым суждено биться на боевых рубежах, вырываться из окружения, гореть в кремационных печах концлагерей, насмерть стоять у Сталинграда и штурмовать Берлин; еще стоит на возвышении посреди города серый массивный ДКА — Дом Красной Армии, где через несколько лет — на месте, расчищенном от руин,— будет разбит сквер и зажжен вечный огонь на могиле Неизвестного солдата.

Еще все как было.

Еще, разбредясь с самого раннего утра по паркам и библиотекам, забравшись в опустевшие аудитории факультетов, склонились над конспектами студенты — готовятся к последним экзаменам.

Двое из них сидят в пустой аудитории истфака.

Утром, когда пришли сюда, Таня сама загородила дверь стулом. Богдан стоял в стороне и улыбался. Энергии, горячности и упорства было у нее куда больше, чем силы в руках. Все же Таня справилась со стулом, забаррикадировалась, заперлась, как хотела: прочно, словно бы от всего мира. И, порывистая, с растрепанными волосами, обернулась к Богдану:

— Теперь тебя никто у меня не отберет!

Они посмотрели на припертую стулом дверь и рассмеялись: действительно, теперь они тут одни со своей любовью. Только вчера помирились они после тяжелой размолвки. Это была одна из тех размолвок,

которые возникают между влюбленными из-за пустяков, почти из ничего, но значат для них больше, чем наисерьезнейшие мировые проблемы. Теперь им ясно, что не стоило ссориться; не хотелось и вспоминать об этой ранящей беспричинной ревности, которая отняла у них столько счастливых дней. Сейчас, примирившись, они как бы заново упивались своим чувством, возрожденным, переболевшим и оттого еще более нежным и жарким. Если бы это зависело только от Тани, она в знак примирения весь день тут целовалась бы, забыв про конспекты. Она потянулась к Богдану, к милому своему Богданчику: целуй!

Он легко подхватил ее на руки и, на ходу осыпая горячими поцелуями, понес в самый дальний угол, посадил, как школьницу, на стул.

— Сиди!

Положил перед нею ее небрежно свернутые, покрапленные парковыми дождями конспекты.

— Учи!

Теперь она сидит и зубрит крестовые походы. Не столько, правда, зубрит, сколько наслаждается своими мечтами, своими светлыми девичьими видениями. Время от времени украдкой, счастливо и воровато поглядывает на него.

Углубленный в конспекты, Богдан сидит в другом конце аудитории, перед самой кафедрой. Вот он поправил шевелюру. Таня видит его руку, сильную руку спортсмена. Нахмурившись, он снова окунулся в средние века. Такой вот задумчивый, в поношенной рубашке, с аккуратно засученными выше локтей рукавами, Богдан ей особенно нравится. Сколько мужественности во всей его фигуре, в густом непокорном чубе, откинутом назад! Даже вот так, когда Богдан сидит, по его горделивой высокой шее видно, какой он стройный. По-цыгански смуглый,— девчата говорят, что он красавец, но для нее он больше, для нее он — само счастье.

Несколько дней назад, когда между ними произошел разрыв, думала — не переживет. Жизнь без него сразу погасла, поблекла, утратила смысл. Несчастная, измученная ревностью, убитая горем, бродила Таня

вечерами по городу, по каменным катакомбам кварталов, живя одной надеждой: хоть случайно встретить его где-нибудь, хоть издали глянуть, когда он будет возвращаться из библиотеки в общежитие. Больше всего боялась увидеть его в такое время с другой, с какой-нибудь незнакомой девушкой редких, исключительных достоинств, к которой заранее ревновала — ревновала до потемнения в глазах. А он вся-

кий раз возвращался из библиотеки с хлопцами, шагал мрачный и недоступный, с конспектами и буханкой под мышкой. Притаившись где-нибудь, Таня жадно следила за ним, пока ребята не исчезали в сумраке вечерней улицы.

В те ночи одиночества и неприкаянности, как лунатик, бродила она по местам своей любви, по улице Вольной академии, где встретилась с ним впервые, по студенческому «Острову любви», над Журавлевской кручей, где впервые узнала сухой, жаркий вкус его поцелуя. Освещенная электрическими огнями Журавлевка и далекая перекличка ночных поездов только усиливали боль утраты. Возвращаясь в общежитие, слушая поздний гомон буйной своей студенческой республики — Толкачевки и Гиганта, все надеялась, все ждала: рано или поздно он вернется, и с ним возвратится то, без чего она не могла жить.

Теперь он опять с нею. Цветет душа! — так могла бы назвать она свое чувство. Вот он здесь, рядом. Можно неслышно подкрасться к нему сзади и обнять, ущипнуть за ухо, дернуть за жесткий непокорный чуб... Однако нет, этого делать нельзя, ведь он штурмует средние века. Но можно скатать бумажный шарик и кинуть в его сторону — так она часто проказничала на лекциях,— шарик упадет перед ним на столе, и он, развернув его, хмуря брови, прочтет: «Je vous aime»[1].

Штурмует, штурмует. Короли, папы, рыцарские походы, обычаи, а того не знает, что сам он для нее сейчас лучше всех рыцарей на свете. Как любит она его за этот нахмуренный лоб! Спартанская душа! Нелегко даются ему науки, намного труднее, чем ей, но из гордости он и знать не хочет шпаргалок и не полагается на случай, он идет на экзамен с твердой уверенностью в себе, в своей силе и в том, что никто и ничем не собьет его.

Сама жизнь выработала в нем этот характер. Рос без отца. Чтобы хватило до стипендии, ночами ходил на товарную станцию — разгружал вагоны. Во время

[1] Я вас люблю *(франц.)*.

каникул тоже работал. Прошлым летом в рыболовецкой артели, где-то в днепровских плавнях, тяжелые неводы таскал. Вернулся, и Днепром от него пахнуло, шалашами, дымом костров вечерних. Загар никогда не сходит с него. Даже зимой, возвращаясь со своих запорожских каникул, он будто под лучами тропического солнца побывал.

— С Сечи Богдан вернулся! — шутили друзья.

Весь факультет знает, что они — еще с первого курса — влюбленная пара, что Таня Криворучко его, Богдана Колосовского, невеста.

Сдадут последние экзамены, и откроется перед ними лето, вольное, загорелое. Как бы хотелось ей сейчас бросить конспекты и податься вдвоем за город, в поле за лесопарком, где трамвай влетает прямо в рожь!

Весна промелькнула совсем незаметно, только и видели они из этого окна, как бродили по горизонтам высокие седые дожди, только и слышали, как шелестели они за окном по деревьям, с тихим звоном барабанили по крыше, по разогретым камням домов. Потом опять было солнце — и дымились асфальты, и блестели деревья своею мокрой зеленью, а из окон студенческих аудиторий видно было, как где-то сразу же за Южным вокзалом, за сверкающими после дождя крышами домов радуга воду берет. Туда — к радугам, на просторы загородные — манило студенческую душу...

Зато лето нынче будет у них необычайное: они впервые проведут его вместе, поедут на археологические раскопки. Многие студенты разъедутся этим летом на раскопки — кто в Крым, кто к Каменной могиле на реке Молочной, где, по слухам, обнаружены доисторические рисунки в пещерах первобытного человека, а им, Тане и Богдану, старый профессор предложил Ольвию — именно то, чего им самим больше всего хотелось. Древняя Ольвия, по-нашему «Счастливая», давно влечет обоих, давно им хочется раскопать ее, засыпанную песками, чтобы дознаться, почему она погибла, почему люди покинули ее. Полторы тысячи лет назад город бурлил жизнью, к нему

от солнечных берегов Эллады прибывали корабли, шумел рынок многолюдный, на аренах проходили спортивные битвы, и в честь победителей на мраморных плитах город чеканил слова декретов: «*Пурфей, сын Пурфея, будучи архонтом, победил копьем и диском...*» Архонт — это вроде председателя горсовета, и Таня даже улыбнулась, представив, как бежит по арене председатель горсовета в трусах, завоевывая своему городу первенство.

— «Пурфей, сын Пурфея...» — имитируя голос профессора, торжественно декламирует она из своего угла, но Богдан не поддается на уловку, не оборачивается, и Таня только и слышит от него:

— Не мешай!

Ей даже нравится, когда он вот так покрикивает на нее, этот ее атлет факультетский, который тоже мог бы «побеждать копьем и диском». Не читается Тане. Все видится ей степное лето, ольвийское небо высокое, под которым они будут с Богданом вместе, вдвоем. Сказочная Ольвия, лунные ночи, тихие лиманы — все это для них, для них...

Дверь вздрогнула от неожиданного грохота. Богдан удивленно поднялся:

— Кто?

И, еще не услышав ответа, бросился к двери.

Запомните этот миг! Навсегда запомните эту последнюю свою студенческую аудиторию на третьем этаже истфака, где, ворвавшись сквозь забаррикадированную дверь, настигло вас страшное, ошеломляющее слово:

— Война!

2

Новый Хасан?

Халхин-Гол?

Нет,— видать, это было нечто пострашнее.

В дверях аудитории стоит неуклюжий широкоплечий Степура, их друг и однокурсник. Никогда Таня не видела его таким. Губы бледные, прерывисто дышит, хочет заговорить и не может, будто что-то застряло в горле.

Богдана это бесит.

— Говори же!

Степура тяжело двигает толстыми губами:

— Бомбили ночью Киев, Севастополь и еще какие-то города... Кажется, Одессу, Минск...

— Ты откуда знаешь?

— Весь город знает... Только вы тут как на острове... Я тоже сидел читал, потом вышел за папиросами, а там уже все кипит. Громкоговорители разрываются, людей на площадях тысячи... Так-то, брат Таня.— Степура с горечью посмотрел на девушку.— Бомбы летят, вот какая история. А мы пели: «Если завтра война...»

Достав из пачки папиросу, он пытается прикурить, но спички ломаются одна за другой. Наконец одна зажглась, он подносит ее к папиросе, и Таня замечает, как грубая рука его еле заметно дрожит, и сам он, неуклюжий, кряжистый, кажется ей сейчас удивительно беззащитным.

— Как бандиты напали,— говорит он.— Без предупреждения, вероломно, бесчестно...

Богдан, нахмурившись, стоит у стола над раскрытым конспектом, словно вспоминает что-то. Потом решительно закрывает конспект, складывает тетрадь к тетради аккуратной стопкой. Таня невольно фиксирует каждое его движение. На какой срок складывает он свои конспекты? Когда их снова откроет?..

Они выходят.

Таня все не выпускает его руку. Как ухватилась в аудитории, так и не выпускает, держится инстинктивно, будто предчувствуя разлуку.

В коридорах — вече новгородское. Студенты разных курсов, толпясь тут и там, возбужденно гомонят.

— Этого надо было ждать!

— Но ведь договор о ненападении на десять лет?

— Фашизм есть фашизм!

Двери аудиторий распахнуты настежь, разбаррикадированы — теперь не до наук. Скорее на улицу! Сердцу хочется услышать, что это всего-навсего какое-то ужасное недоразумение, что оно еще разъяснится и опять все будет, как было.

На первом этаже, проходя мимо военной кафедры, увидели через приоткрытую дверь Духновича. Худой, сутулый, он стоял посреди комнаты над миниатюрполигоном, и по его едва заметной улыбке было видно: он еще ничего не знает и думает, вероятно, не о муляжном этом рельефе, не о войне, которая уже ворвалась в тишину аудиторий, а о чем-то другом, далеком.

— Мирон, война!

Лицо его скривила недоверчивая ухмылка.

— Я еще не подготовился,— ответил он шуткой.

Но когда они зашли в аудиторию, вид у них был слишком необычен, чтобы подозревать розыгрыш.

— Собирайся, брат...

Военная кафедра. Это та самая комната, где им так надоедал придирчивый и педантичный майор, руководитель кафедры, где так осточертели им потрепанные военные плакаты на стенах, носатый противогаз в разрезе, учебный пулемет с дырочкой, просверленной в патроннике... Остановившись перед огромным столом с бутафорским полем, словно другими глазами рассматривают «пересеченную местность» с крохотными холмами и речками. Гипс, раскрашенные опилки, изображающие траву, метелочки деревьев... Как убого! Неестественная желтизна хлебов и ядовитозеленый простор лугов, и речка, и лесок — все мертвое, неправдоподобное, засохшее, будто сама война вставала в образе этого неживого пейзажа. Мертвый ландшафт лежал перед ними вполкомнаты, а им виделась живая степь, с ее запахами, с дозревающими хлебами, и ветер полевой, и небо, полное жаворонков, и радуги, что над полями светятся сочно! Бомбы упали сегодня на хлеба. Где-то их уже топчут танки, кромсают снаряды...

На муляжных пригорках распластался портфель Духновича. Он туго набит книгами, а сверху, на портфеле, лежат замусоленные военные уставы — Духнович никак не мог постигнуть всю их премудрость и сейчас, похоже, снова зубрил, готовясь к пересдаче зачета. Как-то получалось, что Духнович, этот факультетский философ, охотно и легко штудировав-

ший даже внепрограммные науки, до сих пор так и не смог осилить устав караульной службы, не научился как следует «козырять», ходить с компасом по азимуту на занятиях в лесопарке, где он всякий раз сбивался с заданного направления, вызывая насмешки товарищей и недовольство преподавателя.

— Ну как, друже? — кивнув на уставы, обратился Богдан к Духновичу.— Одолел?

Духнович скривился, что должно было означать улыбку.

— Эти уставы нагоняют на меня какой-то, ну, просто мистический ужас. Они будто на санскрите написаны: сколько ни расшифровываю, никак не доберусь до смысла.

— То уже вчерашнее,— печально заметил Степура.— Теперь, видно, не такие зачеты будем сдавать.

Они вместе вышли на улицу. Все как раньше: спокойная зелень деревьев, и день тихий, ни солнечный, ни облачный, в теплой дымке мглистой; но тревога как бы разлита в воздухе, она уже проникла в город, в души людей.

Сумская клокочет. На перекрестке, у репродуктора — толпа. Особенно людно в парке, возле памятника Тарасу Шевченко. Все ждут чего-то, не расходятся... Суровый бронзовый кобзарь, склонившись над людьми, молча думает свою думу.

В толпе Степура заметил Марьяну и Лагутина. Они стояли обнявшись, чего раньше не позволили бы себе на людях. Он бледный, сосредоточенный и будто бы равнодушный к ней, а она прижалась, притулилась к нему плечом, будто говорит: ты мой, мой, я никому тебя не отдам...

Степура не может взять в толк, как он, этот Лагутин, этот худощавый белобрысый его соперник, может сейчас быть безразличным к ней. Если бы к Степуре так льнула она, любовь его давняя, безнадежная! Сколько мечтал о ней ночами, сколько стихов ей написал, а она, ласковая, горячая, с румянцем калиновым,— для другого, который уже привык и, кажется, не дорожит ею!

Вверху между деревьями блестит на солнце могучая, литая фигура поэта, а ниже вокруг пьедестала,— бронзовая покрытка [1] с ребенком на руках, и повстанец с косой, и тот, который цепи рвет, и тот, который лежит раненый у переломленного древка знамени, и все вы, кто сейчас смотрит на них,— не ваша ли это судьба, вчерашняя и завтрашняя, темнеет суровой бронзой высоко меж деревьев?

Заглядевшись на памятник, Степура не заметил, как потерял в толпе Марьяну и Лагутина. На глаза ему попала стоящая поблизости незнакомая женщина с ребенком на руках; лицо женщины заплакано, а в широко открытых глазах — мольба о помощи, немой вопрос: неужели правда? Она смотрела на Степуру так, словно бы он мог еще опровергнуть это ужасное известие...

— Ты идешь? — услышал Степура позади голос Богдана.— Мы с Таней пошли.

Выбравшись из толпы, они двинулись вверх по Сумской, к своему студенческому городку. Духнович поплелся с ними, хотя жил в центре с родителями. Молча перешли на Бассейную, заглянули в знакомый магазин, где обычно брали хлеб, но сейчас магазин пуст: полки голые, хоть шаром покати. Возле другого магазина — шум, толкотня: расхватывают все, что есть,— мыло, спички, соль...

— С ума, что ли, посходили? — пожал плечами Духнович.— Зачем вам, гражданка, столько соли? — придержал он женщину, которая со свертками в обеих руках бежала навстречу.

С виду интеллигентная горожанка вмиг превратилась в сущую бабу-ягу.

— Что ты в этом понимаешь, чистоплюй? — люто набросилась она на Духновича.

И побежала, одарив студентов таким взглядом, что Тане стало не по себе; и в словах женщины, и в этих ее с бою взятых кульках Тане почудилось что-то

---

[1] Незамужняя мать, которая «покрывается», то есть повязывается платком, как замужняя женщина. Один из образов шевченковской поэзии.

страшное, пока еще далекое, но приближающееся; покамест лишь сердцем почувствовалось горе тех многострадальных матерей, обездоленных солдаток, которые, впрягшись в санки, отправятся по оккупированной земле сквозь вьюги-метели менять и будут замерзать с детьми, заметенные снегом на дорогах. Этого еще не было, такого Таня и в мыслях не допускала, и все же слова незнакомой женщины глубоко ранили девушку, легли на душу тяжким предчувствием.

Шли и как бы не узнавали знакомых скверов, улиц, домов. В окнах квартир чьи-то руки уже обклеивают изнутри стекла полосками бумаги, крестнакрест, а во дворах роют щели, укрытия от бомб,— оказывается, есть уже такой приказ штаба ПВХО. Эти серые многоэтажные дома — неужели и на них будут падать бомбы? Эти трамваи звонкоголосые — неужели они перестанут ходить?

Возле корпусов Гиганта увидели маленького красноармейца с кисточкой в руке, он что-то наклеивал на стену.

Подошли, прочитали только что отпечатанное, крупно набранное объявление — приказ о мобилизации. Обращение к людям, которых страна первыми зовет на бой. Годы, годы, годы...

— Все мои братья подпадают,— глухо молвил Степура.— И батько тоже.

— А мой давно уже там,— сказал Духнович: отец его был военным врачом.— Видно, теперь и мать призовут, она будет нужна... Один только я вот ни к селу ни к городу...

— Думаешь, нас чаша сия минет? — сказал Богдан, и Тане послышалась злость в его голосе.— Разве мы не годны к бою?

Духнович растерянно захлопал глазами.

— А отсрочка? — Худое, веснушчатое, с рыжими бровями лицо его выражало удивление.— У нас же отсрочка до окончания университета?

Богдан нахмурился, глянул на Таню.

— Какие теперь отсрочки...

3

В темноту окунулся город.

Кажется, никогда не было такой густой темноты, как в эти первые ночи светомаскировки. Ослепли призрачно вырисовывающиеся громады домов, таинственностью наполнились парки, скверы. Черное небо нависло над городом, какой-то необычной звездностью удивляя горожан, из которых мало кто спит в эту ночь.

На крышах домов — посты. Посты и на земле. На каждую полоску света в окне — свисток милицейский.

Из глубины улиц ползут трамваи с синими фарами во лбу. Странным становится лицо человека, попавшего в полосу этого мертвенно-синего, низко ползущего света. Прогромыхает трамвай, и снова тишина.

Не почтальоны — рассыльные военкоматов разносят в этот поздний час пачки повесток от дома к дому, от подъезда к подъезду. В самых глухих переулках звучат их четкие шаги, слышно, как один, остановившись перед домом, громко спрашивает у дворника:

— Какой номер?

А через улицу другой рассыльный допытывается — так же требовательно, нетерпеливо:

— Номер, номер какой?!

По всем районам города в тысячи квартир стучит война, вручает повестки.

Только к студенческим общежитиям не сворачивают рассыльные. Покамест студенты могут спать спокойно — у них броня до окончания университета. Однако и студентам теперь не спится.

В комендантской у телефона бессменно дежурят вооруженные комсомольцы, при входе в общежитие маячит часовой с винтовкой и противогазом. Не учебная малокалиберка — настоящая боевая винтовка в эту ночь у студента на плече. Комендантская отныне именуется штабом — окна в ней плотно завешены студенческими одеялами. Старшим здесь Спартак Павлущенко, член университетского комитета комсо-

мола, ответственный за осоавиахимовскую работу. Во время финской он попал в лыжный батальон, и, хотя до фронта их так и не довезли, возвратился Спартак вроде бы фронтовиком, с той поры во всех президиумах восседал с видом утомленного боями ветерана. С тех же времен на правах человека военного Спартак носит эту гимнастерку, портупею и ремень с медной командирской пряжкой, которая сверкает на нем и сейчас. Правда, для полноты впечатления Павлущенке немного не хватает роста — он едва ли не самый низкорослый на факультете,— зато солидности у него хоть отбавляй; она у него во всем: в походке, в повороте головы, в неестественно приподнятых плечах, в локтях, оттопыренных на какой-то особый манер.

Когда в комендантской звонит телефон, Спартак опрометью бросается к нему:

— Историки! Штаб МПВО слушает!

И, припав ухом к трубке, слушает с таким видом, будто с ним разговаривает не дежурный с истфака, а кто-то стоящий сейчас в самом центре событий. Полное, розовощекое лицо Павлущенки в эти минуты сосредоточенно, серые расширившиеся глаза полны высокой решимости.

Время от времени он выходит из комендантской и, громко постукивая каблуками в вестибюле, направляется проверять пост, выставленный у входа в корпус. На посту сейчас Слава Лагутин, надежный парень, которому Спартак не имеет оснований не доверять, но Павлущенку раздражает, что возле Лагутина все время вертится Марьяна Кравец, эта чернявая красавица, которая не могла придумать ничего лучшего, как прибежать из девичьего общежития на свидание в такое время и в такое место.

— Я тебе уже говорил,— раздраженным тоном обращается к девушке Спартак,— пост не место для свиданий.

— Иду, иду,— отвечает Марьяна, отступая шаг назад и делая вид, будто собирается уйти.

— Это я уже слыхал. А уйду — ты опять тут как тут!

— Ну, что случится с тобою, Спартак, если я немножко, самую малость тут постою?

— Со мною — ничего. Но должен же быть порядок! И вообще что за разговор? Сказано, уходи — значит, уходи, ежели не хочешь неприятностей себе и ему.

Спартак при этом покосился на Лагутина, к которому Марьяна опять прижалась.

— Почему ты ей ничего не скажешь? — обрушился Спартак уже на Лагутина.— Ты ж знаешь порядок?

— Правда, Марьяна, иди,— говорит Лагутин и неохотно отстраняет ее.— До завтра!

Перед тем как уйти, Марьяна еще раз приблизилась к Славику, торопливо не то поцеловала, не то шепнула ему что-то, а уходя с независимым видом, так крутанула туго заплетенной косой перед Павлущенкой, что даже хлестнула его по плечу.

Некоторое время Спартак молча смотрел Марьяне вслед. Убедившись, что девушка исчезла в темноте, повернулся к Лагутину.

— Ты смотри тут. Прислушивайся!

— Весь — внимание! — В голосе Лагутина прозвучали насмешливые нотки.

Спартак подошел к нему вплотную, снизил голос до шепота:

— Есть данные, что они диверсантов к нам забрасывают. Говорят, в милицейскую форму переодеты. Ясно?

— Ясно.— Лагутин перестал улыбаться.

— Особенно туда вон поглядывай.— Спартак настораживающе кивнул в сторону кладбища и затих, словно оттуда, из темных зарослей, уже и в самом деле выползали, подкрадывались к общежитию диверсанты.

Оставшись один, Славик не мог глаз оторвать от темной чащи кладбищенской зелени за забором, где они еще вчера с Марьяной загорали, вместе готовились к экзаменам.

Это кладбище, его густые, дикие заросли — излюбленное место студентов. Каждую весну и лето они там загорают, зубрят конспекты да целуются либо

целыми компаниями фотографируются под крылатыми ангелами и у могил своих прославленных предков. Там похоронено много профессоров и ректоров университета, в том числе баснописец Гулак-Артемовский, академик Баглий, художник Васильковский — «небесный» Васильковский, которого так любит Лагутин... Прошлой весной на кладбищенском просторе среди студентов мелькали и госпитальные халаты: неподалеку был военный лазарет, и раненые да обмороженные коротали тут свое время, поправляясь после финской. Со многими из них студенты подружились, один из командиров попытался было даже отбить у Лагутина его Марьяну, но, несмотря на это, они расстались друзьями.

И вот теперь в сторону этого кладбища, которое было таким укромным местом студенческих свиданий, ты должен смотреть с зоркостью часового, должен прислушиваться к малейшему шороху в его сиреневых зарослях; а когда оттуда появится вдруг, махнув через забор, чья-то подозрительная фигура,— останови ее суровым окриком:

— Кто идет?

Окажется, что это идет Дробаха Павло, беспечный гуляка, парень донбассовский, из тех, что не боятся ни черта, ни декана,— когда-то из таких вот выходили повесы, дуэлянты лихие. Там, за кладбищенской оградой, ночами напролет пропадал Дробаха, там, среди сиреневых зарослей и крапивы, буйно расцветала его неприхотливая любовь. И война, кажется, ничего не изменила. Привычно перескочив ограду, подошел к Лагутину, веселый, взлохмаченный, попросил закурить.

— Тут не курят,— сказал Лагутин.— No smoking! [1] — И добавил: — Чуть не бахнул по тебе.

— Не попал бы. А ежели и попал, не пробил бы: кожа на мне — будь здоров!

— Да знаем... Все бродишь... Ну, где был?

— А где ж бедному студенту быть? Бродил. Промышлял. Пил радости мира, как сказал бы поэт. А я го-

[1] Не курить! *(англ.)*

ворю по-своему: дурак тот, кто не умеет жить в свое удовольствие. Ведь мир чудесен! Наслаждайтесь им!

— Ты считаешь, для этого сейчас подходящее время?

— А что?

— На этот мир покушаются...

— Черта пухлого!

— Что черта пухлого?

— Руки им поотбиваем, не горюй!

И пошел в вестибюль, насвистывая.

Вскоре из темноты появилась перед Лагутиным еще одна фигура — высокая, стройная, подвижная — Богдан Колосовский. Похоже, провожал Таню до общежития на Толкачевке. Богдан подошел к Лагутину, неловко улыбаясь: видно, ему было малость неудобно, что в такое время, когда другие стоят на посту, делают дело, он идет себе со свидания, обцелованный девушкой.

— Тебе, наверно, пора сменяться? Хочешь, я встану?

— Нужно Спартака спросить.

— Зачем спрашивать?

— Без этого нельзя. Там списки.

— Ну так я пойду к нему.

В комендантской Спартак тем временем разговаривал с кем-то по телефону, то и дело приговаривая «есть!», «есть!», а хлопцы — среди них и Дробаха,— рассевшись на столах и на подоконниках, молча смотрели на него — кто хмуро, кто с веселым любопытством, наблюдая его в этой новой и, видать, очень приятной для него роли.

Когда Богдан вошел, Павлущенко, уже кончив разговор, исподлобья посмотрел на Колосовского, и круглая голова его в светлых волнистых кудрях наклонилась над каким-то списком, который лежал перед ним на столе.

— Разреши мне сменить Лагутина,— обратился Богдан к Спартаку.

— Лагутина сменяет Ситник,— холодно ответил тот и крикнул в угол, где столпились ребята: — Ситник, заступай на пост!

Первокурсник Ситник, шустрый, остриженный под ежик парнишка, юркнул в дверь. Через минуту в комнате появился Лагутин.

— Ну, что ж ты? — обратился он к Богдану.

Колосовский шагнул ближе к Спартаковым спискам:

— Когда там моя очередь?

Спартак, начальнически хмурясь и не подозревая, как не идет это к его полным, по-детски розовым щечкам, долго ищет Богдана в списке и наконец раздраженно объявляет:

— Тебя нет.

— Как нет?

— А так вот — нет.

— Кто составлял список?

— Известно кто. Бюро. Я.

Те, кто следил за Колосовским, увидели, как он побледнел.

— Почему же меня не внес в список?

Скрипнул стул. Круглая голова Спартака снова склонилась, рассыпалась кудрями над списком.

— А мы не вносим всех подряд. Тут отобрали кого следует.

Эти слова окончательно возмутили ребят.

— А его, по-твоему, не следует? Отличник учебы! Ворошиловский стрелок! — закричали отовсюду.

— Допиши! — соскочил с подоконника Дробаха.— Скажи, что пропустил случайно! По темноте своей.

Спартак сразу же осадил его:

— Ты лучше помаду вытри на щеке! Кому война, а кому...

Проведя кулаком по щеке, Дробаха продолжал, однако, свое:

— Такому товарищу и ты не доверяешь? Стреляешь хуже него, а тут заупрямился, не можешь доверить Богдану отстоять один час на твоем дурацком посту?

Это совершенно взбесило Спартака. Он поднялся из-за стола — приземистый, плотно затянутый ремнем толстячок.

— Вижу, о тебе тоже следовало бы подумать, если ты считаешь наш пост... бессмысленным,— надувшись,

глянул он на Дробаху, и в голосе его вдруг зазвучали угрожающие нотки.— Тебе известно, что такое пост? Известно, что объявлено военное положение?

Дробаха спокойно шагнул к столу.

— Ну и что?

— А то, что нам нужна сейчас утроенная бдительность!

— К кому?

— Ко всем! К тебе! Ко мне! Ко всем!

Лагутин, подойдя к Спартаку сзади, положил руку ему на плечо:

— Ты, товарищ Цицерон, речей нам не закатывай. Объясни толком: почему в списке нет Колосовского? Кто тебе дал право унижать, оскорблять — да еще в такое время — нашего товарища?

— Ты меня не учи! — Спартак сердито стряхнул руку Лагутина.— И вы тут не митингуйте! Демократия кончилась! Позвольте уж мне судить, кого надо включать в список, кого нет! Прежде чем защищать, вы у него спросите! — крикнул он, не глядя на Богдана.— Спросите, где его отец.

Богдан почувствовал, как жаркая кровь огнем заливает ему лицо. Отец... Ничем иным сейчас нельзя было сразить его так тяжко, как именно напоминанием об отце... Ты сын человека, которого назвали врагом народа, который выключен из этой жизни. На курсе знают об этом, некоторые хлопцы тайком даже сочувствуют, и все же сейчас ты перед ними как бы и действительно в чем-то виновен. Будто бы утаил. Будто бы украл. Не находилось слов для возражений Спартаку, и вообще не оставалось ничего другого, как только молча выйти из комендантской. Богдан повернулся и вышел, избегая взглядов товарищей.

Поднимаясь в темноте по ступенькам, чувствовал, как горит лицо, как бьет в висках кровь.

У себя в комнате Богдан, не раздеваясь, упал на постель, зарылся головой в подушку. Недоброе, мстительное чувство душило его, сердце жгла боль незаслуженной обиды.

Этот Спартак, может быть, и сам не подозревает, какой глубокой кровоточащей раны в сердце Богдана

коснулся. Недоверие, недоверие, с такой грубой откровенностью высказанное!

В углу заскрипела кровать Степуры. Оказывается, тот еще не спит. Вздохнул, обратился к Богдану:

— Будешь ужинать? Там хлеб, повидло в тумбочке.

Богдан не отозвался.

— Лежу вот и думаю,— заговорил немного погодя Степура,— наверное, повестки уже получили...

Глуховатым баском он говорит то, что Богдан слышал от него не раз,— о старших братьях своих, Степурах, один из них — тракторист, другой — комбайнер, третий — конюх, все с женами, с кучей детей. Еще говорит что-то о батьке, он тоже подлежит мобилизации, и о своей отсрочке, которая дает ему льготу, дает почему-то преимущество перед братьями...

— И за что? За какие такие заслуги перед народом?

Богдан почти не слышит его. Вцепившись зубами в подушку, он никак не может подавить в себе обиду, ворочаясь, сжимает кулаки от боли, которая жжет и жжет его. В это грозное, напряженное время, когда Родина в опасности, ему не доверили оружие, его отбросили прочь! Тут, возле общежития, не доверяют, что же думать о фронте!

Жарко в комнате, хотя окно открыто. Вскочил с постели, разгоряченный, подошел к окну. Сразу же за дорогой темнота, будто и конца ей нет. Далеко над районом заводов мигнул прожектор. Мигнул, упал, погас, и стало еще темнее. Вспомнилось небо Запорожья в заревах доменных печей. Оттуда, из Запорожья, был взят отец — последнее время он работал в горвоенкомате. Вспомнилось висевшее на стене в комнате отца почетное революционное оружие, которым он был награжден за участие в ликвидации махновских банд. В сознании Богдана никак не укладывалось, что отец его изменил Родине, что надо отречься от него. Богдан беспредельно верил в честность отца.

Острые холодные глаза Спартака увидел перед собой. Так что ж, по-твоему, если мой отец там, мне, его сыну, доля народная, Родина моя Советская менее дороги?

Хлопнула дверь. Вошел Штепа. Не зажигая света, начал шарить в тумбочке — его кровать у двери.

— Еще не спите?

— А что? — отозвался Степура.

— Только что мы видели — ракету кто-то пустил.

— Где это вы видели?

— Мы с Безуглым на крыше дежурили, смотрим, а над лесопарком — вжик! Есть же, кто сигнализирует, а?

Богдану казалось, что Штепа в это мгновение обращается со своими подозрениями именно к нему и только ждет, что Богдан скажет на это... А может, вообще выдумал о ракете — Штепа и на такое способен. Может, по заданию Павлущенки выведывает настроение? Или мне уже мерещится?

Темно за окном, душно в комнате. Хоть бы Таня была здесь. Таня, она одна знает о нем все, она сердцем чувствовала его боль и сама страдала, видя, как страдает от подозрений гордость его, достоинство его человеческое, и Таня, как никто, умеет облегчить его горе.

Словно бы почувствовав его настроение, Степура встал с кровати, в трусах, в майке подошел к окну.

— Чего не ложишься? — потормошил он Богдана.

— Да так...

— Что-нибудь случилось? С Таней что-нибудь снова?

— Да нет...

Богдан не хотел ничего говорить при Штепе. Он слышал, как тот возится у своей тумбочки, как ужинает в темноте — колбаса аппетитно хрустит у него на зубах.

— Завтра наши хлопцы собираются отсрочки свои сдавать,— сказал Степура вполголоса.

Но Штепа услышал его:

— И чего им эти отсрочки мешают? Куда торопятся? Государство дало, стало быть, оно знало, что

делало. Не пойму, зачем спешить поперед батька в пекло.

— Ты можешь не спешить,— сердито бросил ему Степура.

— И не собираюсь. А ты разве пойдешь?

Степура ответил после паузы:

— Я пойду.

— А ты, Богдан?

— И я.

— Ну, как хотите.— Снова хрустнула колбаса.— А я так рассудил: раз у меня отсрочка, я больше нужен тут, чем там.

Поужинав, Штепа разделся, лег и вскоре захрапел.

Степура и Колосовский долго еще стояли у окна. Богдан в нескольких словах сообщил Степуре, что случилось в комендантской.

— Не горюй,— сказал Степура.— Рано или поздно все станет на свое место. «Война спишет»,— слышал я сегодня на улице. А я думаю, ничего она не спишет. Напротив, железом, огнем, кровью напишет правду о каждом из нас.

Спокойные раздумья его вроде бы немного остудили Богдана. Но даже и после того, как ребята улеглись, они долго еще не могли уснуть, взбудораженные пережитым за день.

Коротки летние ночи, а эта была непривычно долгой — казалось, никогда и не кончится.

4

Солнце?

Да, оно еще было.

Поднялось и осветило Журавлевку, заводы, и площадь Дзержинского, и стройную железобетонную громаду Госпрома — этот первый украинский небоскреб.

Возле Госпрома с самого утра людно. Можно подумать, тут сборный пункт какого-нибудь райвоенкомата. Но тут не военкомат. Тут Дзержинский райком партии. В его кабинетах непрерывно заседают

комиссии, вместе с представителями армии рассматривают заявления добровольцев.

Сегодня райком осаждают студенты. С утра было объявлено, что в этот день пройдут лишь гуманитарные факультеты, но те, чьи дела начнут рассматривать завтра, тоже не расходятся, группами снуют по площади, толпятся у подъездов, в коридорах. Ждут. Не зря же бросали они деревянные гранаты, не зря же ходили с малокалиберками на осоавиахимовское стрельбище!

Истребительные батальоны, о которых до сих пор еще никто не слыхивал, диверсионные группы, которые будут заброшены в тыл врага, маршевые роты, которые вскоре покинут этот город,— все они начинают свою жизнь тут.

От папиросного дыма не продохнуть в тесном коридоре, где сбились историки, филологи, географы... Каждый здесь чувствует себя словно перед сдачей тяжелого, решающего экзамена. И как во время экзамена, все внимание обращено на дверь, за которой заседает комиссия, все взгляды устремляются к тому, кто выходит оттуда. Кучей наваливаются на него, заглядывают в лицо, по блеску глаз угадывают, что все в порядке, и шутливо-радостным хором приветствуют:

— Годен!

И те, кто успел пройти комиссию, принимают его к себе — ведь он уже их, он уже кровный брат им.

А бывает, выйдет — и глаза его неуловимы. Попробует что-то объяснить. Мол, и тут, в тылу, кому-то нужно оставаться. И порок сердца. И то и се. Он ищет сочувствия. Но от него молча отворачиваются.

— Следующий!

Тот, кто готовится войти, держит наготове комсомольский билет и в нем — свою отсрочку, свою студенческую броню. Обыкновенная справка, обыкновенный листок бумаги, а какую силу обрел он сегодня, как много значит он в судьбе каждого пришедшего сюда! Сохранишь эту бумажку при себе — и останешься далеко от огня, а положишь ее вот тут, на стол, и уже не студент ты, а маршевик, пехотинец

или сапер, и уже дорога твоя лежит туда, где черным, горячим ураганом бушует война, посерьезнее Хасана и Халхин-Гола, где такие, как ты, истекают сейчас кровью в пограничных бетонированных бункерах.

Первыми комиссию прошли парторг факультета Дядченко, профорг Безуглый, члены комсомольского бюро, в том числе Спартак Павлущенко, который умудрился заполучить тут право распоряжаться, свободно входить и выходить из кабинета. Всякий раз он появляется перед товарищами все более озабоченный, серьезный, будто придавленный грузом многочисленных и нелегких обязанностей. Он попытался было провести без очереди на комиссию кого-то из пединститута, уверяя, что это сталинский стипендиат, но отовсюду дружно закричали, что все, мол, мы здесь, перед райкомом, одинаковы, все комсомольцы,— значит, даешь равноправие! Павлущенку пристыдили, а его дружка так-таки и не пустили — шли одним живым потоком — стипендиаты и нестипендиаты, отличники и троечники, ребята с блестящими биографиями и неблестящими.

В одно из своих появлений Спартак, заметив среди ожидающих в коридоре худощавую, сутулую фигуру Духновича, был немало удивлен:

— И ты тут?

— А что я? У бога телятю съел?

— Ну, телятю не телятю... Однако от тебя, правду скажу, не ожидал.

— Почему ж не ожидал? — Духнович захлопал светлыми, без ресниц, глазами.

— С твоим отношением к военному делу...

— Военное дело — то другое дело,— невесело отшутился Духнович.

Проходя мимо Колосовского, который заметно нервничал, Павлущенко каждый раз хмурился и отводил глаза в сторону, как бы давая этим понять, что ему нежелательно присутствие здесь Богдана, что лучше бы тому вовсе не стоять среди добровольцев, у этой заветной двери.

Колосовский зашел в кабинет одним из последних. Ему показалось, что комиссия встретила его так,

будто только что речь шла о нем. Настороженно. Официально.

Полногрудая, средних лет женщина с яркими, сочными губами, с родинкой на щеке и тугим аккуратным кольцом еще не поседевших волос держала заявление Богдана, но смотрела не в бумагу, а прямо на него. Смотрела молча, изучающе, и, как ему показалось, в прищуренных, холодных глазах ее затаились неприязнь, подозрение.

Ледяным голосом спросила:

— Колосовский Богдан Дмитриевич?

Он кивнул почему-то почти сердито.

— Итак, вы изъявили желание идти добровольцем в Красную Армию?

— Изъявил.

— В окопы? Под пули? Под танки? Туда, где — совсем не исключено — вас ожидает смерть? Вы все это взвесили?

— Да, взвесил.

— Мы отдаем должное вашему патриотическому чувству. Но если вы при этом проявили просто юношескую горячность, то еще не поздно взять заявление обратно: вот оно.

Женщина положила заявление Богдана на самый край стола.

— Нет, я не возьму.

— Подумайте. Хорошенько подумайте.

— Об этом я подумал раньше.

По правую руку от женщины сидел армейской выправки бритоголовый мужчина в гражданском, за ним — смугловатый военный с сединой на висках, с мешками усталости под глазами. В петлицах — шпалы: комиссар. Оба они — и бритоголовый и комиссар, не вмешиваясь в разговор, внимательно слушали ответы Колосовского. Когда он отказался забрать заявление, женщина, словно подстегнутая его упорством, набросилась на него с новыми вопросами:

— Где отец?

— В анкете сказано.

— Он репрессирован?

— Да.

— Враг народа?

Колосовский, стиснув зубы, промолчал.

— Вас еще в школе исключали из комсомола... Это правда?

— Правда.

— За что?

— Все за то же.

— За что «за то же»?

— За отца. За то, что отказался отречься от него.

— А почему отказались? Ведь он враг народа?

— Он не враг. Он красный командир. Имел орден Красного Знамени еще за Перекоп и был награжден почетным революционным оружием.

Женщина переглянулась с Павлущенкой, который сидел в сторонке за телефоном, и холодно бросила Богдану:

— Вы свободны.

Он не тронулся с места.

— Как это понимать — свободен?

— Идите. Продолжайте учиться.

Белой полной рукой она отложила его заявление в сторону, отдельно от тех, что горкой лежали перед нею на столе. «Иди. Продолжай учиться. Нам ты не нужен...» Значит, крах. В ее представлении отец — враг, стало быть, и ты тоже почти враг, во всяком случае, человек сомнительный, ненадежный...

Направился к двери, стараясь идти ровно, хотя ноги заплетались и тяжесть была такая, будто опустились ему на плечи все двенадцать этажей Госпрома. За спиной вдруг прозвучал спокойный густой голос:

— Минутку, молодой человек.

Богдан оглянулся: это военный обращался к нему. Заявление и анкета Богдана были уже в его руках.

— Я вас слушаю.

— Подойдите сюда.

Богдан снова подошел к столу.

— Дайте вашу отсрочку.

Богдан подал ему отсрочку.

Военный, разгладив бумажку, положил ее перед собой, прочитал. Молча взял граненый карандаш с красной сердцевиной, и — раз! — толстая красная по-

лоса уверенно легла наискосок через весь бланк отсрочки и еще махнул наискосок: крест-накрест! «Верю тебе,— словно бы сказал этим.— Иди воюй. Я ручаюсь за тебя».

Колосовский почувствовал, как горячая спазма перехватывает ему горло. Неожиданная поддержка незнакомого человека, доверие комиссара и не совсем даже понятная его готовность с первого же взгляда поручиться за тебя, за всю будущую твою жизнь так поразили Богдана, что он только усилием воли удержал себя, чтобы не разрыдаться тут, перед комиссией. Бритоголовый в гражданском, видно, был с комиссаром заодно, потому что сейчас приветливо улыбался Колосовскому своими бесцветными, как бумага, губами. Казалось даже, что и эта женщина, которая только что допрашивала его ледяным тоном, теперь как-то подобрела, ее выпуклые красивые глаза ожили, влажно заблестели, и этим новым взглядом она как бы хотела сказать: это я только так, это я только проверяла тебя, твою стойкость, хотела узнать, насколько твердо твое решение и желание... В конце концов сын за отца не отвечает.

Итак, ты тоже годен!

Члены комиссии поочередно пожали ему руку.

Отсрочка его лежала на самом верху таких же отсрочек, твердо, навсегда перечеркнутых толстым красным карандашом. Судьбы студенческие, судьбы твоих товарищей. И твоя судьба тоже там.

Будут окопы. Будут атаки. Будут ночи в пожарах и дни, когда ты сотни раз заглянешь смерти в глаза, но никогда не раскаешься в том, что в тяжелое для Родины время студенческая твоя отсрочка добровольно была положена на этот райкомовский стол.

5

Таня знала, что Богдан пошел в райком. Не мог он поступить иначе.

И хорошо, что пошел. Может быть, одна только Таня и знала по-настоящему, каким обостренным

было у него то чувство, которое повело его сегодня в райком. Однажды он рассказывал ей со смешком, полушутя, о том, как еще мальчишкой писал заявление, чтобы послали его в Испанию бороться с фашистами. И вот твоя Испания, Богданчик, сегодня начинается здесь.

Таня не переставала волноваться за него. Чем мог быть для Богдана райком? Чем это могло кончиться? И хотя она понимала, что сейчас, может быть, именно там решается их будущее, может быть, райком — это конец их встречам и свиданиям, что, может, это — страшно подумать! — разлука с ним навечно, и навсегда разойдутся их дороги и никогда не будет того светлого счастья, о котором мечтали,— все же для нее было бы величайшим горем, если бы его там забраковали, если бы он не прошел комиссию. Кто-кто, а она-то знала: для него сейчас не могло быть более страшного удара, чем этот. Хорошо зная Богдана, Таня просто не представляла себе, как он будет жить, если его отстранят при отборе в райкоме.

Трагическая история с отцом — самая большая рана его жизни. Как часто Тане хотелось помочь ему, утешить его, развеять глубокую печаль, которая почти всегда стоит в его темных горячих глазах! Печаль, эта безысходная грусть, даже когда он смеялся, более всего и поразили ее при первой встрече с ним на улице Вольной академии, в главном корпусе университета, когда они, толпясь у списков зачисленных на истфак, разыскивали свои фамилии, а потом, разыскав, на радостях, совсем как-то случайно, пошли вместе бродить по городу.

Почти три года минуло с того далекого светлого дня. Были между ними перебранки, раздоры, взаимная и мучительная ревность, и потом опять было счастье примирения, чувство жаркое, сладкое до слез.

Богдана любили на факультете. В обращении с товарищами он был ровный, надежный, девчата называли его совестью факультета. Когда обсуждали кандидатуры на сталинских стипендиатов, его выдвинули единодушно. Для этого у него были, кажется, все основания: отличник, интересуется научной работой,

в университетских ученых записках в прошлом году была опубликована его первая работа об археологических находках при строительстве Днепрогэса, готовил новый реферат о скифских курганах в степях, но ни скифы, ни мамонты днепростроевские на этот раз не помогли ему, и стипендию получил кто-то другой.

Уже в ректорате, где этот вопрос обсуждался вторично, с горячей речью против Богдана выступил все тот же Спартак Павлущенко, и оказалось, что Богдан недостоин такой чести, ибо он... «пассив»!

— Не пассив, а пасынок,— едко заметил тогда Мирон Духнович, комментируя эту новость.

Случай со стипендией Богдан перенес внешне спокойно, в кругу товарищей даже съязвил по поводу своей пассивности, но в душе — от Тани ничего не могло укрыться — он пережил это тяжело: ему больно было от сознания того, что с ним поступили несправедливо, что в этом решении опять был элемент дискриминации за отца, оттенок недоверия.

И вот теперь Таня опасалась, как бы не повторилось это сейчас в райкоме. Хоть бы там все обошлось благополучно! Хоть бы там сумели заглянуть в его душу и увидеть его таким, каков он есть,— готовым на подвиг, со своею советской Испанией в сердце! Этого более всего хотела, об этом думала Таня, торопясь вместе с девушками через площадь Дзержинского к бетонно-стеклянным солнечным корпусам Госпрома.

С Таней туда же спешат и Марьяна (конечно, к своему Славику!), две девушки с филологического да еще Ольга-гречанка, темнолицая, казавшаяся старше своих лет,— второй год живет она с Таней в одной комнате, и только Таня знает, к кому идет сейчас гречанка... Ольга подстрижена коротко, но как-то небрежно, волосы у нее густые — сноп, надетый на голову.

— Гляньте, вон наши! — кричит Марьяна.

Среди студенческих толп возле райкома они в самом деле увидели компанию своих: длинный и тощий, как жердина, Духнович с золотистым своим чубом, рядом размахивает кулаками Дробаха, видно расска-

зывает анекдот; там же и Степура, Лагутин, четверокурсники Мороз и Подмогильный — Богдановы товарищи по спортивной секции. Только Богдана нет. Где же он?

Оказывается, хлопцы тоже ждут Колосовского.

— Что-то долго держат его там. Не пошлют ли прямо в маршалы? — пошутил Дробаха, но в шутке его Тане послышалось что-то невеселое.

— Видать, Павлущенко его там донимает,— сказал Степура.— Тот как вопьется — клещ.

Наконец Богдан появился. По ослепительной улыбке, по тому, как с разбегу прыгнул он со ступенек подъезда и тряхнул чубом, отбрасывая его назад, Таня догадалась: все в порядке! У нее сразу отлегло от сердца. Хлопцы встретили Богдана хором:

— Годен!

А он, улыбаясь, сказал, обращаясь ко всем и к Тане в особенности:

— Вот и все!

Таня уже была возле него, она взяла его под руку выше локтя и крепко-крепко пожала. Этим пожатием было сказано все: как она рада за него, и как гордится им, и как, если даже придется очень и очень долго ждать, она будет ждать, потому что другого такого, как он, для нее на свете нет.

— Хоть бы только не торопились с отправкой, чтобы можно было спокойно собраться,— заглядывала Славику в глаза Марьяна.— Что вам с собой брать?

— Внимание! Поступил вопрос,— выкрикнул Дробаха сухим скрипучим голосом, явно подражая одному из преподавателей военной кафедры.— Что брать в лагерь? Отвечаю! В лагерь нужно брать: жену, гардероб, диван, пианино... И все это нужно для того, чтобы потом бросить при входе в лагерь, оставив при себе только зубную щетку и пару белья!

Все смеялись. Таня, кажется, была счастливее всех, она с нежностью то обнимала Богдана, то украдкой поглаживала руку своего добровольца. Этого не могли не заметить другие.

— Да обними его, Таня, как следует! Не стыдись! — подзуживал Дробаха.

А Таня и не стыдилась. Разве грех, что она так любит Богдана? Она и раньше не таилась со своим чувством к нему, а что ей скрывать сейчас, когда разлука уже близко и как бы дает ей право на все.

— Вы, девчата, теперь можете спать спокойно,— улыбался коренастый широкоплечий Мороз, адресуясь более к Гале Клочко, высокой блондинке с филфака, к которой он давно был неравнодушен, но которая только сегодня, победив свою гордость, пришла сюда встречать его.— Будем защищать вас, аки львы.

— Такие хлопцы! — храбро заговорил невзрачный на вид Подмогильный.— Да мы как пойдем, да как ударим — пух с них полетит!..

— Особенного страху нагонит на них, конечно, маэстро Духнович, известный спец по тактике и стратегии,— заметил Лагутин, и все засмеялись.

— Мирон, рассказал бы ты хлопцам,— обнимая Духновича за плечи, попросил Степура,— как тебя бабы сегодня схватили на Чернышевской.

— Было дело,— смущенно подтвердил Духнович.— За парашютиста приняли, за переодетого арийца. Странно. Девчата, ну какой из меня ариец? Рябой. Рыжий.

— Ты не охаивай себя,— смеясь, сказала Марьяна.— Ты ж у нас красавец... Брови вон какие, как пушок у цыпленка! Да что говорить, все вы сегодня красивые, даже Степура,— лукаво глянула она на Степуру, который густо покраснел при этом.— Только чего же мы стоим? Пошли! — вдруг сказала она и подхватила одной рукой своего Славика, а другой — Степуру.

Огромная, залитая солнцем площадь Дзержинского широко, вольно стелется перед ними, и где-то на другом конце ее виднеется гранитное здание, которое раньше занимал ЦК.

Взявшись под руки, вперемежку девушки и парни, двинулись они площадью, словно степью. Идут, как не раз ходили на демонстрациях, во время вечерних прогулок, гурьбой, словно десятиклассники после выпускного вечера, когда со смехом и шутками отправляются они встречать восход солнца за

городом. Как хорошо, когда чувствуешь: сделал именно то, что нужно было сделать, можешь теперь открыто посмотреть каждому встречному в глаза!

Солнце стоит высоко, льется густыми лучами прямо в лицо. Чистым, до ослепительности ясным видят хлопцы да девчата небо над собой, небо, в котором более двух десятилетий не взрывались снаряды, не свистела шрапнель, не было ничего, кроме птиц и радуг высоких. И чтобы это небо да почернело? Дымом заволоклось и сполохами пожаров? Не бывать этому, не бывать!

Идут и твердо чеканят шаг по брусчатке парусиновые студенческие туфли, и девчата уверены, что пока есть на свете их чубатые хлопцы, не ступит нога чужеземца на эту площадь, широкую и светлую площадь их юности, площадь, которой они так гордятся,— ведь она самая широкая и самая большая из всех площадей Европы!

6

На Бассейной, у трамвайной остановки, где Духнович остается дожидаться своего номера, они встретили Администратора — так ребята кличут Михаила Штепу, который, находясь в контакте с театральными администраторами, распространяет в свободное время билеты и кое-что за это имеет.

Сейчас он идет сдавать средние века. Что бы там ни случилось, а он — зачетку в зубы, шпаргалки в карманы и чешет к профессору: хоть на тройку, лишь бы сдать.

— Опять провалишься,— предсказывает Таня.

— Откуда такие прогнозы? — улыбается Штепа своими вывернутыми губами.— Или тебе так хочется?

— Да, и хочется.

Таня терпеть не может этого Штепу. Тихий, чистенький, прилизанный, а на темени уже лысина просвечивает. Галстучек всегда завязан идеальным узелком, на устах — никогда не исчезающая улыбка, вернее даже не улыбка, а просто верхняя губа у него

так вывернута, что кажется, он всем и всему улыбается. Он и сейчас улыбается ребятам, хотя не в состоянии понять ни их настроения, ни того волнения, которое они вынесли из райкома и которым еще и сейчас переполнены.

Штепа в райком не пошел. Утром, когда Таня забежала в комнату хлопцев, она застала там его одного. Он стоял возле гардероба перед зеркалом и спокойно поправлял на шее тоненький этот галстучек.

— Богдан почуял в себе Минина или же Пожарского,— не оставляя своего занятия, ответил на ее вопрос Штепа.— Пошел в райком сдавать свою отсрочку, а вместе с ней, возможно, и голову.

— А ты?

— Я не комсомолец, ты же знаешь... Останусь кончать университет. Пускай мне будет хуже. Если бы мне официально сказали: Штепа, сдай отсрочку декану, получи обмотки, винтовку и иди стреляй, убивай — разве не пошел бы? Пошел бы и убивал бы. Но чтобы вот так, самому... Иметь отсрочку и вдруг отдать ее... Нет уж, извините...

С этими словами он еще раз оглядел себя в зеркало, снял кончиками пальцев с рукава какую-то ниточку и направился к двери.

Встретившись теперь с ребятами, он не чувствовал перед ними ни малейшего стыда, хотя, кажется, должен был бы чувствовать.

— Так-так, волонтеры,— одаривал он своей простодушной улыбочкой то одного, то другого.— И ты тоже записался? — насмешливо обратился он к Духновичу.

— Записался.

— О, хвалю, хвалю!

— А почему же тебя там не было? — сурово спрашивает Ольга.

— Да я ведь не комсомолец,— опять тянет он свое.— Переросток я или как там по-вашему?

— Скорее недоросток,— резко поправляет Марьяна.

— Ну, и оса! — примирительно улыбается Штепа.

— Я что-то не припоминаю: был ли ты когда-нибудь в комсомоле? — спрашивает Подмогильный.

— Нет, он родился членом профсоюза,— шутит Дробаха.

Вдруг все с удивлением подумали: в самом деле, почему Штепа не был в комсомоле? Почти одного с ними возраста, разве чуть постарше, а в комсомоле почему-то так и не был, прошел, миновал как-то незаметно.

— Гляжу я на тебя, Мишель,— подступает к нему Дробаха,— и вижу — плохи твои дела: хитер ты, как Талейран, а ведь Таня правду говорит — провалишься. Хронологию хоть вызубрил?

— Вызубрил.

— Ну так скажи, в каком году неграмотный бандит Писарро завоевал государство инков?

Штепа неопределенно бегает глазами.

— Что ему инки,— говорит Лагутин.— Говорят, ты уж на большую сцену пробрался?

— Пробовал раз.

— Да ну? Где же это ты? На каких ролях? — притворно ахают хлопцы, хотя им хорошо известен этот недавний оперный дебют Штепы.

— Я не гордый,— говорит Штепа, а Степура объясняет:

— Вы видели, в «Тихом Доне» казаки с деревянными винтовками пробегают через сцену? Так и он там бежал. Лампасы. Бутафорская винтовка, остервенение на лице — роль хоть куда...

— Теперь вот и вам придется бегать, только уж не с деревянными. А может, вас не взяли? — спрашивает Штепа, и вывернутые губы его продолжают улыбаться.

Колосовский сразу нахмурился:

— С чего ты взял?

— Смотрю, такие веселые идете... С чего, думаю, радуются?

— Тебе этого не понять, дитятко,— промолвил Дробаха, и его скуластое, каменно-тяжелое лицо стало серьезным.

— Почему не понять?

— А потому,— Дробаха слегка дернул Штепу за язычок галстука,— что ты еси болван или дубина...

— «Стультус» по-латыни,— добавил Духнович.— Иди уж на экзамен, попытай счастья.

— Да я и пойду. Девчата, вы тоже?

— Мы дорогу знаем,— холодно бросила ему Таня.

7

Хлопцы еще по пути из райкома решили, что не пойдут сдавать — вольные теперь птицы.

— Немного неудобно, правда, перед Дедом,— говорит Богдан.— Да уж пусть извинит.

— Сдадим после войны,— беззаботно бросает Дробаха.— Под звуки литавр за все сразу придем экзаменоваться.

— Не забудем к тому времени? — спрашивает Лагутин, как бы обращаясь к самому себе.

— Ты думаешь, это надолго? — удивляется Мороз.

Колосовский смотрит на него иронически:

— А ты думаешь, на три дня?

— Пускай не в три дня, но за два-три месяца, я уверен, все будет завершено. Гитлер заскулит.

— Наше время — не время тридцатилетних войн,— поддерживает его Подмогильный.— При современной технике, при нашей силе дай нам только размахнуться...

В общежитии ребята захлопотали у своих чемоданов. Никто из них не знал, когда прикажут отправляться: через неделю, через две, а может, через час. Всем добровольцам комендант общежития предложил сдавать вещи на хранение в кладовую, как это они делали каждое лето, разъезжаясь на каникулы.

Богдан, достав из-под кровати чемодан, склонился над ним, взлохмаченный, задумчивый; перебирает, укладывает студенческое свое добро. Несколько рубашек, вконец застиранных в студенческой китайской прачечной, пара недавно приобретенных футболок, а больше всего — книги, фотографии, записи. Вот они группой — хлопцы, девчата — сфотографированы среди зелени у надгробного памятника отцу украинского театра Кропивницкому. Вот маевка в лесопарке.

Таня, смеясь, качается на дереве. Фотографии он, наверное, заберет с собой, а куда денешь вот эти толстые тетради, заметки, черновики его будущей дипломной работы? Древний Боспор, Ольвия, степные скифы и половцы, запорожская Хортица, рядом с которой поднялся ныне Днепрогэс,— вот мир, которым он жил, и, кажется, Богдан никогда не устал бы раскапывать, изучать, исследовать свои солнечные степи от седой древности до грозовых лет революции, когда в этих степях летала на коне буйная отцова молодость...

Рядом, у кровати, перебирает какие-то записи Степура, а за ним, в углу, копается в самодельном добротном чемодане Мороз — они тоже собираются, притихли, погрузились каждый в свои мысли.

— Послушайте-ка,— сказал вдруг Мороз, достав из чемодана какую-то тетрадь,— что писал еще на первом курсе один из ваших современников: «...Не хочу быть мещанином, не хочу довольствоваться малым в

жизни... Завидую поколению Корчагиных, которое начертало как девиз своей юности: «Райком закрыт, все ушли на фронт». Завидую тем, кто сквозь полярные льды пробивается к полюсу, стратонавтам нашим завидую... Это жизнь!.. Что может быть достойнее человека? И я буду счастлив, если именно на такую жизнь позовет меня Родина...»

— Это из твоего дневника? — спросил Степура.

Мороз промолчал, смущенно сунул тетрадь в карман.

— Ясно же, что не Плиний Старший, видно по стилю,— заметил Колосовский.— А в общем-то он прав. Очень даже прав.

В дверь постучались.

По стуку, легкому и озорному, Богдан узнал: Таня!

В самом деле, в дверях появились ее загорелые ноги, юбчонка белая мелькнула. Танюша вообще умеет вроде бы не ходить, а порхать — летает на своей юбочке, как на парашютике, легкая, будто невесомая, точно и нет для нее силы земного притяжения... Такая она сейчас, такой была и три года назад, когда они впервые встретились в главном университетском корпусе.

— Сдала! — Таня дернула Богдана за чуб.

Он поднял от чемодана повеселевшее лицо, увидел Танину улыбку, радостную, приветливую.

— Сколько?

Показала на пальцах: пять!

— Ей просто везет! — сказал Богдан ребятам.— Никогда не готовится серьезно, пробежит, как коза, по эпохам, по датам, а, глядишь, сдает на пятерки... Не иначе как профессор ей симпатизирует.

— Он не только мне, он и тебе.— Таня снова взъерошила его чуб.— Где это, спрашивает, ваш верный рыцарь? Почему не пришел сдавать?

— А ты объяснила?

— Ну конечно. Только не резон, говорит, экзамен остается экзаменом. Он просил передать, чтобы ты обязательно пришел. Так что иди!

Богдан переглянулся с ребятами: вот, дескать, положение.

— Ну что ж, двигай,— посоветовал Степура.

Богдану и самому вдруг стало странно: почему, собственно, не пошел? Сидит он сейчас в аудитории, седой, краснощекий их Николай Ювенальевич, перед разложенными на столе экзаменационными билетами, а в углу стоит его палка с серебряным набалдашником в форме маленькой скифской бабы. Каждый раз, когда кто-нибудь, отвечая, прибегает к шпаргалке и пытается как-то выпутаться, обмануть профессора, Николай Ювенальевич в молчаливом возмущении начинает сопеть, лицо его багровеет, вот-вот, кажется, ухватит он эту суковатую палку да так и треснет студента за нерадивость. Богдан был исполнен к старому профессору искреннего уважения и благодарности и, конечно, меньше всего хотел бы обидеть его на прощание. Разносторонний ученый, друг и соратник известного украинского историка Яворницкого, профессор своими руками перекопал весь юг, изучил самые большие скифские курганы, теперь исследовал Ольвию и, кажется, все искал среди студентов достойного себе помощника, а может быть, и преемника. Богдан замечал, что профессор присматривается к нему, возлагает на него особые надежды. И что же? Он, Богдан, отблагодарил его тем, что вот так махнул рукой, не пошел на этот свой последний студенческий экзамен...

— Пойду,— решительно тряхнув чубом, поднялся Богдан.— Только застану ли?

— Застанешь, он еще принимает,— подбодрила Таня.— Еще трое было после меня...

Через полчаса Богдан уже стоял в аудитории перед профессором. Не было никого, он зашел последним, оставив Таню в коридоре. Поздоровавшись, приблизился, как обычно, к столу, выбрал один из разложенных билетов, на которые кивнул ему профессор. Нидерланды, Марко Поло, инквизиция — все было хорошо знакомо.

Пока Богдан, присев у стола, готовился, Николай Ювенальевич поднялся, взял палку и, слегка посту-

кивая ею, пошел к открытому окну. Косые лучи солнца просвечивали сквозь густые кроны деревьев, и они были словно залиты зеленым светом. Внизу, где-то там на улице, слышались команды, четкий топот ног,— видно, проходили строем мобилизованные.

— Я готов,— сказал Богдан.

Профессор обернулся и смотрел на Богдана так, будто не сразу узнал его или вдруг увидел в нем что-то не совсем понятное для себя, не до конца разгаданное, что хотел осмыслить, расшифровать, уяснить.

— Что там у вас? — наконец нарушил он молчание.

Богдан назвал вопросы и хотел было начать, но профессор жестом руки печально остановил его и неожиданно заговорил совсем о другом:

— Какого числа наполеоновские войска вторглись в нашу страну? Двадцать четвертого июня. Вечером двадцать второго июня французы переправились через Неман. В тот же день — ровно через сто двадцать девять лет — эти перешли Буг. Такое совпадение, конечно, случайное, но наводит на некоторые размышления... Конец их будет такой же! — Он жестом подозвал Богдана к окну.— Посмотрите!

Сквозь ветвистые, освещенные предзакатным солнцем деревья видно было, как внизу по асфальту все идут и идут колонны мобилизованных. Еще в гражданском, разномастные, в кепках и с непокрытыми головами, с сумками на спине, с чемоданами в руках...

— Войны были одной из причин гибели многих цивилизаций,— с грустью заговорил профессор.— Достаточно посмотреть во время раскопок на мертвые, сожженные ордами наши городища, чтобы убедиться, чем были войны для народов. Человечество нашего, двадцатого, столетия могло бы избежать этой трагедии, так по крайней мере до сих пор казалось нам, чудакам моего поколения. Но, очевидно, есть силы, которые, если их не остановить, приведут человечество к самоуничтожению. Из года в год

мы устрашаем студенческое воображение картинами средневековой инквизиции, но ведь это же была детская забава в сравнении с размахом дьявольских действий инквизиторов современных! Как они озверели! Костры книг полыхают на всю Европу. Нет Сорбонны. Нет Карлова университета. В центре Европы, где мы привыкли когда-то видеть источники света, сегодня — концлагеря, фашистские казармы, омерзительный смрад расизма...

Профессор помолчал, следя за колонной, которой не видно было конца.

— У меня тоже есть сын. Он служит в парашютно-десантных войсках. Он у меня единственный, и если с ним что-нибудь случится, сердце мое, наверное, не выдержит, но, поверьте, больше, чем жизнь моего сына,— я уже не говорю о своей собственной,— дорого мне сейчас то, что можно было бы назвать великим наследием человеческого духа, доставшегося нам в виде культуры эллинов или так еще мало изученной культуры славянства...

Богдан почувствовал на плече его руку.

— Гляньте, сколько их идет. Это завтрашние солдаты, простые, обыкновенные люди, люди от станка и от плуга, большинство о фресках Софии Киевской, видимо, и не слышали, Рафаэля не знают, но это все друзья Рафаэля, друзья Пушкина и Гоголя, единственные теперь их защитники. Только вы, только такие, как вы, как мой сын, такие, как те, кто марширует внизу по улице, еще вселяют в нас надежду. Вам может показаться странным, что я сейчас заговорил с вами об этом. Но я знаю, что вы записались в добровольцы, перед вами дорога тяжких испытаний, и хочется, чтобы, шагая по ней, вы помнили о самом важном: в жестокий наш век, среди крови и дикарства, великие гуманистические традиции не должны быть утрачены! Они должны быть сохранены, и сохраните их вы!

Разволновавшись, профессор снял с носа свои старомодные очки и начал протирать их уголком борта

белого парусинового пиджака. Протер, надел, кашлянул сердито:

— Давайте ваш матрикул,— и тут же, у окна, старательно вывел в нем оценку: отлично.

— А Ольвию мы еще раскопаем,— напомнил он, когда Богдан, пожав ему руку, выходил.— Желаю вам счастья и прошу не забывать свою альма-матер! Думаю, ничему плохому она вас не научила...

8

Вечер.

В студенческом общежитии проводы: объявлено, что завтра поутру хлопцам в дорогу. Со второго этажа то и дело доносятся крики «горько» — там, в одной из комнат, студенческая свадьба. Марьяна и Лагутин женятся.

Вчера о свадьбе не было и речи; вероятно, и сами молодожены еще не думали о ней, а когда стало известно, что назавтра Лагутину идти, Марьяна ошеломила своих факультетских друзей неожиданным приглашением:

— Приходите, женимся!

Зубровка стоит на столе, лежат горки печенья, черный хлеб и свежая зелень, привезенная Марьяниной матерью из дому, с Тракторного. Мать и отец Марьяны сидят за столом среди студентов, мать то и дело вытирает платком глаза, а отец строгим взглядом осматривает то светловолосого худощавого жениха, то его друзей — они с непривычки быстро захмелели, побледнели и уже покачиваются, осоловело встряхивают чубатыми головами, которые едва держатся на худых студенческих шеях.

— Горько! — кричат молодым.— Горько!

В самом деле, горькая какая-то, безрадостная эта свадьба. Все делалось торопливо, на скорую руку. Мать давно знала, что у Марьяны есть жених,— не раз бывал он у них дома, этот гибкий, как стебелек, хлопец с голубыми, упрямыми и малость насмешливыми глазами. Ему двадцать лет. Он молод, как барвинок, от него так и веет свежестью, молодостью, чистотой. Славный зять! Только надолго ли? Хлопцы эти, сидящие за столом, молодые такие, здоровые, уйдут завтра, оставят свои книги и науку, а все ли вернутся, доведется ли им еще когда-нибудь собраться вместе? Не о такой свадьбе мечталось матери. Думала, справят ее, когда дети закончат учебу; сыграют всем на радость, пригласив родных и заводских знакомых. И сваты, мать и отец Славика, приехали бы,— где-то они учительствуют на Сумщине. Не

в этой душной комнате, где окна замаскированы одеялами, а дома, на открытом воздухе, в саду, стояли бы, ломясь от яств, длинные столы, а электрические лампочки висели бы гирляндами прямо среди листьев деревьев,— и светло было бы, и людно, и весело, и музыка гремела бы до утра, весь заводской поселок знал бы, что это Северин Кравец, кадровый рабочий, справляет свадьбу дочери.

— Горько! Горько!

Славик вроде бы немного стыдится своей свадьбы и, кажется, даже несколько иронически относится к ней, старается отделаться шутками, когда требуют «горько», чтобы они с Марьяной при всех целовались! Но от матери ничего не укроешь, она видит, как сквозь юношескую эту стыдливость и насмешливость время от времени так и проглянет, так и сверкнет в голубых его глазах глубокая нежность и грусть, когда Славик смотрит на свою невесту.

Марьяна весь вечер нервно весела, свадебное возбуждение как бы захватило ее всю, целиком, но минутами эта веселость вдруг исчезает, глаза туманятся, и тогда она смотрит на своего суженого пристально и напряженно, будто запоминает. В такие минуты для нее не существует гостей — она видит только его одного. Это светлое, с тонкими чертами лицо Славика, прямой нос, и по-детски припухшие, только что целованные губы, и туманная синева глаз, и эта добрая, открытая улыбка — все это ее, ее! Смотрела в голубые туманы его глаз, забыв обо всем на свете, и то загоралась жарким румянцем, то вдруг, будто испуганная чем-то,— может, предчувствием каким? — бледнела, и тогда ее лицо с несколькими родинками становилось вдруг жалобным и измученным... Он, только он существовал тут для нее, и на него смотрела, а других едва ли и замечала — замечала, как-то не замечая. Когда же взгляд ее невзначай падал на его рюкзак походный, что лежал на гардеробе уже готовый, она, казалось, готова была закричать и, забыв о присутствующих, льнула к Славику.

Она сама настояла на этой свадьбе, узнав, что завтра он уходит. Раньше и ей свадьба представля-

лась не такой, какой она была в эту прощальную, суровую ночь, когда весь город погружен в темноту и все так возбуждены, встревожены, когда посты стоят на крышах и плачут, вдовея, женщины, отправляя на войну своих самых дорогих. Днем бы, при самом солнце, играть эту свадьбу! Но не солнце озаряет их в эти неповторимые минуты, когда они на всю жизнь объединяют свои судьбы, не песня буйная, разудалая, радостная, а печаль, тревога, разлука, что уже прочно поселились здесь надолго. В своей руке Марьяна ощущает горячую руку Славика, весь вечер не выпускает ее.

Рядом со Славиком сидит Марьянин отец — круглоголовый, коренастый усач, с густыми, еще совсем черными бровями. Он был против этой свадьбы, к Славику относился все время с нескрываемой настороженностью и, только изрядно подвыпив, обратился наконец к зятю:

— Скажу тебе, Ярослав, не хотел я этой свадьбы вашей скороспелой, не так это делается у нас, но что же,— он придвинулся ближе,— такие дни переживаем. Все довоенное идет вверх тормашками. Вот и мы на заводском дворе щели роем, цехи на новую продукцию переводим... Если бы меня завод отпустил, я и сам бы пошел туда, куда вы, несмотря на мои годы. Наступило, видно, время огнем проверить, чего стоим мы и наши дела. В добровольцы записались вы — хорошо. За это хвалю. Но это еще полдела: главное, чтобы там штаны не замарали. Знаешь, куда идете?

— Приблизительно,— улыбнулся Славик.

— В кузнечный цех идете. У нас на заводе в кузнечный отбираются люди особой породы, хлипкие там долго не удержатся. Вот так и в армии. Иди честно в пехоту — это как раз он и есть, ваш кузнечный цех...

Славик слушал старика и, кажется, не чувствовал, как Марьяна горячо гладит под столом его руку.

— Если уж он решил, за него не беспокойтесь, тату,— уверенно, с гордостью сказала она.

Хлопцы завели патефон, но он хрипел, его неприятно было слушать. Тогда кто-то подал мысль:

— Лучше попросим Ольгу, пускай она споет.

Ольгу-гречанку не пришлось долго уговаривать. Притихли, и из угла, где она сидела, полилась мелодия старинной малознакомой песни, которую Ольга принесла в университет откуда-то из своих приазовских украинско-греческих поселений: «Долина глибока, калина висока, аж додолу гілля гнеться».

Сейчас, когда она пела, некрасивое лицо ее неожиданно преобразилось, обрело какое-то печальное очарование, глаза, разгоревшись, смотрели через свадебный стол на занавешенное одеялами окно, туда, далеко-далеко посылала она грустную свою песню.

А внизу, на улице, стоит на посту Степура, добровольно подменив Мороза, который поехал к родственникам в Основу. Стоит, отстаивает свой последний студенческий пост и слышит, как там, наверху, время от времени кричат «горько», слышит и песню гречанки, она льется оттуда, песня, которая в эту ночь забирает от него его возлюбленную и навеки отдает другому.

«Если бы не Лагутин, если бы его не было в университете, разве она не могла полюбить меня? — думалось Степуре.— Неужели нет во мне чего-то такого, что могло бы понравиться девушке, привлечь ее? Неужели все мои стихи так ничего ей и не сказали?»

Степура был поэт. Писал длинные, немного сентиментальные стихи о несчастной любви, о весенних соловьиных ночах, о месяце и зорях над своей Ворсклой, чистой, как слеза, речушкой на южной Полтавщине, откуда он родом. И хотя стихи его еще нигде, кроме факультетской стенгазеты, не печатались, товарищи считали Степуру настоящим поэтом. Но всякий раз, когда он мысленно сравнивал себя с Лагутиным, это сравнение было не в пользу Степуры. Тот — остроумный, красивый, блестяще учится, а Степура — тугодум, с грубым, широким лицом и утиным носом. В минуты отчаяния Степура думал, что должен казаться ей просто неандертальцем пещерным, с доисторической тяжелой скулой. Была в нем сила, но и в силе этой проглядывало нечто деревенское,

тяжелое, неотесанное, и когда на занятиях в спортивном зале по очереди подходили к турнику, то и здесь преимущество было на стороне Лагутина. Крутя на турнике «солнце» не хуже Колосовского, Лагутин легко и красиво взлетал в воздух, и Марьяна смотрела на него с нескрываемой влюбленностью, а когда на тот же турник взбирался он, Степура, то под ним металлическая перекладина прогибалась, все сооружение скрипело и содрогалось, и девушки с визгом отскакивали в сторону.

Однажды Степура случайно услышал, как Лагутин, стоя с ребятами возле свежего номера стенгазеты и читая вслух его стихи, насмешливо комментировал их, удивляясь, откуда, мол, у такого увальня столько сентиментальности, откуда у него все эти «очи-ночи». И хотя говорил он легко, беззлобно, весело, стоявшему неподалеку Степуре хотелось в этот миг задушить его. В душе Степуры после того случая укоренилась неистребимая, темная ревность к Лагутину, та самая, что бродила в крови его дедов и прадедов, дубинами взметывалась по сельским улицам, валила плетни, носила ворота на плечах.

С той поры они почти не разговаривали. Глухая неприязнь легла между ними: Лагутина она больше удивляла, а у Степуры временами перерастала в ненависть, особенно когда он видел, как Марьяна бегает за Лагутиным или трепетно ждет его где-нибудь возле библиотеки, по-девичьи покорная, а Ярослав, подходя к ней, как бы нехотя берет ее под руку, берет как нечто от природы принадлежащее ему...

Пыткой для Степуры обернулась эта свадьба. Они даже и его зайти приглашали. Этого ему только не хватало...

Сменившись с поста, он, точно вор, прокрадывается по коридору к своей комнате, мимо настежь открытой свадебной двери. На какое-то мгновение увидел за столом Марьяну, возбужденную, яркую. Она что-то говорила Славику, смеялась, заглядывая ему в глаза, и рука ее мягко лежала у него на шее...

Степура прошмыгнул мимо двери, забрался в

красный уголок, опустевший, темный сейчас, сел возле кадки с фикусом и жадно закурил. Слышал отдаленный свадебный гомон, и перед глазами его стояла она во всей своей яркости — белозубая, краснощекая... Если бы Степура был скульптором! Если бы он был живописцем!.. Если бы имел право, счастливое право любимого, как бешено целовал бы он ее глаза-звезды, с их жгучим, пьянящим светом... Но прочь эти мысли! Ты — сбоку, ты — лишний...

9

— Историки, стройся!

Духнович вырывается из материнских объятий и бежит в строй. Мать какое-то мгновение еще остается с распростертыми руками, ощущая в них пустоту. А сын ее уже там, где действуют другие, железные законы, где звучат другие, железные слова:

— Шагом... арш!

Как их много! Все студенты и студенты. Идут историки, филологи, географы, биологи, химики... Идут, четко печатая шаг по мостовой, и ее Мирон почти затерялся между ними со своим рюкзаком. Вот он оглянулся, на ходу помахал ей рукой и даже в эту тяжелую прощальную минуту не обошелся без шутки, бросил улыбаясь:

— До свиданья, мама, не горюй!

И эти слова вдруг подхватила вся колонна, и они стали песней. «До свиданья, мама, не горюй, на прощанье сына поцелуй!», а ей, матери, стало зябко оттого, что эти, случайно, как бы в шутку брошенные ее сыном слова уже стали песней, звучат над колонной могучим прощальным криком юных сердец. Сама юность идет, красивые какие люди все идут... Идут и поют бодрыми голосами, и видны улыбки на юношеских лицах, и блеск солнца в глазах. Прощальной песней плещет колонна в лицо матери, и сердце разрывается от этого песенного разлива, который как бы выхлестнулся из университетских коридоров с недавних их шумных комсомольских собраний.

Становится тихой, безлюдной улица — улица Вольной академии, которая видела студенческие баррикады 1905 года и бурлила митингами 1917-го. Бронзовый Каразин, основатель университета, стоит одиноко против белого опустевшего университетского корпуса. Студенческая колонна вышла на центральную магистраль, вытягивается в направлении к заводам.

Люди приостанавливаются, смотрят вслед. Кто идет? Кого провожают?

Студбат идет. Студенческий батальон добровольцев проходит по городу.

Студбат. Странное это слово отныне навсегда войдет в жизнь матери, в ее бессонные ночи, тревоги. Торопливо идет она по тротуару в толпе провожающих, едва поспевая за колонной, мелькающей рюкзаками, студенческими чубами и щедро разбрасывающей налево и направо шутки и подбадривающие прощальные улыбки. Пока что на юношеских лицах улыбки и шутки на устах, а материнскому взору рисуются иные, тревожные картины...

Она до последней минуты не знала, что сын ее идет, что он был в райкоме. Узнала об этом лишь тогда, когда нужно было готовить рюкзак. Как врач, она теперь тоже в армии, с трудом отпросилась сегодня у начальства проводить сына, а отец и вовсе не смог: военный врач, он сейчас дни и ночи в военкомате, на комиссиях, на медосмотрах, где перед ним бесконечным потоком проходят мобилизованные, которые отправляются туда же, куда идет сейчас их сын.

Соседка, не скрывавшая того, что хотела бы видеть Мирона своим зятем, прибежала на кухню испуганная, растерянная, казалось, еще больше, чем мать.

— Куда же вы его пускаете?

— А что делать?

— Да вы бы ему справку о состоянии здоровья, ежели отсрочку отобрали. Оба врачи, разве же вы не можете достать ему справку?

А Мирон, вошедший в кухню как раз во время их разговора, снова все перевел в шутку:

— Плохого вы мнения о моем здоровье, Семеновна,— сказал он.— Да вы только посмотрите, какие у меня бицепсы! А кроме того, духовная мощь... Вы меня обижаете своими разговорами.

И только она, мать, знает, какое у него в действительности здоровье, как легко пристают к нему всякие болезни, а кто же их там отгонит от него — ведь матери не будет рядом в окопах...

Возле моста она отстает: студбат ускоряет шаг, двигаясь по залитой солнцем улице заводского района. Мимо ХПЗ, «Серпа и молота», ХЭМЗа, Тракторного, куда-то вдаль, на Чугуевский тракт, простирается их путь...

Духнович, оглянувшись в последний раз, еще видит на мосту силуэт матери среди других матерей, и все, что ему хотелось бы сказать ей в этот миг, только бурлит в нем, душит, обжигает. Никогда не думал, что так тяжело будет расставаться, отрывать ее руки от себя. Сегодня впервые он увидел ее в военной форме. Гимнастерка новенькая, шелестит, и петлицы со знаками различия, и морщинистая белая мамина шея, и седина из-под пилотки, такой неуместной на ней... Весь город будто окутан сейчас ее печалью, ее любовью. Город баррикад, бастион заводов, крепость силы индустриальной, город, который, как высокое творение народа, поднялся среди живописных просторов Слобожанщины... Каменные, разогретые солнцем громады, от которых пышет зноем,— какими они вдруг стали для него дорогими, как все его сейчас волнует! Смотрит на стены, и хочется крикнуть им: «Я люблю вас, стены!» Смотрит на камень, и взывает душа: «Я люблю тебя, камень!» Вот они, те камни, что зовутся священными. Пока буду жить, не угаснет к тебе любовь, город моего детства и юности!

В окопах, в солдатских скитаниях, в самые темные ночи твоей жизни, когда душе твоей, теряющей силы, нужна будет поддержка, на помощь ей придет в воспоминаниях этот залитый солнцем город, где ты оставляешь своих родных и библиотеки, оставляешь площади и эту улочку Вольной академии, от одного

названия которой тебя охватывает трепетное волнение: там твой университет, твоя альма-матер!

Покидают родной город, и неизвестно, кто из них вернется, а кому не будет возврата. Но Духнович вовсе не испытывает страха. Ему почти радостно ощущать в себе страстное желание самопожертвования, желание посвятить себя всему тому, что он оставляет, прикрыть собой этот город, спасти, сберечь. Идут и

идут. Уже взмокли спины под рюкзаками. Есть прохлада в тени деревьев, но она теперь не для вас. Прощайте, деревья! Прощайте, заводы! Прощайте, железо и камни серые, которые хочется назвать священными...

Вышли за город, и тут оказалось, что не все провожающие отстали, что вслед за колонной торопятся стайкой девчата-студентки, не ведают устали крепкие молодые ноги. Немного их, девчат, осталось, самые упрямые. Вот Марьяна Кравец, вон Ольга-гречанка

(никому из ребят не известно, кого она провожает), вон Лида Черняева, блондинка с химфака. Ну и, конечно же, Таня Криворучко, которая с этой своей, казалось бы, даже легкомысленной улыбкой, не колеблясь, пойдет за Богданом на край света. Богдан — правофланговый, впереди колонны, там возвышается стройная его фигура, рядом с ним Степура, неподалеку Духнович и другие, самые высокие ростом.

Девчата далеко от них, им видны лишь рюкзаки и головы хлопцев, их загоревшие шеи. Иногда ребята оглядываются, кричат, чтобы возвращались, ведь и сами они не знают, куда их ведут и сколько еще идти. А девчата не слушаются. Сняв босоножки, несут их в руках и все идут, идут за колонной, будто не до Чугуева, а и вправду на край света.

— Возвращайтесь, хватит! — кричат им командиры.

Только после этого они останавливаются, и хлопцы, оглянувшись, видят девичью стайку у дороги. Вот их затягивает текучее степное марево, и тогда они кажутся хлопцам уже вечными, песенными, теми, что когда-то провожали своих милых за Дунай, в поход.

10

Есть в Днепропетровске, немного выше острова Комсомольского, залив, в котором стоят челны; кривые городские улочки спускаются к самой воде, лодками тут хоть к крыльцу приставай. Летом вода плещется о фундаменты, а на стенах домиков, подобно ватерлиниям на судах, полосатые следы весенних паводков.

Жизнь людей тут как на ладони. На весь Днепр виднеется белье, развешанное на веревках, и кучи мусора, который валят с берега, и чья-то перекошенная, покрытая ржавой жестью голубятня...

Этакая надднепровская Венеция. Трудовая Венеция, с плеском воды под окнами, с зелеными шатрами акаций, которые в солнечный день, как в зеркале, отражаются в тихой синеве Днепра. Кроме акаций, тут еще несколько тополей растет, дикий виноград по

верандам вьется, а в одном дворе, где-то среди ржавых жестяных заборчиков и старых рассохшихся просмоленных лодчонок, рдеют мальвы! Кто-то посадил.

И тополя, и мальвы, и жесть на голубятне, и перевернутый вверх дном дряхленький просмоленный челн — все это слитая в единое гармоническое целое картина жизни, а в центре ее сидит девочка с косичками, круглолицая, не красивая и не дурнушка. Это Таня Криворучко.

Ей восемь или десять лет.

Покосившаяся лестница ведет к самой воде. Прямо под окнами на Днепре — стойбище лодок, которые охраняет Танин дедушка, потомок запорожца. Длинная белая борода, в плечах сила кряжистая — восемь пудов якорной цепи поднимает. Вечером стоит на берегу, высокий, задумчивый, седой, как Гомер. Долго думает о чем-то, потом скажет вдруг:

— Цари были неграмотны.

— Откуда вы знаете, дидусь?

— Знаю.

На все у него свой взгляд, обо всем свое суждение, и Тане нравится, что он никого никогда не боится, а о Днепре и порогах днепровских говорит, как о своем подворье.

Почти каждая лодка, что стоит в заливе, имеет имя, и уже по нему можно узнать, чья она. Большой голубой «Арго» — это профессора из горного, который женится третий раз; чуть дальше «Ермак» — старого прокатчика с завода, за ним заводской парусник «Скиф», а возле самого причала скромная двухвесельная отцова «Мечта».

Танин отец работает прокатчиком, а в свободное время — завзятый рыболов, целыми ночами на Самаре, возле рыбацких костров. Первые впечатления Таниного детства — это утренние гудки, которые зовут отца заступать на смену, и высокие заводские дымы на левом берегу, а еще неотделимы от ее детства две бетонные радуги железнодорожного моста через Днепр, белеющие за скалами Комсомольского острова, и сам этот остров, поблескивающий камнями посредине Днепра, весь как бы подернутый дымкой

дедушкиных легенд. Тот остров, где княгиня Ольга спасалась со своим флотом от бури, где Святослав отдыхал, идя в поход. А холмы вдали за Днепром — это те, откуда казаки, спускаясь с верховьев, уже искали глазами Сечь.

Красив Днепр в верховьях, чудесен возле Киева, но не менее замечателен он и тут, где вбирает в себя Самару, где широко и вольно раскинулся среди степей, что разлеглись далеко на юг и на восток. Нигде не найти такого раздолья и простора! Днепр здесь как нёбо, он будто решил собрать возле острова всю свою силу, чтобы раздвинуть камни, разрушить скалы и еще быстрее, стремительнее ринуться дальше, через пороги вниз. Оттуда, с татарщины, на эти холмы за Самарой выскакивали когда-то на диких своих конях ордынцы-крымчаки с натянутыми луками, там где-то рождалась дума «О трех братьях Азовских...»

Вечером, когда из той татарщины, из синей мглы засамарской всходит луна, Таня, усевшись у дедушкиных ног, слушает легенды, которым нет конца. С древних времен селились здесь на зимовье запорожцы да лоцманы днепровские, мужественные, отважные люди, которые знали все капризы порогов и, рискуя жизнью, проводили вниз и княжеские струги, и купеческие караваны, и батрацкие чайки.

Кто знает, не дедушкины ли легенды, воспоминания и рассказы о давних временах заронили в Танину душу первую любовь к родному краю, с детских лет пробудили страстное желание поскорее выучиться, стать исследователем этих островов и степных курганов, которые всю жизнь раскапывал дедушкин знакомый, академик Яворницкий, сделаться историком родного Днепра с могучими заводами на его берегах?

Когда перед нею, дочерью рабочего, открылась университетская дверь и она стала студенткой, казалось, что достигнуто все самое заветное. Университет был ее мечтой, но он превзошел мечту: он дал ей любовь. До встречи с Богданом при всем бурном своем воображении Таня не могла представить, сколько чар, сколько мук и счастья таит в себе это человеческое чувство.

И вот теперь, когда это чувство с такой полнотой вызрело в ней, когда даже и сама наука с ее скифскими курганами отступила перед ним, девичьему сердцу суждено было до краев наполниться горечью разлуки, и жизнь теперь будет постоянной, неутихающей тревогой за него, за самого дорогого,— ведь война может в любой день, в любое мгновение навсегда забрать его у нее.

Скрылась в балке колонна студбата, потом еще раз появилась на той стороне, на пригорке, и, снова скрывшись, больше уже не появлялась.

Ушел Богдан, остался город, пустой без него, пустые общежития, куда не хотелось и возвращаться.

— Пошли ко мне,— поняв ее состояние, предложила Марьяна, и Таня тут же согласилась.

Как бы сразу увядшая, без улыбки, маленькая, измученная — такой теперь брела она рядом с Марьяной.

Марьянины родители живут в районе заводов, в поселке Тракторного. Он встретил их садами, по-июньски рдеющими вишнями. Таня и раньше бывала здесь. И хотя этот рабочий поселок был вовсе не похож на тот, где выросла она,— тут все размерено, распланировано, домики новые, и кинотеатр в стиле модерн, вросший в землю,— однако сама атмосфера здесь напоминала Тане родной дом. Под вечер тут заводили патефоны, было полно музыки, в садах на зелень, на цветы из шлангов била вода, за столиками под деревьями клацали костяшки домино, будто по всему поселку проходила конница. Сейчас ничего этого не было. Была какая-то настороженность, напряженность.

У калитки встретили Марьянину мать. Неприветливая, сердитая, она несла куда-то под мышкой радиоприемник с обрывками антенны и заземления, свисавшими до самой земли.

— Куда это вы, мама? — обратилась к ней Марьяна.

— Сдавать несу.

Марьяна удивилась.

— Зачем сдавать?

— А велели... Клава вон приехала. Такое рассказывает...

Клава — это старшая замужняя Марьянина сестра. Увидели ее в саду возле столика: она кормила ребенка, прижав его к груди.

— Клава! — бросилась к ней Марьяна.— А мы столько раз говорили о тебе... Ты *оттуда?*

Оттуда — это значило из-под самой границы, там служил Клавин муж — лейтенант, и она жила вместе с ним. Очень еще молодая, она сейчас сидит усталая, сгорбившаяся, и по плечу ее расползается тяжелый клубок кос, таких же черных, густых, как у Марьяны. Глаза у Клавы с восточным разрезом, миндалевидные; они полны печали, неостывшего горя — видать, насмотрелась...

— Рассказывай, как там? Ваня живой?

— Не знаю,— Клава тяжело вздохнула,— ничего не знаю. Когда началось, забежал на минуту: «Клава, бери малыша и на вокзал». А вокзал уже пылает, взрываются цистерны, горит хлеб в вагонах, тот самый хлеб, который отправляли им же, в Германию... В чем была выскочила, ничего не успела захватить с собой, только с ним, вот с этим.— Она плотнее прижала ребенка к груди.

— Ну, ничего, будешь жить у нас, я ведь теперь тоже солдатка... Вместе жить будем, пока все это не кончится. Это же скоро кончится, правда?

— Ой, вряд ли. Там столько танков они пустили, в небе от самолетов черно... Чем только наши до сих пор держатся — ведь совсем врасплох нас застали. Перед нападением фашистов артиллерию как раз на ремонт отвели. Надо ж было додуматься!..

Она стала рассказывать, как бомбили их по дороге, как горели станции, на одной она едва не погибла, а подругу ее, тоже жену пограничника, с девочкой лет четырех при бомбежке убило прямо на глазах у Клавы. В пожарищах, в ожесточенной битве вставала перед ними страна из Клавиных рассказов.

Вскоре возвратился с работы отец. Сдержанно поздоровался, вроде бы и не особенно удивленный появлением старшей дочери, как бы загодя знал, что

встретит ее здесь. Взяв малыша из рук Клавы, внимательно рассматривал его:

— Ну, пограничник? Вытряхнули тебя из гнезда?

И, скупо пощекотав внука оттопыренными усами, отдал его Клаве.

— А где же мать?

— Приемник сдавать понесла,— сказала Марьяна, расставлявшая посуду на столе.

— Что ты мелешь... Какой приемник?

— Известно какой — наш.

Отец засопел, подошел к умывальнику под деревом и, сердито позвякивая клапаном, стал мыть руки.

Таня, глядя на эти руки, думала, что они такие же огромные и огрубевшие в работе, как у ее отца, и еще думала, что этими руками старый рабочий на баррикадах когда-то завоевывал эту жизнь, которую сегодня пошли защищать Богдан и все остальные ребята-добровольцы.

Однако надо было помочь матери готовить обед.

Тут же, в саду, за самодельным столиком, над которым нависли вишневые ветки, девчата принялись чистить картошку.

Клава рассказывала отцу о своих мытарствах, а он сидел молчаливый, угрюмый, смотрел куда-то вдоль улицы, в конце которой открывались поля, голубела колхозная рожь. Может быть, все это напомнило старому Кравцу, как лет десять назад вот здесь, где сейчас поселок тракторостроителей, и дальше на север, где раскинулся цехами Тракторный, была такая же рожь и открытая степь, и когда строили завод, то первый его директор, старый чекист, по строительной площадке разъезжал верхом на коне, потому что пешком было совершенно невозможно пройти — такая была грязища. Жили тогда в бараках, инженеров не хватало, и в его, Кравцовом, доме было целое общежитие — теснилось пять племянников, которые из села к дяде пришли с деревянными крепкими сундучками. Всех выучил, устроил — пополнил рабочий класс. Кажется, это было совсем недавно: и директор на коне, и первый трактор, выкатившийся из ворот цеха под музыку, и Марьяна в школе среди иност-

ранных ребятишек — там у них был целый интернационал, потому что на заводе работали в те годы и американцы, и чехи, и немцы, и англичане, приехавшие сюда вместе со своими семьями... Давно уже обходятся без иностранных специалистов, и тысячи собственных тракторов пошли на поля, и сами рабочие из бараков перебрались жить в эти вот утопающие в садах домики... Вишенники поразрастались — лезут ветвями через заборы на улицу; клубника, садик стали для Северина Кравца вторым занятием,— для него и для его товарищей по кузнечному нет теперь лучшего завода на свете и лучшего соцгородка.

Он слышит: Марьяна рассказывает Тане о том же самом — как первые деревья сажали здесь, как отец с матерью заспорили тогда, что сажать.

— Тато — вишни, потому что с каждого деревца, мол, можно будет снять самое малое по ведру ягод. А мама — тополя. «Что толку с тех тополей — один пух летит»... Кончилось же тем, что посадили, как видишь, и вишни и тополя.

Вишни давно уже плодоносят, и пух тополей летит, когда они цветут в начале июня, и Марьяна любит этот пух...

Возвратилась мать хоть и без приемника, но, кажется, в несколько лучшем настроении, чем уходила из дому.

Присев к столу, стала рассказывать:

— Только что у Писаренчихи на петухов ворожили. Поначалу ихний все время был сверху, а потом наш как расправил крылья да как бросился, только перья с Гитлера полетели! Вот оно какое дело!

В другое время смешно было бы слушать подобное, но сейчас не смеялись, лишь Клавин «пограничник», разыгравшись, расплывался в улыбке и все ловил ручонками ягоды на вишневой ветке.

Отец на ночь собрался снова на завод. Перед тем как выйти со двора, еще раз склонился над внуком, которого Клава пристроила под вишней в гамаке.

— Не падай духом, держись,— глухо внушал ему старик.— Ежели в зыбке бомба не взяла, будешь

жить... Все еще у нас впереди. Еще будет раскалываться от нашего железа ихняя поганая земля...

Клава с ребенком в этот вечер рано легла спать, дорога вконец измучила ее. Только Таня с Марьяной допоздна стояли у калитки, будто ждали кого-то, и слушали, как высоко над ними шелестят верхушками тополя — ровесники Тракторного.

11

Летят студенческие чубы!

Ворохом лежат они на земле — русые, каштановые, черные, светлые, смешавшись, сбившись в солдатский войлок.

Возле бани, в тени зеленых густолистых деревьев, где стригут добровольцев, слышны хохот, выкрики. Со всего лагеря, как на веселое зрелище, сошлись смотреть на эту процедуру.

В помощь солдату-парикмахеру встал сам помкомвзвода первой роты студбата сверхсрочник Гладун: для него, видать, было немалым наслаждением собственноручно снимать роскошные вихры ученой братии. Сапоги его с явным презрением топчут студенческие чубы, он плотно стиснул зубы, прохаживаясь машинкой по студенческой голове; тот, кто попал ему в руки, только покрякивает да ойкает, когда невмоготу.

— Терпи, студент, пехотой будешь! — приговаривает сквозь зубы Гладун.— Это тебе, брат, армия, а не университет!

Сядешь — и не успеешь оглянуться, как чуб твой слетел, острижен ты под нуль, расческу свою можешь забросить в кусты. Смешные выходят ребята из-под машинки: у каждого сразу как бы убавился рост, а головы стали бугроватыми, у этого какая-то шишка выпирает на темени, у того куст остался за ухом, а Духнович без своей густой рыжей шевелюры и вовсе выглядит комично: все сразу заметили, что голова у него как-то вытянута и напоминает дыню, а по бокам нелепо торчат огромные красные уши, тотчас же ставшие предметом острот.

Казалось бы, студенты воспринимают все это как должное, расстаются с прическами вроде бы даже легко, подтрунивают друг над другом, перестреливаются шутками, но в этом их смехе и шутках слышится и сожаление об утраченном и ощущение, будто вместе с чубами летит прахом все то, что делало их не похожими друг на друга. Летит в безвозвратное прошлое студенческая вольница, беззаботность, привычка жить и действовать кто как хочет.

Стриженые, с бугроватыми и шишковатыми головами, новобранцы подхватили от кого-то из сверхсрочников и уже охотно заучивают вместо премудростей университетских шутливые заповеди солдата:

1. Будь подальше от начальства: даст работу.
2. Держись ближе к кухне.
3. Если что непонятно — ложись спать.

Студбатовцам, учитывая их звание курсантов, выдали командирское обмундирование, в том числе добротные, с голенищами чуть не выше колен яловичные сапоги, до этого, похоже, годами лежавшие где-то на случай войны. Помкомвзвода Гладун, несмотря на свою сверхсрочную службу, носит кирзовые, и его сейчас разъедает зависть.

— Ну, за что тебе такие сапоги? — говорит он, небрежно бросая Духновичу его пару.— Чтобы их заслужить, нужно семь пудов солдатской соли съесть. А ты? Кто ты есть?

Духнович с таинственным видом, почти шепотом, признается ему:

— Мы — интеллектуалисты.

— Это еще что такое? — Гладун смотрит на него подозрительно. Оставшись одни, хлопцы хохочут:

— Вот увидишь, он тебе покажет «интеллектуалиста»!

А Дробаха по этому случаю рассказывает историю, как в свое время один художник едва не попал в беду за то, что назвался маринистом.

С помкомвзвода Гладуном у студбатовцев с первого же дня пошли нелады. Назначенный к историкам, Гладун понял свои обязанности так, словно бы ему вручили табун диких степных коней и он должен

их объездить, должен ловить, стреножить, взнуздать и всеми правдами и неправдами елико возможно скорее водрузить на каждого армейское, всеми уставами предусмотренное седло. Ему казалось, что надо прежде всего выбить из них университетский дух, который они принесли с собой в лагерь. Теперь излюбленная поговорка Гладуна: «Это вам не Вольная академия — это лагерь, ясно?»

Сам он даже среди сверхсрочников выделялся своей подтянутостью и бравым молодецким видом. Здоровенный, осанистый, с такой выей, что в пору ободья гнуть, идет на тебя, а в глазах холод, лоб упрямый, хоть какую стену пробьет. За пределами лагеря, среди чугуевских молодиц он одержал немало побед и, говорят, будто даже вел им список. С виду более бравого в лагере не найти: все на нем как влито, будто родился он в этом обмундировании, пилотка от бровей на два пальца, воротник вокруг налитой кровью шеи даже в самый горячий зной сверкает белоснежным ободком. Не помкомвзвода, а живое воплощение лагерной дисциплины и буквы уставов! Лагерь, его посыпанные песочком аллеи столетних деревьев, грибки часовых, палатки, продырявленные пулями мишени, спортивные снаряды и полосы препятствий — вот мир, вне которого невозможно было представить себе Гладуна.

Он тешился своей властью над студентами, своим правом врываться на рассвете к ним в палатки и вытряхивать из «интеллектуалистов» их утренний сон:

— А ну, подъем! Подъем! Довольно нежиться! Сегодня строевая, а не биномы Нутона!

На плацу он гонял их до седьмого пота. Где самые глубокие рвы, где самая колючая растительность, там они километрами ползали перед ним по-пластунски, а когда кто-нибудь, не выдержав, попробует роптать — горе тому! Другие уйдут на отдых, а этому бедолаге одному придется маршировать под палящим солнцем либо дополнительно тренироваться в штыковом бою, вновь и вновь до одури прокалывая набитые соломой, истерзанные чучела.

Само собой разумеется, более всего доставалось Духновичу, однако и после помкомвзводовской «надбавки» он не мог держать язык за зубами.

— Да что это в самом деле? — говорил он, сплевывая землю, которой во время ползания как-то умудрялся наглотаться.— Николаевская муштра? Кос-Арал? Только Тараса Шевченко когда-то так гоняли, как вы нас гоняете...

Этого было вполне достаточно, чтобы гимнастерка Духновича в тот день не просыхала вовсе.

— Вот я тебе покажу Кос-Арал!

— Не «тебе», а «вам».

— Это все равно.

— Кому все рáвно, а кому — нет.

— Комиссару пожалуешься? Встать! Кому сказано, встать? Во-он до той кобылы по-пластунски туда и обратно, марш!

Духнович, вероятно полагая, что Гладун только пугает, не спешил выполнять команду. Но Гладун крикнул уже с угрозой:

— Сполняй!

И Духнович, только было присевший возле товарищей, должен теперь снова подняться, потом упасть прямо в пыль, ползти по горячему, раскаленному от солнца плацу при полной выкладке, на локтях преодолевая расстояние до кобылы, которая пасется черт знает где, у самого горизонта.

Колосовский, хмурясь, некоторое время смотрел вслед товарищу, а потом неожиданно встал, поправил ремень и по всей форме обратился к Гладуну:

— Товарищ старший сержант! Разрешите мне за него проползти.

Гладун был искренне удивлен, что Колосовский, один из самых приметных в студбате правофланговых, немногословный и проникнутый больше, чем другие, уважением к военной науке, берет вдруг под защиту Духновича, этого совершенно безнадежного в военном деле человека, к тому ж еще и баламута.

— Почему это у вас, Колосовский, шкура за него болит?

— Это мой друг. К тому же у него здоровье слабое.

— Ну, уж если сюда попал, пускай знает, что тут слабых да хилых нет. Армия все болячки как рукой снимает!

— Снимает, но не в один же день.

Старший сержант оглядел Колосовского снисходительно, улыбнулся краем рта:

— Не к лицу вам, товарищ Колосовский, заступаться за таких разгильдяев... Ведь сами вы образцовый курсант. Какая между вами может быть дружба? Перед вами, может, дорога в Герои Советского Союза, а перед ним куда?

— Одна у нас дорога.

— Не понимаю, чем он так провинился, наш Духнович? — спокойно вмешался в разговор Степура.— На два или на три пальца пилотка от бровей — не это сейчас главное.

— И не здесь главное,— мрачно бросил Лагутин.

— А где же? — Гладун насмешливо прищурил глаз.

— Главное сейчас там, где нас с вами нет,— стоял на своем Лагутин.

— В конце концов мы записывались на фронт,— добавил Дробаха,— а не для того, чтобы шагистикой вот тут заниматься.

— Туда успеете,— ухмыльнулся Гладун.— Там таких понадобится, ого, сколько!

— Так отправляйте же!

Гладун насмешливо покачал головой:

— Эх вы, «интеллектуалисты»... Учили вас, учили, а головы мякиной набиты.

Когда после этого он отошел от них, отправившись наблюдать за Духновичем, Дробаха почти с ненавистью бросил ему вслед:

— Дубина! Фельдфебель!

— У меня такое впечатление, что он всю войну решил вот так отсидеться здесь,— сказал Лагутин, вытирая с обгоревшего лица пот женским, с кружевной каемкой платочком.— Из кожи вон лезет, чтобы только не потерять тут место.

— А что, и отсидится,— угрюмо заметил Мороз.— Нынче гоняет нас, потом будет гонять других...

— Гонять нас нужно,— сказал Степура,— но это ведь можно делать с умом.

Колосовский, которого помкомвзвода оставил старшим вместо себя, сел с хлопцами продолжать занятия по уставу. Место, где их посадил Гладун, открытое, жара невыносимая, и ничто не лезло в голову, солнце, казалось, расплавляет мозги. А совсем неподалеку — тень, зеленеют столетние деревья...

И случилось так, что, когда Гладун возвратился с Духновичем, который еле плелся за ним, взвода не оказалось на прежнем месте: беспокойное воинство Гладуна самовольно переместилось в тень...

— Кто разрешил? — набросился на них Гладун.

— Я,— поднялся Колосовский.

Он ждал, что Гладун наложит на него взыскание, но тот почему-то не сделал этого.

Зато сильно пострадал весь взвод: немилосердие Гладуна тотчас же обрушилось на всех сразу. Другие командиры повели солдат на обед, уже за ними и пыль улеглась, а Гладун все держит своих на пустыре, где жара тридцатиградусная и воды ни глотка. Ведет их с плаца последними. Вроде бы он выжал из своих курсантов все, что только можно было выжать, но ему этого показалось мало — приберег еще кое-что...

— Запевай!

Молчание.

— Запевай!!

Молчат.

— Запевай!!!

Как в рот воды набрали. Идут, будто оглохли, онемели.

Гладуну, однако, такие номера хорошо знакомы. Только не на такого нарвались. У него запоете, он из вас выбьет эту дурь.

— Бегом... арш!

Тяжело подняли ноги, побежали, застучали каблуками.

Гладун не отрывает от них глаз.

— Шире шаг!

Ужарятся, ослепнут от пота, тогда запоют...

Все быстрее и быстрее бегут они, бегут, стиснув зубы, и только яловичные сапоги грохают в тяжелом однообразии.

Плохо, однако, что и самому помкомвзвода приходится, не отставая, бежать рядом с ними, с него тоже пот градом катится, и чем больше он глотает пыли, поднятой их сапогами, тем большая ярость охватывает его,— гнал бы, кажется, пока не попадают, но у самого уже не хватает сил, хочешь не хочешь, а придется останавливать.

— Направляющий... стой!

Но они продолжают бежать. Не услышали, что ли? Все увеличивается расстояние между помкомвзвода и добровольцами. Собрав все силы, всю буйную свою непокорность, которую Гладун не успел еще из них выбить, мчались куда-то напрямик, как табун необъезженных коней, который скорее расшибется на скаку, чем остановится от окрика. Гонясь за ними по огромному опустевшему плацу, Гладун уже и сам был не рад, что подал команду «бегом». Теперь помкомвзвода очень боялся, что они без него так и прискачут к палаткам, на главную линейку, на глаза командиров.

— Стой же! Стой! — взывал он.

А им нет удержу, ей-же-ей, протопают вот так мимо столовой, где ждет их гречневая каша, пробегут мимо часовых под грибками, вылетят из лагеря на простор — лови их тогда где-то в ихних вольных академиях...

Бросившись наперегонки, он все-таки преградил им путь, остановил уже на линейке, возле первых палаток, в тени густых деревьев.

Застыли на месте, запыхавшиеся, разгоряченные, в мокрых, хоть выжимай, гимнастерках, а на лицах — сама покорность, одно послушание, только в глазах у каждого и в прикушенных губах Гладун читал скрытую насмешку и полное удовлетворение: проучили.

— Почему не остановились? Почему не выполнили команду?

— Какую команду? — пожал плечами Дробаха.— Ничего не слыхали. Сапоги дуже гупают.

Другие тоже, как агнцы божьи, спрашивают с притворным удивлением:

— Разве вы кричали?

— Была команда «бегом», мы и бегом, а «стой» никто не слышал.

С удвоенным аппетитом ели они в этот день крутую солдатскую кашу с маслом, и Гладун ел вместе с ними, словно бы ничего и не случилось.

А когда, встав из-за столов, последними направлялись к себе, то и без помкомвзводовского «запевай» дружно, бодро, всеми глотками гаркнули на весь лагерь:

Дан приказ: ему — на запад...—

и этой песни им хватило до самых палаток.

12

Еще был Брест.

Еще были их десятки, сотни больших и малых Брестов, этих разбросанных по всему пылающему приграничью узлов сопротивления, где, отрезанные, окруженные, истекающие кровью, в болотах, на полях и в лесах до последнего бились наши бойцы, а сквозь прорванные пояса пограничных укреплений уже неслась на восток, громыхая всей своей тяжелой силой, «молниеносная война» — «блицкриг». Ревела моторами, скрежетала железом танковых армад, тарахтела мотоциклами по вишневым подольским садам, выкрикивая над Украиной боевой арийский девиз:

— Млеко! Яйка!

Днем было жарко от зноя, ночью — от пожаров, от горячих руин разбомбленных станций. А они, завоеватели мира, все шли и шли и, вылетая из пыли, поднятой на дорогах, распугивали по селам женщин, наполняли выкриками дворы, жадно шарили по огородам, по садам, и даже вверху, на деревьях, на красных, будто кровью облитых вишнях, были видны их

раскоряченные ноги и серо-зеленые, цвета гусеницы мундиры. Да это и была гусеница — гусеница размером с человека.

Студбат еще далеко от всего этого, еще не пахнуло на него раскаленным воздухом фронта. Лежа и с колена стреляли на стрельбищах по давно пробитым мишеням, кололи штыками чучела, множество раз проколотые курсантами пехотного училища и запасниками, проходившими в этих лагерях летнюю переподготовку. Может быть, только в том и была разница, что учеба проводилась ускоренно, в лихорадочном темпе, дисциплина была еще более суровой, а горны то и дело трубили над лагерем тревогу.

С непривычки студбатовцам трудно было выдержать этот режим. Занятия с утра до позднего вечера, огневая, строевая, пылища, зной, ночью — посты, наряды, тревоги... Но даже в самые тяжелые минуты, когда новобранцы были до крайности измучены, Колосовский не позволял себе раскиснуть, каждый раз подстегивал себя беспощадной мыслью: «А там, на фронте, легче?»

Ему было стыдно, что он еще не там, в окопном университете, среди неизвестных ему братьев, друзей, ровесников. Ведь он шел туда, а до сих пор еще так далеко до фронта... Чтобы не так мучили угрызения совести, он всю душу вкладывал в суровые лагерные уставы, в штыковой бой, в стрельбы и тактические занятия, нередко превосходя учителей своих — сержантов сверхсрочной службы, этих подлинных богов крутой лагерной науки. Было что-то заразительное в той науке, она пробуждала в Богдане честолюбие, и хоть неудобно было перед товарищами, но он ловил себя на том, что ему приятно время от времени выходить из шеренги на три шага вперед и выслушивать перед строем на вечерней поверке благодарность командира. Особенное удовольствие получил он, когда однажды, стоя вот так перед строем, поймал на себе взгляд Спартака, исполненный ревнивого удивления: как же это, мол, не я, а ты стоишь перед строем и выслушиваешь похвалу?

Зато в политинформациях Спартак всегда читал фронтовую сводку. Неблагодарным, правда, было это поручение, тяжело было читать: «После упорных боев сданы...», «После жестоких боев оставлены...» Внутренние районы страны, которые еще вчера казались недосягаемо далекими для врага, сегодня становились аренами битв.

В первое же воскресенье к студбатовцам пришли девчата. Едва закончилась политинформация, дежурный радостно выкрикнул из-под грибка:

— Колосовский, на линейку! Лагутин, на линейку! Влюбленные, все на линейку! Девчата за лагерем ждут!

Все, кто был в этот час свободен от нарядов, радостно устремились к выходу, потому что это ведь касалось всех: девчат будто прислал к ним на свидание сам университет.

Девчата стояли за входной аркой под деревьями, в ряби теней и солнца, просвечивающего сквозь листья.

Богдан еще издали увидел среди них Таню. Она быстро пошла навстречу, не сводя с него глаз, никого, кроме него, не видя, неловко прижимая к груди букетик полевых цветов, маленькая, хрупкая его Татьянка. Видел сначала только эти словно завороженные глаза и улыбку, ясную, доверчивую, неповторимую...

— Здравствуй, родной!

— Здравствуй, родная!

Это было сказано тихо, вполголоса.

Лицо ее обожжено солнцем, она стоит разутая, босоножки держит в руке... Ему почему-то до слез стало жаль ее.

— Пешком?

— Да нет, немного и подъехали... На, возьми.— Она подала ему цветы, среди которых больше всего было васильков. Он жадно втянул в себя густые запахи степи.

— Где насобирала?

— А там, вдоль дороги, когда шли...

— Устала?

— Малость.

Опираясь на Богдана, она стала надевать босоножки. Пыль еще лежит на исхлестанных бурьянами тугих загорелых икрах.

— Эх вы, пехота!

Он чувствует, как голос срывается от переполняющей его нежности.

Никогда еще Таня не была ему так дорога. Только здесь по-настоящему понял, каким бедным был бы он без нее, без ее улыбки, без этой безоглядной преданности, что привела ее сюда. Обыкновенная девчонка, возможно для других даже малоприметная, для него она выделялась из всех людей на свете, которых он только знал и будет знать, и уже стала самой родной, незаменимой, с этой ее безграничной ласковостью взгляда, с маленьким носиком и ямочками на щеках, с опьяняющей прелестью девичьей груди... Ему опять почему-то стало до боли жаль ее, жалко и обидно, что, погибнув, может сделать ее не-

счастной. «И если мне не хочется погибнуть на войне, то это прежде всего ради тебя, любимая, ради нас, ради нашего с тобой счастья».

Улыбаясь, глядел и не мог наглядеться на все то, что принесла она ему в своих ясных глазах.

— Почему не поехала домой?

Губы ее виновато дрогнули... Да, собиралась же, а не поехала. Не смеет даже признаться: осталась ради него, чтобы находиться ближе к нему. И разве они не вознаграждены за это? Вот он стоит перед ней, стоит, опаленный солнцем, стриженый и, кажется, еще более вытянувшийся, похудевший, в новом, военном наряде, в новой, с красной звездочкой пилотке. Форма ему к лицу, в нем есть военная жилка, передалась, видно, от отца. Стройный, высокий — даже и на каблуках она достает ему лишь до плеча, а сейчас и вовсе перед ним маленькая... Сколько за эти дни передумала о нем! После разлуки он еще больше вырос в ее глазах. Чувство ее к нему заполнило всю душу, она все время теперь ходит словно ослепленная. Иногда ей кажется, что она стала жестокой ко всем, кроме него, в такое время вот не поехала к родителям, о родном брате вспоминает в эти дни меньше, чем о Богдане, хотя брат у нее летчик, он где-то в самом огне, может быть, его и в живых уже нет.

— С понедельника отправляемся всем университетом на окопы. Противотанковые рвы будем рыть где-то под Красноградом.

— Где, где?

— Под Красноградом.

«Противотанковые под Красноградом? На этом берегу Днепра?»

Отгоняя от себя мрачные мысли, Богдан взял Таню за руку.

— У нас тут такие намерения, чтобы через Днепр их вовсе не пустить. И близко не подпускать к Днепру!

Стоило Богдану взять ее за руку, стиснуть маленькую Танину ладонь в своей, как она сразу же обо всем забыла. И словно уж не было войны, и чудесным стал мир!

Раскачивая сплетенными руками, они пошли между деревьями в глубину леса, полного свежести, прохладной тени, травы, буйных широколистых папоротников.

— Хорошо тут у вас,— сказала Таня.

— Сколько здесь людей побывало, можешь себе представить! — взволнованно откликнулся Богдан.— Тут ведь и до революции были лагеря. Эти дубы, видно, еще предками Репина посажены. Ты же знаешь, Репин из этих мест, из чугуевских военных поселенцев, мы были на той сотне, где он родился.

— Ты и тут исследуешь? — улыбнулась Таня.

Богдан тоже улыбнулся и, обняв Таню, стал целовать ее в шею, в губы.

— А мне и не стыдно,— смеялась Таня.— Пускай смотрят, я ж твоя...

Издали на них в самом деле смотрели курсанты, о чем-то весело переговариваясь.

— Крапивой меня обожгло,— призналась Таня, потирая ногу.— Помоги мне выбраться отсюда...

Он подхватил ее и почти на руках вынес из крапивы, из папоротников. Пошли по тропинке, углубляясь в лес.

— К кому это Ольга пришла? — спросил Богдан.— Такая грустная стояла там, у входа в лагерь...

— Ольга? — спохватилась Таня, только теперь, видно, вспомнив о подруге.— Она просила никому этого не говорить... К Степуре... Ольга давно в него влюблена!

— А он все еще из-за Марьяны переживает...— задумчиво отозвался Богдан.

— Как у них с Лагутиным?

— Как и раньше. Просто беда с ними! По росту им выпало ходить в строю рядом, идут и дуются друг на друга, а нашим хлопцам, известно, только подай... Духнович уже предлагал им свои услуги секунданта.

— А он, Духнович наш... осилил уставы наконец?

— Худо ему, бедняге. Смешно и горько смотреть, во что превращается homo sapiens [1] на плацу.

---

[1] Человек, мыслящее существо *(лат.)*.

Сквозь зелень кустов внизу, в камышах, засверкала вода.

— Дальше не пойдем,— сказал Богдан, остановившись над обрывом.

— Дальше речка,— засмеялась Таня.

— Не только потому.

— А почему?

— Нужно, чтоб на случай тревоги лагерь был слышен...

Солнечные отблески прыгали в искристо-карих глазах Богдана. Они, эти родные, горячие глаза, улыбались Тане, излучая какую-то силу. Она смотрела в их глубину с таким предчувствием, будто вот-вот должна потерять их надолго, а может, и навсегда разлучиться с ними. Она прильнула к нему, припала головой к груди.

— Вы еще долго тут пробудете?

— Вряд ли. По тому, как нас гоняют, видно, торопятся с нами. Да хлопцы и сами рвутся.

— Как это хорошо, что мы вас застали... Мы и в следующее воскресенье придем. Не возражаешь?

— Еще бы!

— Давай сядем.

Сели, она прилегла к нему на колени, ловила каждый лучик в его глазах, каждую черточку его лица хотела запомнить. Она в самом деле ослеплена им и счастлива этой ослепленностью, этой безграничной преданностью ему. Пусть скажет: кинься вот здесь с обрыва, разве не кинется? Руки его, сильные, загорелые, солдатские руки, а как нежно обнимали они ее сейчас! Иногда ей казалось странным и непонятным, отчего это Богдан полюбил именно ее, Таню, а не такую красавицу, как, скажем, Марьяна, или Майя Савенко с геофака, или... Да ему первая красавица была бы под стать. Одна из пединститута просто глаз не сводила с него в библиотеке, всегда норовила сесть напротив, хотя что ей известно о нем? Только Таня знает, сколько за этой внешней сдержанностью, даже суровостью, таится любви, сколько горячей страсти в мужественной этой груди, сколько пытливого ума

кроется за выпуклым юношеским лбом! И все это она может потерять?

Он словно бы отгадал ее мысли.

— Вот такое наше лето. Вот такая наша Ольвия, Таня.

— Как здесь липа чудесно пахнет... Трава, зелень, деревья. Просто не хочется думать, что где-то идет война. Милый, не будем думать о ней...

— А она идет.

— Идет, это правда. Как буря, как ураган идет. Именно такой она мне почему-то представляется — ураганом, черным, бушующим, смертоносным... Где-то я читала о летчике, который не мог сесть на землю, охваченную ураганом. Летчику ничего не оставалось, как поднимать свой самолет все выше и выше, куда не мог достичь ураган, и попытаться пройти над ним...

— То летчики,— сказал Богдан, и Таня перехватила на себе горькую его улыбку,— а нам, пехоте, ничего не остается, как только пробиться сквозь все это.— Он вдруг потемнел и повторил глухо: — Сквозь все это пройти.

— Скоро? — спросила Таня чуть слышно.

— Скорее бы. С фронта худые вести.

— Не думай об этом.

— Как же не думать? Такое полыхает...— Богдан вдруг насторожился.— Трубят!

Он вскочил на ноги. Таня за ним, растерянная, побледневшая.

— Богданчик...

Он прижал ее к груди, поцеловал жадно, торопливо.

— Надо бежать!

Схватив Таню за руку, Богдан побежал. Она, спотыкаясь, еле поспевала за ним.

В одном месте, вспугнутые тревогой, из кустарника выскочили Марьяна и Лагутин. Марьяна жарко раскраснелась, глаза ее светились необычно, она что-то поправляла на себе, застегивала блузку на груди, и Таня впервые позавидовала подруге, что они с Богданом не успели испытать такой близости.

Горн грозно трубил, звал, отовсюду бежали к лагерю, и вот уже Таня с Богданом оказались возле арки, возле того места, куда вход девушке воспрещен.

— Ну...— Богдан крепко пожал ее руку.

Отбежав несколько шагов, он вдруг повернулся, протягивая ей свою студенческую зачетную книжку:

— Возьми, сохрани...

На этот раз в его голосе и в каком-то немного растерянном виде было что-то необычное. Сердце у нее сжалось: «В последний раз!»

Взяв зачетку, глядела на Богдана большими, до краев наполненными слезою глазами и все не отпускала его руку.

— Богданчик, милый, если... в случае чего... ты хоть пиши! Слышишь, любимый мой! Хоть в мыслях пиши, если не будет возможности... Знай, я мысли твои услышу! За тысячу верст!

«За тысячу верст!» Девичий этот крик так и вошел ему в сердце.

А горн трубит над лагерем все настойчивее, все требовательнее. Подстегиваемые призывным его кличем, студбатовцы быстро побежали к лагерю, исчезли за аркой, среди палаток, и перед стайкой вдруг осиротевших девчат снова стоит лишь лагерный часовой с винтовкой у ноги — молчаливый, строгий, недоступный.

13

Собирали, оказывается, для того, чтобы выдать оружие. Вместо старых, с трехгранными штыками винтовок, которыми курсанты были до сих пор вооружены, привезли новейшего образца десятизарядные полуавтоматы с плоскими штыками-ножами. Потом, на фронте, курсанты хлебнут горя с этими красавцами, которые будут отказывать, едва столкнувшись с песком и болотом, и придется в ярости выбрасывать их, подбирая на поле боя старые, отцами испытанные трехлинейки. Пока что СВТ [1] вызвала у добровольцев всеобщее оживление.

---

[1] Самозарядная винтовка Токарева.

Винтовки лежали в новеньких заводских ящиках. Уложены они были так ладно и так щедро смазаны густой заводской смазкой, что жаль было к ним притрагиваться, возникало желание тут же, не прикасаясь, опять закрыть их в ящике и отправить на вечное хранение.

Но старшины и помкомвзводов ловко извлекали винтовки, раздавали по списку, проставляли напротив фамилий номера, требуя, чтобы тот, кто получает, тотчас же запоминал свой номер навсегда.

— Потому как с этим номером, может, и помереть придется,— солидно пояснил Гладун, вручая винтовку Духновичу.

— Я бессмертный,— отвечал на это Духнович.

До самого вечера получал батальон новое оружие. Кроме винтовок, им еще выдали каски: тоже новые, зеленые, тяжелые.

— Чугунные теперь кумпола у нас,— крутил Дробаха своей мощной головой; в каске она будто осела на плечах.

А вечером, еще и солнце не зашло, батальон, быстро поужинав, снова строился: предстоял марш на всю ночь и боевые учения. Каждый из курсантов был навьючен полной выкладкой, с флягой, противогазом, с положенным боекомплектом и суточной нормой НЗ в солдатском ранце.

Перед выходом из лагеря сверхсрочники, разувшись, показывали студбатовцам, как нужно наматывать портянку, чтобы не натереть ногу в походе.

Гладун сидел на стуле и горделиво, уверенными, четкими движениями обматывал белой байкой свою лапищу.

— Видите? — вертел он туда-сюда ногой.— Как куколка!

А потом, стоя возле цинкового бака с водой, он подзывал к себе каждого из своих бойцов, брал ломтик черного хлеба и, словно бы священнодействуя, насыпал сверху горсть соли, и всю эту крупную, как стекляшки, соль, которая едва держалась горкой на хлебе, подавал курсанту:

— Ешь!

Тот недоумевающе отступал: соль? Да еще после ужина? Да еще в такую жарищу, когда и без того пьешь — не напьешься?

— Я ж не верблюд.

— Бери ешь, говорю!

Приказ есть приказ. Хрустит на зубах натрий-хлор. А когда соль съедена, Гладун указывает на воду:

— Пей!

Черпаешь кружкой, которая вместительностью не уступила бы, пожалуй, ковшу запорожскому, и пьешь, аж стонешь, а помкомвзвода подбадривает:

— Пей, пей вволю, чтоб брюхо было как барабан! На марше не дам ни капли.

В стороне, с улыбкой наблюдая за этой сценой, стоят группой старшие командиры, среди них и тот, со шпалами в петлицах, с сединой на висках, который был в райкоме партии, когда студенты проходили комиссию. Они уже знали его: батальонный комиссар Лещенко. Старый политработник, долгое время служил в авиации, но по состоянию здоровья вынужден был перейти в пехоту. В лагерь он прибыл только вчера, будет комиссаром студбата.

Колосовского он узнал. Как раз в тот горький миг, когда Богдан прожевывал порцию гладуновского «бутерброда», комиссар с приветливым видом подошел к нему:

— Ну, как, товарищ Колосовский? Солона курсантская жизнь?

Богдан, у которого аж скулы сводило от соли, боднул головой.

Комиссар смотрел на него, слегка улыбаясь, или то, быть может, глубоко залегшие на сухом, вытянутом лице складки придавали ему приветливое, улыбчивое выражение. Богдану радостно было встретить тут этого человека. Сердцем чуял Колосовский, что ему желают добра эти терново-черные проницательные глаза, чем-то близким, почти отцовским повеяло на Богдана от них, от мужественного лица, согретого улыбкой. Сколько ему лет? Судя по медали «XX лет РККА», он давно уже в армии, наверно, и воевать приходилось... Виски серебристые, а сам еще строй-

ный, свежий, смугловатый, и оттого седина выделяется еще заметнее. Похоже, большую жизнь прожил он, если с первого же взгляда сумел тогда понять Богдана, если лучше других разгадал, с чем тот пришел на комиссию, что принес в своем сердце в райком. Такой и должна быть душа у коммуниста!

— А со сверхсрочниками как вы тут? Нашли общий язык? Дружно живете? — спросил комиссар, переводя взгляд на Духновича, которому Гладун как раз насыпал на корку от всех своих щедрот преогромную щепоть соли. Духнович стоял перед ним сгорбленный, будто навьюченный больше всех — в хомуте скатки, в каске, которая словно придавила его,— стоял и ждал Гладуновой порции с каким-то мученическим, фатальным выражением на лице.

— Беда с ними, товарищ батальонный комиссар,— поспешил доложить помкомвзвода, услышав, чем интересуется комиссар.— Разболтанности еще у некоторых много. Забывают, что тут им не университет!

— А вы свое требуйте, товарищ старший сержант, со всей суровостью требуйте,— сказал комиссар, весело блестя терново-черными глазами.— Однако, требуя, не забывайте, что перед вами все же вчерашние студенты, да все комсомольцы, да все добровольцы, то есть ребята, сознательно отказавшиеся от льгот и пошедшие защищать отчизну. Как по-вашему, такие люди вправе рассчитывать на внимательное к ним отношение?

— Так точно, товарищ батальонный комиссар!

— А потом это же такой народ,— веселым тоном продолжал комиссар,— сегодня он курсант, а завтра, глядишь, ему кубики нацепили, и он уже командир. И дело может обернуться так, что и вам, товарищ старший сержант, у кого-то из них придется быть подчиненным. Как тогда, а? Ведь спросит за все?

— Да уж я бы с него спросил! — под дружный хохот товарищей пообещал Духнович, дожевав свою соль и возвращаясь снова в строй.

— А вам, товарищи курсанты, я тоже должен заметить,— комиссар уже не улыбался,— поменьше иронии, когда речь идет о солдатской науке. Больше

пота в учебе — меньше крови в бою,— это не фраза, скоро вы в этом сами убедитесь.

Он помолчал, осматривая курсантов, будто проверяя каждого.

— А теперь дайте и мне соли,— сказал комиссар Лещенко, обращаясь к Гладуну.— Испытанный способ,— добавил он, съев соль и со смаком запив ее кружкой воды.— Напейся тут раз и навсегда, а на марше об этом и думать позабудь.

С первыми сумерками заклубилась, удаляясь от лагеря, пыль — студенческий батальон вместе со всем училищем двинулся в поход.

Душная, словно в тропиках, была ночь, пахла потом людским и пылью. Растянувшись в темноте, шли форсированным маршем незнакомыми местами, через балки, буераки, уснувшие села, взбив сотнями ног дорожную пыль и глотая ее всю ночь. Несли на себе, кроме винтовок, еще и пулеметы, цинковые ящики с патронами, которых было взято больше, чем когда-либо. Батальон взмок. Хомуты скаток, набитые патронами подсумки, вещевые мешки, каски на головах — все давило, становилось тяжелее с каждым километром.

Не раз в эту ночь помянул Колосовский добрым словом помкомвзвода Гладуна. Вероятно, многие не выдержали бы такой напряженности похода, если б не было на них все так хорошо подогнано, прилажено и если бы ноги перед походом не были обмотаны у каждого, «как куколка». Даже Духнович и тот держался — похоже, впрок пошли ему Гладуновы соль да наука. Как и у других, на боку у него была стеклянная, в матерчатом чехле фляга с водой, но выпить и глотка себе не разрешал — не потому, что боялся нарушить приказ помкомвзвода, а просто совестно было: ведь другие тоже терпели, зная, начнешь пить на привалах, разморит тебя, раскиснешь, и уже не пехотинец ты — кисель. А пить хотелось, ой, как хотелось! Особенно когда откуда-то из темноты, из-за белой хаты возникал силуэт колодца с журавлем, с огромной бадьей деревянной...

Привалы были коротки, после них еще тяжелее вставать, все кости разламывает, сон смыкает глаза. Двигаясь дальше, спали на ходу, спотыкались, клевали носами в спины передним.

Солнце застало их в каких-то болотах. Наступали, отступали, форсировали водные преграды.

— Эгей,— слышен был и тут голос Дробахи,— где ты живешь, кулик? — И сам себе отвечал: — «На болоте!» — «В нем же погано!» — «А я привык».

— Из этих болот,— мрачно оглядывался вокруг Духнович,— может быть, еще доисторические пращуры наши воду пили, динозавры и мамонты тут водились, а теперь мы вот пришли им на смену...

Одна вода кончалась, начиналась другая.

— Снимай сапоги!

Стащив сапоги, подняв оружие над головой, брели неведомо куда за своими командирами среди зарослей камыша, осоки, вспугивали водоплавающих птиц.

В лагерь вернулись к обеду. Утомились так, что и есть не хотелось, хотелось спать, спать. Кое-как перекусив, покачиваясь от усталости, добрели до палаток, попадали на матрацы — и как убитые. Через несколько минут весь лагерь уже спал мертвым сном, кроме часовых под грибками.

А через каких-нибудь полчаса студбатовцев снова будил лагерный горн. Даже не верилось, что это не снится, что это вправду,— так это было жестоко после бессонной, до крайности напряженной ночи. Но звук горна будил, звал, предвещал какое-то новое испытание. Вскакивали, на ходу застегивали пояса, сонные, полуслепые бежали к пирамидам, расхватывали оружие.

Приказ на этот раз странный: брать с собой все; матрацы и подушки вытряхнуть, сдать на склад...

До сих пор такого не было.

И в лицах командиров улавливалось что-то новое, такое, что говорило о необычности этих минут, и горнист играл тревогу как-то особенно, словно с трепетом сердечным звучал его горн. Может, не учебная уже? Может, настоящая?

Даже тех, кто был в наряде, стоял на посту, сейчас вернули в батальон, и они заняли свое место в строю.

Рота за ротой выходят из лагеря. Без разговоров. Без расспросов. Винтовки, ручные и станковые пулеметы, все записанное за батальоном оружие — на плечах, и вместе с оружием выносят они из лагеря и какую-то тяжесть на душе, новую, неизведанную тревожность.

— Вот когда б я хотел, чтобы девчата были тут,— негромко сказал на ходу Лагутин Богдану.

Но девчат сегодня не было. Были зеленые деревья, под которыми они вчера стояли, была запыленная дорога, по которой они вчера ушли...

Уже далеко отойдя от лагеря, ребята заметили: Духнович чего-то прихрамывает.

— Натер? — спросил Гущин, его сосед слева.

— Да нет. Утром на болоте ногу камышиной проколол.

— Там мог и на ржавый гвоздь напороться,— заметил Мороз.— Прямо возле меня Иванов доску с гвоздями из воды вытащил.

— Нет, я не гвоздем, я камышиной,— словно бы оправдывался Духнович.— Под водой незаметно...

Гущин и Мороз предложили взять часть его снаряжения, но он отказался:

— Пустяки. Сам донесу.

Впереди, посреди открытого, разомлевшего от зноя поля уже виден был оазис железнодорожной станции, виднелся длиннющий эшелон красных товарных вагонов, загнанных на запасный путь, почти в степь. Сомнения быть не могло: для них. Вагоны поданы им. Правда, эшелон был еще без паровоза, стоял на запасном, но уже стоял. Приказано расположиться вдоль эшелона и ждать распоряжения. Видно, пока подадут паровоз.

Куда же повезут? На какой участок фронта? Это теперь интересовало больше всего. В лагере только и мечтали, чтоб скорее на фронт, а вот теперь, когда дождались отправки, стало даже чуточку жаль расставаться с лагерем, на смену которому придет другая жизнь, неизвестная, полная опасностей.

Расположившись повзводно, вдоль всего эшелона, сидят против своих вагонов.

Возле Духновича, которому Степура перевязывал ногу, собралась целая толпа историков. Ступня покраснела, заметно припухла. Духнович считал это пустяком, бодрился, ему даже неудобно перед товарищами за свою столь неуместную сейчас болячку.

— Простите, что немного нарушу стройность ваших рядов,— острит он и, морщась от боли, берется натягивать сапог.— Постараюсь не хромать.

— Ничего, Байрон тоже хромал,— заметил Дробаха, развалившись на траве.— Правда, над ним помкомвзвода не было.

— С этим нечего шутить,— хмуро бросил Колосовский, глядя, как Духнович, сжав зубы, медленно втискивает больную ногу в сапог.— Может, фельдшера позвать?

— До фронта заживет,— обувшись наконец, махнул рукой Духнович. Лицо его покрылось крупными каплями пота. Утершись рукавом и желая перевести разговор на другое, он посмотрел в сторону поля: — Что это там белеет?

— О, только сейчас заметил? — охотно откликнулся Степура.— Это же гречиха цветет. И будет цвести все лето...

Небо над гречихой синее, высокое — ни облачка. В прозрачной дали, на горе над Донцом, поблескивает Чугуев. Деревья лагеря чуть виднеются на горизонте темно-синей полоской. И те деревья, и белый разлив гречихи, и спорыш, на котором лежат хлопцы, такой мягкий, теплый, ласковый,— все теперь вдруг стало бесконечно родным.

Как бы подобрели все. От этой ли гречихи подобрели, от полей да от неба или от того, что ждало их впереди, где они будут вместе.

Даже Гладун, который любого мог согнуть в бараний рог железом уставов и не терпел никакого панибратства, сейчас подошел к ребятам какой-то притихший, смятенный и, как бы ища у них поддержки, присел, заговорил душевно:

— Так что же — прощай лагерь?

— Прощай...

Колосовский, упершись локтями в землю, смотрел на безлюдную дорогу, уходившую в поля, и казалось, будто ждал он, что вот-вот оттуда, из-за текучего марева, из-за белой разлившейся к самому небу гречихи вдруг появится та, единственная, которую он сейчас больше, чем когда-либо, хотел увидеть. Но дорога оставалась пустынной, лишь пыль временами неожиданно взвихривалась и маленькие смерчи уходили по гречихе к горизонту, то разрастаясь, то пропадая...

14

Цокают колесами вагоны.

То, что было мирной жизнью, остается позади. Впереди — неведомые испытания судьбы. Но это потом, потом. Сейчас в их сердцах одна лишь готовность — пройти дантов ад войны, удержать рубеж, который им доверят, любой ценой преградить путь новым ордам чингисхановым, что не с луками, не со стрелами — с гремящей сталью надвигаются по земле и по небу на родимый край.

Куда везут? Этого им не говорят. Где встретятся с врагом? Об этом могут высказывать лишь догадки.

Локомотив неудержимо мчит вперед.

Вороной их конь на красных колесах...

Когда эшелон тронулся, ребят стали оформлять по-фронтовому. Выдали наспех заготовленные справки о том, что отправляются на фронт курсантами-политбойцами, а вместе с такой справкой каждому курсанту вручали еще одну штуку: похожий на желудь черный пластмассовый пенальчик — медальон, который позднее будет назван медальоном смерти. Каждому надлежало вложить в этот медальон маленькую бумажку — собственноручно заполненную самую краткую в жизни анкету: кто ты и кого оповестить, когда тебя найдут.

Написав что нужно, плотно завинтив медальоны, молча прятали их в маленькие карманчики возле пояса.

Когда студбатовцам раздавали справки и медальоны, вдруг выяснилось, что у многих из них до сих пор при себе студенческие билеты, зачетные книжки и даже паспорта.

— Богатые же вы,— сказал комиссар Лещенко, приказав немедленно собрать по эшелону все гражданские документы и принести в теплушку, где он ехал вместе с курсантами. Вскоре перед комиссаром, прямо на полу, на листе жести, лежал ворох документов...

Студбатовцы первой роты, с которой ехал комиссар, обступив его, недоуменно ждали.

— Все сдали?

— Все.

Комиссар некоторое время сидел молча, склонясь над этим ворохом. Затем наугад взял сверху чей-то паспорт, развернул, прочитал: год рождения — 1917. Взял другой: 1918. Стал дальше просматривать: 1918, 1919, 1920...

— В те годы, когда вы только появлялись на свет,— начал он задумчиво,— мы как раз брались за оружие, шли в красногвардейские отряды... Тогда мы были такими же юными... А иные и моложе. Мы и не думали, что матери рожают вас для таких испытаний.

Вечерело. В вагоне, по углам, уже стояла плотная темнота.

Комиссар зажег спичку, подержал перед собой, пока она разгорится, потом медленно поднес ее к уголку чьего-то новенького паспорта.

Студенты затаили дыхание: что он делает? В голове не укладывалось, что паспорта можно жечь.

Вспыхнувший паспорт комиссар положил под другие, разворошил над ним остальные документы кострищем, будто в поле.

— Товарищ комиссар! — не выдержал кто-то из ребят.— Зачем вы? Зачем все это жечь?..

— Пускай горят,— спокойно возразил комиссар.— Фронт это фронт, и мы не можем допустить, чтобы враг в случае чего воспользовался честными вашими именами... А после войны все вам вернут, все выпишут послевоенные писаря...

Теперь уже весь ворох был охвачен огнем, пламя осветило вагон. Комиссар Лещенко, отодвинувшись от костра, сидел на ящике, студбатовцы тесным кругом стояли возле него и в оцепенении смотрели на яркое полыхание огня, быстро пожирающего их паспорта, зачетки. Корчатся в языках пламени чьи-то имена, годы, национальности, маленькие фотографии, круглые печати... Сворачивается, исчезает в огне студенческая невозвратимая молодость. Что же — вся она пеплом развеется, отполыхает, как этот яркий недолгий огонь?

Эшелон грохочет, тяжелые двери вагонов раздвинуты настежь, и за ними до самого горизонта — таинственная, мягкая, неведомая тьма. Манит к себе вон тот далекий огонек, что блеснул в степной балке... Теплая июльская ночь пролетает мимо садами, посадками, скирдами в полях. В тех скирдах, может, будете вы искать укрытия, в тех посадках придется, может, занимать боевые рубежи...

Поздней ночью, когда студбатовцы крепко спали, их внезапно разбудил клекот зениток. Очумевшие спросонья, выскакивали из вагонов. Тьма и огонь! Весь мир — только эта первозданная тьма и тревожный, неправдоподобный, невиданных размеров огонь. Земля в сполохах, в заревах, все небо в мечущихся прожекторах, во взрывах снарядов, в угрожающем гудении невидимых самолетов. Вот еще злее заливаются зенитки. На землю обрушился гром. Где-то за вагонами, как из кратера вулкана, взметнулся огонь. Еще удар. Еще огонь.

Курсантов бегом отводят от эшелона в сторону. Оглядываясь на ходу, они видят за собой Помпею, новую, клокочущую огнем Помпею, возникшую перед ними в образе только что разбомбленной станции, видят множество освещенных пожаром железнодорожных путей, пылающие вагоны, цистерны, склады... Вся ночь бушует пожарами, всюду взрывы, треск, вот уже совсем где-то близко взметнулось пламя над вагонами, может быть, даже над теми, в которых они только что ехали сюда.

А небо гудит.

Их отводят в сады, огороды, где они ждут конца налета. Лишь здесь, немного опомнившись, пытаются разобраться в этом ревущем космическом хаосе, который окружает их.

Снова бьют, стучат зенитки. Прожекторы шарят по небу, по облакам — редким, высоким. Как руки войны, взметнутся вверх, сграбастают все небо, скрестятся, потом один остановится на мгновение в туче светлым огненным кулаком и вдруг, укротившись, вмиг исчезнет, сея тревогу. И уже в другом месте снова появится меч прожектора, потрогает небо, пошарит по небу, то заторопится, то медленно охватит тучу, будто прощупывает — нет ли там чего-нибудь? А еще через миг в небе вырастает целый лес прожекторов. И вот на самом острие одного из них вдруг сверкнуло что-то белое, ослепительное. И уже исчезает, теряет значение все остальное, и над бесконечным хаосом тьмы блестит на острие прожектора только одна она, эта точечка — человек, в гудящей ночной вышине. Человек, дюралюминий и бомбы.

15

Еще раз придут в лагерь девчата, и мать Духновича придет.

Будет это на следующий день после отправки батальона на фронт. Между деревьями, у знакомой лагерной арки, станут ждать, разглядывая толпу других женщин, измученных, заплаканных, с детьми, с охапками только что переданной им из лагеря мужской одежды.

— Мама, мама! Тато мне свою расческу оставил! И ремешок...

Мимо Тани прошмыгнул мальчонка, отцовская кепка съехала на глаза, маленький, курносый; в одной руке зажата расческа, в другой — брючный поясок.

Людей в лагере еще больше, чем в прошлый раз. Полон лагерь мужчин! Их стригут, переодевают, выдают им котелки, каски, новые серые шинели. Но где же студбатовцы? Затерялись в столпотворении

людском или... Попросили через часового узнать о студентах.

Ждали.

Дождались:

— Нет таких!

...Студбат в это время был далеко за Днепром.

С железной дорогой расстались на той разбомбленной станции, где их застиг налет, дальше к фронту добирались пешком. Шли остаток ночи, не приседая, не зная, где идут, куда. Только по тому, как тревожно полыхает горизонт впереди, и по скопищам войск на дорогах чувствовалось: война где-то близко.

Когда рассвело, один из студентов узнал окрестность; оказалось, идут по шевченковским местам или где-то неподалеку от них. И вербы, которые так низко склоняются над прудами,— быть может, те самые, что описал когда-то Нечуй-Левицкий. Утро родилось в росах, в зеленой кипени левад. Весь край засветился подсолнухами; они уже могуче разворачивали для цветения свои тугие короны. Картофельная ботва по пояс. Конопля в лощинах густая, непролазная. Все буйно росло, все наливалось жизненной силой в эту благодатную пору раннего лета. Казалось, земля спешит порадовать людей своей щедростью, одарить их всем самым лучшим, чем только может. Цветет картофель, и здесь же мак цветет. Подсолнух выгнало до самой крыши, и граммофончики по нему вьются. Левады манят к себе зеленой прохладой, поблескивают водою прудов, шелестят по-над берегом вершинами верб, яворов, кустами калины.

В садах белеют хаты удивительной красоты. Что ни хата — произведение искусства, сколько хат — столько народных художников! Одна подведена красным, другая — синим, та покрыта соломой, соседняя — камышом с аккуратной бахромой по углам и тугим гребнем вверху; у одной наличники на окнах голубые, а у другой еще и с красненьким узором. Будто соревновались в красоте. И все белые-белые, еще не тронутые непогодой, не иссеченные дождями, чистые, праздничные. Не для войны — для счастливого лета белили их женские умелые руки.

Когда солнце поднялось высоко, встали наконец на привал. Хлопцы сидели у дороги, любуясь селом, белевшим внизу в долине.

— Гениальной была та украинская женщина, которая первая так вот побелила хату,— рассуждал Степура.— Гляньте, какая красавица выглядывает вон из-за той вербы... Была бы она рыжей мазанкой, смотреть бы не захотелось, а так— глаз не оторвешь... И как гармонирует белый цвет с зеленью верб и мальвами красными, с небом! А какой дивной становится такая белая хата ночью, при луне, когда тени от веток разузорят ее! Что за душу нужно было иметь, чтобы догадаться и таким белым сделать свое жилье, какой нужно было иметь от природы высокий вкус эстетический...

Даже Дробаха, вовсе не склонный к поэтической растроганности, и тот на этот раз поддержал Степуру:

— А и верно... Что ни хата, то индивидуальность,— сказал он, уплетая пирог, которым успел запастись где-то в селе.— И что не по струнке стоят, тоже здорово. То тут, то там, словно слиты с природой. Моя бы воля — выбрал бы вон ту, на краю села, у нее жито под самыми окнами голубеет. Кто-то в ней живет? Славная, видно, какая-нибудь молодайка, так разукрасила дом... К белому, видишь, еще и синего, небесного добавила!

Привалу вскоре наступил конец. Вставай и шагай дальше пудовыми от усталости ногами.

Да, это Киевщина... Еще не достают сюда снаряды, еще не опустели колхозные дворы, не охвачены пожарами гребни белых хат с аистовыми гнездами, но и над этим чудным краем, по которому проходит сейчас в тяжелых своих касках студбат, война словно бы уж занесла свое невидимое крыло. Воронки по обочинам. Свежий холмик земли — кого-то похоронили там. А вот целое колхозное стадо лежит у водопоя, расстрелянное, видать, с самолета: туши разбухли на солнце, смрадом несет от них.

От линии фронта колхозники, одетые по-зимнему, гонят скот в глубокий тыл, и коровы тоскливо ревут навстречу студбатовцам, спотыкаются, натирая ногами

давно не доенное, набрякшее вымя, роняя теплое молоко на камни шоссе.

В одном месте дороги лежит неразорвавшаяся бомба — застряла, торчит из земли черным оперением. Студенты заспорили. Двухсоткилограммовая? Полутонка? И не взорвется ли, когда начнут ее вытаскивать?

— Удивительно, как много у дикости общего,— сказал Колосовский шагавшему рядом Лагутину.— Помнишь, стрелы из скифских могил? Стрелы Батыевых орд? Они тоже с таким оперением. Грустно становится от подобных ассоциаций.

Все более явственным и мощным гулом дает знать о себе фронт. То и дело налетают вражеские самолеты, разгоняют студбатовцев по хлебам, по канавам. Носом в землю — и слушай, как, выворачивая душу, воет над тобой металлический хищник, как прямо на тебя падает он с пронзительным визгом.

Бредут из хлебов, и неловко, стыдно смотреть друг другу в глаза — от унижения, которое только что пережили, оттого, что вынуждены прятаться, ползать по родной земле.

— Позор... Просто затравленным зайцем себя чувствуешь,— отряхиваясь, признается Мороз.— Землю

носом роешь, ползаешь на четвереньках — ты, человек двадцатого века!

Филолог Чемерис смеется нервно:

— Мы вот с Калюжным как раз спорили, кто гениальнее: Стендаль или Флобер? Я говорю — Стендаль, он — Флобер... Я свое, он свое... А когда налетели да трахнули, так он шлепнулся и руками замахал: Стендаль, мол, Стендаль, черт с тобой!

Смешно, кажется, но ребята не смеются.

Меж хлебов высоких идет студбат, сухим металлическим звоном позванивают тугие колосья; седыми

волнами колосьев переливается рожь; густо зарумянилась перепутанная, закрученная ветрами пшеница.

Во всем — нарастающее беспокойство, усиливающаяся тревога. Везут раненых, бредут беженцы, грохочут грузовики с боеприпасами. Тысячи человеческих лиц мелькают перед тобой, и среди них ни одного веселого. Нет в этом краю веселых лиц!

Во время одного из привалов возле Духновича собрались товарищи. Просто непонятно было, как он до сих пор шел. Нога нарывала, и сейчас ее разнесло так, что насилу стащили сапог. Распухла как бревно, посинела, блестит нездоровым блеском.

— Почему же ты молчал?

Но Духнович и сейчас не жаловался, только по его веснушчатому, вдруг покрывшемуся капельками пота лицу можно было догадаться, как ему плохо.

Еще ночью, в вагоне, когда все спали, он мучился. Никогда не думал, что такую боль может причинять нарыв. Кажется, если бы ногу отрубили, было бы легче. Никому не жаловался, не хотел. Мог ли он признаться, что уже на полдороге к фронту оказался негоден? Ничего себе доброволец!..

Беспомощный, лежит у дороги со своей обнаженной, отвратительно разбухшей ногой и уже не верит сочувствию товарищей, кажется, что сейчас они могут испытывать к нему лишь одно — презрение. Как он пойдет дальше? Ведь нога, наверно, и в сапог не влезет!

— Добрую вавку приобрел,— подойдя к ним, заговорил Гладун и, наклонившись, пощупал распухшую ногу почти с завистью, будто сожалея, что такой дар судьба посылает не ему, а этому недотепе Духновичу, который не сумеет даже как следует и воспользоваться им.— Вавка хоть куда... Имеем первое ЧП.

Подошел комиссар Лещенко, с ним командир роты — молодой лейтенант из училища. Стали советоваться. Ясно, Духнович дальше идти не сможет. Куда же его сдать? Кому поручить?

Духновича испугал этот разговор.

— Я пойду. Я могу идти,— ухватился он за са-

пог.— Прошу вас, никуда меня не сдавайте. Это скоро пройдет. Богдан, дай руку!

С помощью Колосовского и Степуры он поднялся и так, опираясь на них, двинулся в одном сапоге дальше.

Винтовку и скатку его теперь несли другие, а он, повиснув на плечах товарищей, двигался позади колонны, как живое распятие, в тяжелой своей каске, клонившей голову набок. Каждый шаг отдавался нестерпимой болью. Духнович прыгал по шоссе, как по огню: что бы ни случилось, он должен идти по этим разбитым камням вперед, идти, хотя бы и безоружным, навстречу войне, навстречу тому, что гремело и стонало по всему горизонту. Ничего не было для него более страшного, чем оказаться покинутым, остаться одному, без товарищей, самому признать свою немощь и не быть с товарищами в деле, к которому внутренне готовился все это время после райкома.

В ногу стреляло и стреляло огненной болью, мир заплывал желтизной, порою Духнович чувствовал, будто падает куда-то, и горячие плечи товарищей были ему единственной опорой.

Комиссар остановил первую же машину, что порожняком мчалась навстречу. Перемолвившись с запыленным лейтенантом, который сидел рядом с водителем в кабине, он подождал, пока ребята подвели Духновича к грузовику.

Слезы бессилия брызнули из глаз Духновича. Умоляющим голосом он снова стал просить не сдавать его, не бросать.

— Товарищ комиссар, я пойду, я прошу...

Но его все-таки посадили через борт в кузов, устроили между брезентами, пустыми ящиками из-под снарядов, туда же бросили сапог, винтовку, скатку и вещевой мешок с привязанным к нему теплым от солнца котелком.

— Счастливо, друг...

У него был вид человека, смертельно обиженного, уничтоженного, отброшенного прочь.

Когда машина промчалась, Гладун, оглянувшись, промолвил ей вслед:

— Считайте, один отвоевался...

16

Чадно грохают мины в хлебах. Зной, грохот и дым. Весь мир уже словно бы пропитался этим горячим тошнотворным чадом рвущихся мин, свежие воронки еще дымятся, и опаленная, взрытая земля пахнет смертью, а воздух снова пружинит, и снова то тут, то там среди хлебов — грах! грах!

Прямо с марша студбат угодил под шквал огня. Когда приближались сюда, впереди, в разливе хлебов на пригорке видели хуторок какой-то — хата, поветь, садик. Там командный пункт дивизии, именно туда их ведут. Хлеба стояли могучие, почти в рост человека. Тихо было, и курсанты даже слышали крик перепелов во ржи и видели аиста над хатой, а возле хаты — просвеченные солнцем высокие мальвы цветут, прекрасные как девчата! И вдруг — черные гейзеры взрывов, все ближе удары мин в хлебах, бегут оттуда бойцы, окровавленные, в копоти, кричат что-то... Минометный налет, а они выстроены на краю садика, где им приказано ожидать осмотра, и стоят, пока из-под деревьев не налетел на них грузный мужчина — генеральские звезды в петлицах.

— Студбат! Чего застряли? — чуть ли не с кулаками набросился он на командиров. — В оборону! Вот здесь занимайте оборону!

Вмиг рассыпавшись по-над садом, к которому прилегали хлеба, курсанты лежат теперь уже рядом с автоматчиками комендантской роты, никого и ничего не видят, кроме пшеницы, ржи и комьев земли, фонтаном взлетающих до самого солнца. А мины снова сверлят воздух, бьют сухими ударами, и студбатовцы прижимаются к земле в своих бороздках, шарахаются от каждого взрыва.

«Так вот она, война!» — с горечью думал Колосовский, глубже втискиваясь в борозду.

Неподалеку от Колосовского в той же борозде еще кто-то жмется — каска у самой земли. Степурины плечи.

— Ты живой?

— Живой.

А мины бьют, и неизвестно, кого из них накроет вот эта, что визжит и с сухим треском грохает где-то неподалеку. Шелестят, трещат колосья, кто-то подбегает, с разгону падает возле них — кто это? Залит кровью — кровь на лице, на гимнастерке. Колосовский с трудом узнает — Ярошенко с геофака.

— Мина! — хрипит он.— Упала вот так от меня, рукой мог бы достать. В плечо вот и в лицо... Глаза не выжгло? Я вижу? Я не слепой?

Колосовский, разорвав индивидуальный пакет, кое-как перевязал ему искромсанную скулу и направил к санитарам:

— В садике они. Беги!

И Ярошенко побежал, оставив после себя брызги крови на сухих комьях земли, на белой, вьющейся по стеблям повилике.

Обстрел усиливается. Вибрирует, пружинит от металлического свиста воздух. Это уже не мины — снаряды летят, проносятся, кажется, над самой головой, аж глохнешь от них, аж барабанные перепонки лопаются. Один из снарядов жахнул в хату, прямо в лицо ей, и с грохотом взрывается внутри, в самой сердцевине человеческого жилья. Еще один врезается под застреху, поднимает облако соломенной пыли, и вся крыша рушится, оседает, охваченная клубами дыма, пламенем,— уже нет ни подстриженной бахромы по углам, ни аистова гнезда с аистятами возле трубы,— одна только аистиха кружится в воздухе.

Нет штаба. Разнесло штаб. После этого огневой налет прекратился.

— Хуже всего, что можешь вот так, ни за что ни про что пропасть, и никакой пользы от твоей смерти,— слышит Колосовский голос Степуры. Присев, тот внимательно разглядывает зазубренный, еще не остывший осколок.— Врага живого в глаза не видели, а уже попали в этакую кашу...

В самом деле, словно тот черный ураган, который с корнями выворачивает деревья, сметает человеческое жилье, разрушает все на своем пути,— так и тут пронеслось, искромсало землю, отравило степной воздух запахом гари, пороха и крови... Пронеслось, и снова зазвенела тишина.

Колосовский поднялся, огляделся. Дым стелется над хлебами, над садиком. Горящая хата пышет жаром, она горит себе и горит, никто и не пытается ее тушить. Не до того сейчас. Среди знойной, дымной тишины то здесь, то там стонут раненые. В одном месте, на меже, которая отделяет огромное поле ржи от пшеницы, собралась целая толпа студбатовцев; склонившись, что-то рассматривают. Колосовский и Степура, путаясь в густой ржи, заторопились к ним.

Невероятно было то, что они увидели.

Как от удара молнии, которая в летнюю грозу бьет среди поля, была разрыта земля в этом месте, а среди изорванных, измочаленных и смешанных с

землею стеблей лежал Дробаха. Ноги разбросаны, голова неловко вывернута, зубы оскалены, а лицо черное, сожженное... Правая рука лежит отдельно от тела, желтая, присыпанная землей. Страшно было поверить, что это оторванная, обескровленная рука Дробахи, рука, которая могла одним ударом сшибить противника с ног, крепкая юношеская рука, которая в жизни знала и книгу, и отбойный молоток, и касалась твердой девичьей груди...

Нет Дробахи. Погиб со всеми своими подвигами, к которым был готов и которых так и не успел совершить. Тут же у хлебов, возле садика, они принялись рыть первый и последний для него окоп — вечную, с темными стенами хату для Дробахи.

Маленькими саперными лопатами роют первую студенческую могилу, засыпают ее молча, и растет она высоко — на всю степь, и видна она далеко, как Саур-могила, и уже с ветрами говорит. Но это она только кажется им такой высокой, на самом же деле маленькая, едва приметная среди густых колосистых хлебов.

17

Колосья стоят как люди.

Тот — высокий, вытянувшийся, словно на страже. Тот — пониже — поник, размышляет. Переплелись усами, неисчислимые, склонились один к другому в молчаливой задумчивости. А тот, глянь, с подломленным стеблем, вовсе утонул в гуще и вроде бы все хочет подняться... Буря его сломала, дождь ли, осколок?

А больше всего тех, что стоят в задумчивости: все поле думает думу. А пробежит ветерок — колосья слегка зазвенят шершавым, жестяным звоном...

Дым разошелся, горький смрад развеялся, и опять поле дышит горячими запахами лета. Перепелиный, кузнечиковый мир окружает свежую студенческую могилу. Вьюнок полевой вьется по стеблям, склоняется белыми колокольчиками, степной горошек краснеет капельками крови...

А день угасает. Тревожное, марсово-красное солнце лежит над хлебами, а там, на пригорке, где стояла белая хата, выбеленная чьими-то заботливыми руками, дотлевает черная куча руин. И только мальвы, высокие, девичьей стройности, по-прежнему красуются за углом дома в палисаднике, пронизанные солнцем, еще ярче полыхают в этот предзакатный час.

18

Духновича до самого вечера возили на грузовике. Трясся в кузове среди ящиков со снарядами и чувствовал себя лишним, никому не нужным балластом, так некстати навязанным этим молчаливым, суровым людям. Все они на своем месте, все знают свое дело и целиком поглощены им. Заедут в лес, погрузят боеприпасы и без разговоров, без задержки по тряской дороге — скорее к огневой, где в садах за селом ждет их, израсходовав все снаряды, батарея.

— Что вы ездите, как на волах! — сердились артиллеристы, и не успеешь оглянуться, они уже растащат из кузова все ящики, и грузовик пуст.

Когда впервые заметили Духновича, поинтересовались:

— Что за пассажир?

А потом уже и внимания на него не обращали, только всякий раз, когда сгружали ящики, невольно давали ему почувствовать, как он мешает им тут. Было нестерпимо ощущать себя обузой для людей, которые здесь, у своих орудий, не знают минуты отдыха и ведут себя так, будто они тут единственный заслон, и только одни они могут еще сдержать, не пропустить противника.

По дороге грузовик несколько раз попадал под обстрел вражеских самолетов. Духнович, оставаясь в кузове, видел косые струи огня, которые лились с самолетов на землю,— из огнеметов, что ли, они там били или из каких-то особенных скорострельных пушек? Впервые он видел вдоль дороги трупы людей.

Потом артиллеристы высадили его в лесу, возле склада снарядов, велели подождать.

— Вот еще одна ходка, и тогда уж завезем тебя в медсанбат.

Но делали одну ходку, и другую, и третью, а он все оставался возле этой горы снарядов и даже в душе не укорял ни одного из этих людей,— сам видел, не до него им сейчас.

Около снарядов стоит часовой, молодой красноармеец, он так настороженно держит свою винтовку, будто враг где-то здесь, за кустом. С Духновичем часовой в разговор не вступает. «Посадили и сиди,— как бы говорит он,— а у меня свои заботы — я на посту».

Ночью пошел дождь. После дневного зноя сразу повеяло свежестью, зашумел лес, магниевой вспышкой сверкнуло небо, разламываясь в бомбовых ударах грома. Разгулялась настоящая гроза. Все небо, казалось, содрогается, озаряясь трепещущими сполохами света, голубого, нездешнего. Вспыхнет и выхватит из темноты контуры туч, тяжелых, набрякших влагою, разметанных по небу. Становится виден лес, гнущиеся под ветром деревья, и сквозь сверкающие листья макушек снова ослепительно блеснет в магниевых сполохах небо. Гром в пучине туч грохочет и грохочет на разные лады, ударами неземной силы сотрясает, раскалывает небо — то ближе, то дальше, то выше, то ниже. Еще тут не затихло, а уже взрывается там, сердито перекатывается, и вся земля, оцепенев, будто ждет чего-то страшного, неотвратимого.

Около часа, наверное, бесновалось небо, лютовала гроза, а когда наконец отгремело, отсверкало, осталась только кромешная темнота, и в темноте этой лил и лил дождь. Нет неба, нигде — ни звездочки, только тьма и хаос, и по всему лесу — хлюпанье воды. Будто и вправду разверзлись хляби небесные. Черный ночной дождь льет и льет, готовый залить все и вся, как при всемирном потопе.

Часовой, когда начался дождь, заботливо прикрыл снаряды брезентом, а для Духновича и такого укры-

тия не было. «Да разве неестественно это? — думал он.— Снаряд сейчас нужнее».

Дождь не унимался. Часовой предложил наконец Духновичу перебраться под брезент, но тот решил терпеть, мокнуть до конца. Съежился в одной гимнастерке и мок, мок.

При нем была шинель, скрученная в скатку, но Духнович не догадался развернуть ее. Как скатал еще в лагере с помощью ребят и по указаниям Гладуна, так и держал все время на себе это туго скрученное, суконное, набрякшее водой ярмо. Вода ручьями стекала с веток прямо за ворот, Мирон промок до нитки, но не прятался, находя даже некую отраду в том, что природа глумится над ним, он беспомощно и покорно горбился на том самом месте, где усадили его артиллеристы. Выставил под дождь ногу, налитую болью, и, поникнув над ней, все думал, думал свою горькую думу,— что дождь, что тьма, если ему казалось сейчас, будто в темноту погрузилась вся планета. Фашистская ночь поглотила Европу, волны вандализма катятся все дальше и дальше, уже на дорогах Киевщины валяются трупы, самолеты огнем поливают с неба людей.

— И это у них называется движением вперед, прогрессом? — саркастически восклицал Духнович.— Всего сто тысяч лет назад мрачные неандертальцы с низкими лбами выходили из своих пещер, вооруженные примитивным кремневым топором. Прошло по сути очень немного времени, и человек обрел крылья, поднялся в воздух, пересек океаны. Человек стал Гомером, Шекспиром, Дарвином, Циолковским... Богоравный! И вот теперь, на гребне двадцатого столетия, снова этот черный, смердящий взрыв дикарства, каннибализма... Высокоразвитая, культурная нация вдруг рождает армию убийц, разбойников. Планета во тьме. Один за другим гаснут города.

Первые воспоминания детства Духновича — это отцовский кабинет, заставленный от пола до потолка книгами, позднее вторым домом для него стала городская библиотека имени Короленко. Как иные вырастают среди степей и хлебов, так он вырастал сре-

ди книг. Он верил им чистой верой сердца, и для него Толстой и Горький, Роллан и Барбюс были не просто именами на корешках книг,— они были для него такими же живыми, реально существующими, как отец, известный в городе хирург, как Николай Ювенальевич, университетский профессор. Однако сейчас Духнович был в таком глубоком отчаянии, что даже с ними, с самыми дорогими своими учителями, не мог найти общего языка. Сейчас, когда он, оторванный от товарищей, остался почти калекой в лесу, среди апокалипсического грохота грозовой ночи с ее черным дождем, он уже не способен был ничем и никем восхищаться; в отчаянии он видит лишь, как фашистами все уничтожается вокруг и силы человеческие, разум человеческий поставлены на службу этому уничтожению, и в собственной душе его разрушается самое дорогое, рассыпается под ударами действительности, по-своему понятой, все прекрасное, что вошло в его душу вместе с книгами отцовской и Короленковской библиотек...

Лес шумит от дождя, зловеще чернеет, наполненный неизвестностью, а он тут один, без товарищей, у сваленных боеприпасов. Канонада то стихнет, то загремит снова. Машины возят и возят снаряды. Заскакивают в лес как будто бы еще чаще и подносчики снарядов, эти молчаливые роботы войны, с удвоенной яростью бросают в кузов ящики. Духновича для них будто не существует, о медсанбате они уже и не напоминают. И он, однако, не может обвинять их в жестокости, он не то чтобы надоел им,— они и в самом деле не замечают его, поглощенные своей жаркой работой. Он просто оказался лишним в этом огромном, непрерывно действующем механизме войны. Не вышло из него бойца. Не вышло для вас защитника, Ролланы, Барбюсы и Горькие.

А какие у него были порывы! Не только свою альма-матер, свой родной университет и родной город с небоскребом Госпрома, но и Акрополь в Афинах, и парижский Лувр, и Софию Киевскую, и немецкую готику — все, все он готов был прикрыть своей гру-

дью, а чем кончилось? Не повоевав, не изведав боя, сидит калекой в лесу, под дождем, возле кучи снарядов, начиненных смертью. В решительный час, для великого дела оказался непригодным,— зачем же тогда жить?

Если бы там, на шоссе, где за их грузовиком гонялись «мессершмитты», он поймал пулю,— не было бы это лучшим выходом из тупика? А может, самому себе пустить пулю в лоб? Из этой вот винтовки, что ни разу еще и не выстрелила. Может, это действительно выход? Чтобы навсегда покончить и с этой ногой, и с душевными терзаниями, исчезнуть и ни для кого не быть обузой?.. Но нет, не бывать тому, чтобы он первую свою пулю, первую и последнюю, послал в себя, а не во врага...

Машину снова грузят снарядами. Вот она отъехала, затрещав кустами, ушла в чащу, как в пещеру.

— Что, ранен?

Духнович даже вздрогнул. Позади него стоит за кустом человек в накинутой на плечи плащ-палатке. Видимо, новый часовой, только что сменивший прежнего,— Духнович этого и не заметил.

— Ранен, а? — снова обращается он к Духновичу, и в голосе его звучат человеческие нотки, теплые, сочувственные. Это, вероятно, оттого, что он считает Духновича раненым. А он не ранен! Он передовой и не нюхал! Он просто недоученный студент, который возомнил себя воякою и позорно выбыл из строя, наколовшись на какую-то дурацкую камышину! Болотная прошлогодняя камышинка сломила его, сделала беспомощным и ни на что не пригодным!

Духнович так и сказал часовому, отрывисто, нервно, с надрывом.

Но часовой, оказывается, на этот счет придерживался своего взгляда:

— Ежели болит, так болит одинаково, от чего б там ни было: от пули, от осколка, от нарыва ли. Я знаю, как оно, когда нарывает. Еще мальчишкой был, корова на ногу наступила. Ноготь с большого

пальца так и срезала, долго нарывало потом, ночами не спал...

Часовой уже стоял перед Духновичем. Лица не видно, винтовка в руке, и слышно, как дождь плещет по плащ-палатке, которая топорщится на нем. Присветив фонариком, он наклонился:

— А ну, покажи, что там у тебя...

Духнович размотал мокрое тряпье.

— Ого, разнесло! — Артиллерист покачал головой.— Знаешь что, товарищ, давай я тебе проколю: созрело уже.

Перед глазами Духновича мелькнули отцовские ланцеты, блестящие, хорошо продезинфицированные хирургические инструменты.

— Чем же вы проколете?

— Найду чем. Вот хотя бы штыком.

В темноте сверкнул штык.

— Посвети-ка мне.— Часовой передал фонарик Духновичу.

Свет фонарика выхватил из темноты щетинистое мокрое лицо, грубые руки, снимавшие штык с винтовки, полу плащ-палатки, какой-то пятнистой, не нашей.

— Немецкая?

— Ихняя. На той неделе взята.

Присев, солдат зажал больную ногу Духновича коленями, словно кузнец, который собирается расчищать конское копыто, и не успел Духнович опомниться, как уже что-то там чиркнуло, потекло, а он, этот доброволец-хирург, все еще не выпуская ноги, держа ее, как в тисках, осторожно, но сильно надавливал вокруг раны, выжимая всю боль.

Как полегчало сразу! Духнович будто заново на свет народился. Хотелось плакать, от благодарности хотелось поцеловать эти грубые солдатские руки, которые так помогли ему.

А часовой уже поднялся, просто и буднично вытирал руки о мокрые листья и говорил Духновичу:

— Теперь тебе сразу полегче будет. Если б еще подорожника, но где тут его найдешь ночью... Утром поищем.

— У меня отец врач, хирург известный, но, думаю, и он лучше бы не смог.

— Солдат все должен уметь. Ты, кажется, здорово промерз? Почему шинель не раскатаешь?

— Боюсь.

— Чего боишься?

— Раскатаю, а потом не скатаю,— ответил Духнович полушутя.— В лагере товарищи помогали.

— Поможем и тут, коли сам еще не научился... Перекусить хочешь?

Откуда-то из-за ящиков артиллерист достал полбуханки хлеба, разломил ее и половину подал Духновичу. Хлеб раскис от дождя, прилипал к рукам.

— Что, сырой? — весело спросил артиллерист.— Это ничего. Хлеб сырой — да живот не пустой.

Расположившись под брезентом на снарядах, они ели этот раскисший, набухший дождевой водой хлеб, и артиллерист тихо, степенно рассказывал Духновичу свою жизнь.

19

— Кадровик я, кадровую служу. А фамилия моя Решетняк. Осенью был бы дома, если бы вот не война.

Артиллерист немного помолчал, прислушиваясь к хлюпанью темного мокрого леса.

— По-всякому для людей война начиналась,— продолжал он.— Того застала в море, того в поле среди хлебов, того в дороге, тебя вот — за книгой, а меня — на самой границе, на реке Буг. Знаешь, что такое граница? Такая полоска земли, оплетенная, перепутанная колючей проволокой. Первый ряд проволоки высокий, второй — малость пониже, а третий — еще ниже, а дальше проволока по земле стелется, как плеть на бахче, а земля перепахана да еще и заборонована — против диверсантов. Вот тут мы и закалялись. Незадолго перед тем были на учебных стрельбах, километров за восемьдесят ездили от своих зимних казарм. Пустынные места, болота, пески,

сосенки колючие, низенькие... Узкоколейка была там, по ней тянут тросами фанерные танки, а мы по ним должны стрелять. Как трахнешь, так и разлетится.

Сколько-то дней воевали с этими фанерными танками, а в субботу прибыли к себе на зимние квартиры. Казармы наши как раз на ремонте были, и нам команда — натянуть палатки. Не хвалясь скажу, всегда я был дисциплинированный, и ежели нужно куда, то первым — меня. Так и тут: «Беги, Решетняк, к тем вон сосенкам, вырубі четыре кола»,— посылает меня командир взвода. Взял я топор, пошел, вырубил три колышка, а четвертого подходящего все никак не найду, бо уже стало смеркаться и сосенки возле меня все какие-то кривые и низкие.

«Да руби какой-нибудь,— слышу вдруг над собой голос и, подняв голову, вижу командира батареи.— Может, палаткам недолго и стоять». Мне очень запомнились эти слова командира батареи, что, может, им недолго и стоять. «Почему же это недолго?» — думаю. А потом и решил, что небось скоро в казармы переберемся, да и вырубил колышек первый попавшийся.

Растянули на скорую руку палатку, матрацы уже и не набивали, потому как утомлены были зверски. Так на пустых матрацах легли и уснули. Крепко уснули. Известно, какой бывает сон после марша.

Долго ли, коротко ли, слышу сквозь сон: вдруг что-то с клекотом пронеслось в воздухе — неужели снаряд пролетел? «Это мы все еще, знать, на учениях»,— подумал я сквозь дрему, а оно уж снова: гух, гух. Удары какие-то. Продираю глаза, а брезент надо мной уже как решето — посеченный, продырявленный, а ведь целый был вчера! Видно, бил шрапнелью, а может, зенитные осколки осыпались; никому из нас не причинило вреда, только брезент посекло. Но про все это я позже раздумывал, а в ту минуту сразу стал будить товарищей. Наматываю портянку, тащу сапог, а другой ногой сослуживца толкаю: «Сивков, слышишь? Началось!» А он — здоровенный, две порции по приказу командования получал — никак верить не хочет.

В этот момент тревогу заиграли. Все повскакивали, выбегают кто как, а я все пилотку не найду. Так без пилотки и выскочил. Прибегаю к коновязи, вижу, один мой конь сатанеет возле своей бирки, а другой уже сорвался, мечется у самых казарм. Кругом суета, крики, ну, что ты хочешь — война! Я схватил чьего-то коня, да к своему, накинул постромки и с пушкой — в парк! А в передке гильзы холостые, и в подсумках у нас ни единого боевого патрона. Все с одним лишь порохом, учебные. Воробьев пугать!

Склады боеприпасов рядом, склады огромные, и там, знаем, снарядов — тьма. Стоишь, бывало, часовым возле них ночью, и жуть берет. Вдруг, думаешь, ахнут, взорвутся? До облаков полетишь.

Кинулись мы сгоряча к тем складам, а часовой не допускает. Видит же, что свои и что творится неладное, летят из-за Буга снаряды, но — нельзя! Без начальника караула не подпущу, и крышка! А начальника караула уже убило, и никто того часового снять не может. Только когда подбежал командир дивизиона и открыл склады, взяли боевые припасы и — огонь за Буг!

Доколе буду жить — не забуду того дня. Нас полегло, но и их положили черным-черно. На проволоке лежат, меж проволокой висят. Вся пограничная полоса, правду тебе говорю, была, как лягушками, завалена теми первыми фашистами.

И с тех пор вот с боями до этих мест отступаем. Видали уже, как не фанерные — настоящие их танки горят от наших попаданий. В одном месте они обманом на нас танки пустили с красными звездами,— думаем — наши! Подмога прибыла! А они как полоснули из пулеметов, ну и мы же им потом дали... Никто не скажет, что мы, артиллеристы, плохо присягу выполняем. Так уж за эту землю цепляемся, так уж держимся,— каждый вершок ее с кровью у нас выдирают.

Артиллерист помолчал, прислушиваясь из-под плащ-палатки к отдаленному грохоту канонады,

к лесу, который все еще хлюпал, истекал в темноте дождем.

— Подкрепился? — спросил он Духновича, когда тот дожевал свой раскисший хлеб.— Это еще ничего, хлеб как хлеб, а мне вот в тридцать третьем пришлось... Нашинкую, бывало, лебеды — да в котел, залью водой и варю. Пухлый, ноги в водянках, а както выжил. Трудная была весна у нас, ох, трудная! Куда ни зайдешь — пусто... Окна повыбиты, и в домах нежильем пахнет... Кому бы, казалось, я нужен, а придет ночь — запираюсь на все запоры: страшно! Сам не знаю почему. Да и то сказать — мальчишка... А когда стали хлеба созревать, захвачу, бывало, наволочку, ножницы, да в поле. Рожь высокая, урожай тогда был не хуже, чем этим летом. Заберусь подальше, чтобы объездчик не увидел, и тайком нарежу, настригу тех колосков полную наволочку. Тех, кто ходил тогда вот так стричь колоски, объездчики ловили, называли «кулацкими парикмахерами», хотя среди них многие были не кулаки, а просто голодные люди. Приду домой, натоплю печь, выгребу пепел прямо на землю — не до чистоты тут! — а на горячий под насыплю колосков, насушу, перетолку и тогда уж испеку себе лепешек. Колоски были еще зеленые, потому и лепешки из них тоже получались зеленые да горькие, но все-таки наешься и оживешь.

— Да, горек был ваш хлеб,— сказал Духнович со вздохом.— Впрочем, это, кажется, не помешало вам стать хорошим солдатом.

— Я так себе думаю, товарищ: пускай трудно было, перемучились, но ведь немало было и хорошего... Особенно в последние годы перед войной, когда колхозы поднялись, встали на ноги. Теперь вот, когда на нашу жизнь гибель надвигается, в тысячу раз она нам дороже становится... Родина, она ведь не только тому дорога, кто всю жизнь куличи ел.

«Это про меня, это, выходит, я всю жизнь куличи ел,— подумал Духнович.— А чем отблагодарил? Этот вот насмерть против врага стоит, а я? Что я в сравнении с ним, который столько выдержал и столько еще выдержит?..»

— Скажите,— спросил он Решетняка,— бывают у вас такие минуты... минуты отчаяния такого или злости... что и жить не хочется?

— Всякое с человеком бывает. Разве легко смотреть, как оставляем рубежи, как оскверняет враг нашу землю советскую? Глядишь ночью на пожары, и все закипает вот тут. Не злой я по натуре, а теперь так хотел бы стрелять, чтобы ни одна пуля мимо не летела, чтобы каждый снаряд в фашистский череп попадал... Вот и сегодня день был сумасшедший. С ходу немец хотел прорваться и прорвался бы, и в лесу уже фашисты колготели бы, если б не наш артогонь.

Он стал подробно рассказывать о сегодняшнем бое, о потерях на батарее, о том, сколько снарядов было выпущено, а Духнович, прижавшись к нему, согретый влажным распаренным теплом его плеча, уже едва слушал сквозь дремоту, такую сладкую после двух бессонных ночей. А потом и вовсе не стало ему слышно слов Решетняка, видел лишь сады под селом, пушки вкопанные, а возле них суетятся люди, заросшие, почерневшие от зноя и копоти, бегом таскают ящики со снарядами, загоняют снаряды в стволы, и среди тех, кто молча, люто трудится тут, он видит знакомую фигуру Барбюса со скаткой через плечо, а рядом с ним хлопочет возле пушки и этот новый товарищ его — артиллерист Решетняк.

20

Полк был кадровый, краснознаменный, еще недавно на смотрах он выстраивался в полном составе, а теперь... Горстка мужественных, обстрелянных, прокипевших ненавистью к врагу людей — это теперь и был полк. Он не то что поредел в боях — он был почти истреблен и все же держал такие рубежи, какие полагалось бы держать нескольким полкам. И не только держал, но еще сам то и дело переходил в контратаки. Чем меньше оставалось кадровиков в полку, тем больше веса приобретали они в бою. Один кадровик, кажется, стоил троих из пополнения — так

ценился теперь человек по его умению держать оружие, по его в боях проверенной цепкости, живучести, стойкости. Если бы враг знал, сколько их стоит против него здесь, по-над речкою Рось, залегших в зеленых садах и буйно поднявшихся огородах, он не поверил бы, что именно они его сдерживают, они, которые понесли уже столько жертв и у которых в обороне столько пустых окопов.

Потери были огромные, особенно от минометного огня, против которого у них не было никакой защиты, кроме этой родной земли, куда они могли зарываться. Мины молотили по ним с утра до ночи, трахая по шоссе, обламывая ветви над окопами; случалось, они попадали и прямо в окопы — горький, смрадный дух от них весь день стоял над обороной. И только с темнотой, когда сила огня ослабевала, можно было сосчитать, скольких не стало сегодня.

От неприятеля их отделяла Рось, живописная речушка Рось, что тихо, бесшумно течет средь густой зелени берегов, между вербами, которые кое-где почти смыкаются над ней своими плакучими ветвями. В мирное время на этих берегах всю весну щелкали соловьи, а сейчас круглые сутки свистят пули, и немало уже крови людской унесла отсюда Рось в Днепр.

На берегу, под кустами лозняка, лежат убитые, и когда ночью коснется их волна, кажется, что они шевелятся, что они еще живые, хотя лежат там уже несколько дней. На деревянном мосту, перекинутом через реку напротив шоссе, убитых еще больше: это те, кто ходил в контратаки. Всякий раз, добежав до середины моста, они падали, скошенные перекрестным огнем вражеских пулеметов, замаскированных где-то совсем близко в вербах того берега. По ночам наши делали несколько попыток оттащить, убрать с моста убитых, но это стоило новых жертв, и мертвая та застава на мосту только увеличивалась.

Вот в этот-то полк, к этому-то мосту и суждено было среди ночи прийти студбатовцам.

— Студенты пришли!

— Курсантский батальон!

— Ни грома, ни молнии не испугались!

В словах, которыми встретил их полк, чувствовалась не только радость, но и солдатская искренняя благодарность за то, что студбатовцы пришли, принесли сюда свои жизни, свою поддержку.

Под проливным дождем, в тревожных сполохах грозовой ночи занимали они свободные окопы по огородам, а кому не хватало свободных, втискивались по двое, вместе со старожилами, пока не освоятся и не выроют свои. После того минометного шквала, под который они попали в открытых хлебах возле штаба дивизии, где понесли свои первые потери, тут, в мокрых окопах, студбатовцы чувствовали себя в большей безопасности, даром что враг постреливал где-то совсем близко, а с вечера, как рассказывали старожилы полка, там, за Росью, даже слышны были немецкие губные гармошки.

Наутро дождя уже не было, небо очистилось от туч, а прямо над студбатовскими окопами свисали яблоневые ветви, отягченные плодами и густой росой. Когда противник, начиная день, резанул из пулемета по садам, роса посыпалась как дождь, а зеленые яблоки покатились прямо в окопы, студентам на головы, лишний раз подтверждая давнюю правоту Ньютона.

Эти кислые, недозрелые яблоки уже в течение нескольких дней были для ветеранов полка чуть ли не единственной пищей. Правда, был у них еще сахар, много сахару, который они добывали, как песок в карьере, неподалеку от своих окопов в подвале одного из домов на шоссе. Раньше в этом здании был райпродмаг, а в подвале склад, который теперь никому уже не принадлежал и никого, кроме солдат, не интересовал — в городке безлюдье и запустение. Со всей обороны бойцы ползали с котелками к этому подвалу и, набрав, кто сколько мог, возвращались в свои норы. В каждом окопчике, рядом с патронами да гранатами, стояли котелки, наполненные сахаром, из которого готовили себе сахарную тюрю, приправляя ее терпкими кислющими яблоками, чтоб не тошнило.

Такой сахарной кашей-тюрей утром угощал Колосовского его сосед по окопу — веселый долговязый сержант, один из ветеранов полка. Губастый, с орлиным носом, с отчаянно-озорными глазами и сочным басовитым голосом, он принадлежал к тем людям, что запоминаются с первого взгляда и с первого же взгляда чем-то подкупают, вызывая симпатию и доверие.

— Ты тут повоюй, а я приготовлю завтрак,— сказал он и, достав из ниши котелок, до половины наполненный сахаром, долил туда из фляги воды, нарезал яблок, старательно размешал все это и уж тогда предложил Богдану: — Доставай ложку — и за дело!

Бруствер, замаскированный картофельной ботвой, скрывал их от противника. Земля была мокрая, черная, и розовые лепестки мака, сбитые ночью дождем, повсюду прилипли к ней. Расчистив на краю окопа местечко, поставили там котелок и приступили к своей тюре.

Звучно отхлебывая, сержант для более тесного знакомства рассказывал Богдану о себе:

— Цоберябой я. Странная фамилия, эге ж? Коекому она кажется смешной, а ведь есть и посмешнее: Пищимуха, Непийпиво, Обийдихата... Был еще у нас в полку старшина Панибудьласка, теперь уже нет его... Ты ешь, ешь,— поощрял он Колосовского,— завтрака не будет, а обеда — и вовсе. Походные кухни наши все порасстреляны, третий день вот так, на подножном корму живем.

Вскоре Богдан уже узнал от него все самое важное, что нужно знать бойцу: откуда немец чаще всего бьет, и когда он особенно неистовствует, и каким путем надо пробираться за этим вот сахаром или, скажем, на КП батальона, если туда вызовут.

Из рассказов сержанта перед Колосовским вставал тяжелый боевой путь полка, путь, отмеченный кровопролитными боями на разных, начиная с границы, рубежах, из которых Рось — далеко не самый трудный.

— Они все хотят спихнуть нас отсюда, чтобы вырваться на шоссе,— объяснял сержант,— но если уж

без вас не спихнули, то теперь... разве только обойдут. Когда им в лоб не удается — десанты забрасывают в тыл, сволочи. Ну, мы им не Греция, это они могли несчастную ту Грецию парашютами накрыть. В общем, не жалей, что попал к нам в полк. Паники у нас не было и не будет. Командир полка — старый вояка, еще у Котовского дрался.

Слушая сержанта, Богдан легко представлял себе отца, Дмитрия Колосовского, во главе такого полка. Одно время, в первые годы после гражданской, и отец служил у границы, на Збруче, пока не перевели в Запорожье. Может, сейчас он командовал бы вот таким же полком — стрелковым, краснознаменным...

Тишина. Пальбы не слышно. Бойцы смелеют: то тут, то там выглядывают из окопов. Колосовский и сержант тоже не прячутся. Склонившись над котелком, они уже заканчивали сладкую свою тюрю, как вдруг между ними, меж их головами что-то вжикнуло. Пуля! Не успели даже испугаться. Спохватились лишь потом. Инстинктивно присев, оторопело поглядели друг на друга.

— Вот гад! — ругнулся сержант.— Снайпер ихний... Высунулись, а он сразу и напомнил, чтоб не забывались.

«Это она, смерть, пролетела»,— подумал Богдан, все еще глядя на сержанта, который точно так же смотрел на него с улыбкой, будто радуясь, что не только он сам остался в живых, но и студент жив тоже.

Вовек не забыть им этой пули, что пролетела между ними, между их головами и породнила их каким-то особенным родством, объединила особым таинством — таинством самой жизни. «Теперь мы побратимы»,— подумал Богдан, глядя на сержанта.

— Вот это и называется — на волосок,— тихо проговорил сержант.— Сантиметр сюда или туда — и одному из нас уже ложка не нужна. Надо, брат, одеть голову в сталь.

Они надели каски. Цоберябой достал из кармана непочатую пачку махорки, сперва понюхал ее, затем разорвал:

— Бери крути, не жалей, у нас этого зелья вдоволь. Хлебом не снабжают, зато махорки позавчера целый чувал привезли, у каждого теперь полно. Крути, чего ты?

— Я не курю.

— Это пока студентом был, а сейчас, брат, начинай. В окопах с этим веселее...

Богдан, улыбнувшись, неумело стал сооружать из газетного обрывка цигарку; она расклеивалась, но он все-таки свернул, прикурил, затянулся. Голова пошла кругом, он почувствовал, что пьянеет, и после первых же затяжек вынужден был бросить самокрутку. А Цоберябой попыхивал так, что дым валил из окопа.

— Не заметят? — спросил Богдан.

Сержант успокоил:

— Подумают, земля после дождя парит. Видишь, как припекает, даже на сон клонит. Завалюсь-ка я минут этак на двести. И тебе советую: ведь у нас тут только днем и поспишь, ночью не дадут.

— Нет, я не буду спать,— отказался Колосовский и снова выглянул из окопа.— Интересно, откуда он бьет, снайпер этот?

— Хочешь выследить? Вряд ли. Он где-то там в чаще, в вербах — левее моста. Ну, я сплю.

Расположившись на дне сырого окопа, согнув в три погибели свое могучее тело, сержант и вправду быстро уснул.

Богдан, устроившись в другом конце вырытого углом окопа, приковал взгляд к вербам противоположного берега. Он следил за шатрами зелени — не шевельнется ли в их глубине ветка, не сверкнет ли где выстрел. «Ты снайпер, но я тоже не мазал на стрельбах»,— подумал он, напрягая зрение.

Вербы, казалось, дремали. Ни единого движения в тенистых ветвях, ни единого выстрела оттуда,— только где-то на левом фланге потатакивает пулемет.

Неподалеку, за картофельной ботвой, хозяйничает в своем окопе Степура — его тяжелая скула виднеется из-под каски.

— Сторожишь? — обращается он к Богдану.

— Да, хочу выследить, откуда он бьет.

— Тогда запасайся терпением...

У Богдана терпения хоть отбавляй. Все время, пока сержант спал, он, изготовив винтовку к стрельбе, напряженно всматривался в зеленые заросли противоположного берега. Один раз ему показалось, что в глубине верб мелькнула какая-то тень, и он уже ждал выстрела, но выстрела почему-то не последовало.

Сержант, выспавшись, сладко потянулся в окопе, зевнул:

— Ну, как там? Не появляется фашистская кукушка?

Он поднялся, похрустел суставами, потягиваясь:

— О, Корчма мой снова землю ворочает...— Цоберябой кивнул куда-то направо.— Он как только затоскует, так сразу и за лопату — ковыряет да ковыряет, все ему кажется, что мелко. Ох, и трудяга!

— Кто он, этот Корчма?

— Земляк мой, односельчанин, всю кадровую вместе служим. Из одного села мы и какие-то даже родственники дальние, а вот характеры у нас — небо и земля. Я больше песни люблю, а он сапоги. Все время только и твердит: «Вот кабы мне, милок, командирские сапоги раздобыть!» А я и в обмотках отлично себя чувствую... Э-гей, Корчма, до воды доберешься! — крикнул он туда, где взлетала вверх земля, выбрасываемая невидимым бойцом, и потом снова обратился к Богдану: — Там у него в окопе целый склад: в одной нише патроны, в другой — гранаты, в третьей — пудра, вазелины и кремы всякие...

— Зачем они ему?

— Набрал в магазине и ноги натирает да ботинки смазывает, чтоб мягче были. А пудра — и не знаю зачем,— может, для Фанаски бережет. Девушка была у нас с ним одна на примете, Фанаска, недавно вышла замуж, в Винницу переехала...— Сержант помолчал, а затем голос его изменился, погрустнел.— Теперь там, в нашем селе, захватчики немецкие свои порядки наводят. Хоть убей, не верится, что они уже там... С засученными рукавами соскакивают с мотоциклов — млеко давай, яйки. Ну, погодите же, получите вы от нас яйки. Немало мы уложили вас у границы —

еще больше уложим. Будем давить по одному, истреблять десятками, сотнями, как крыс,— так я решил!

— Погоди, кажется, что-то промелькнуло,— приник к винтовке Богдан.

Сержант, навалившись грудью на бруствер, тоже стал всматриваться в вербы на том берегу. Солнце теперь глубже проникало в заросли, но и сейчас там не наблюдалось никакого движения.

— А не спробовать ли нам выманить его? — предложил сержант.— Немец, что ни говори, все-таки глупее нас, как думаешь?

Надев на штык каску, Цоберябой отодвинул ее в сторонку, в кусты картофеля, и, пригнувшись, стал там пошевеливать ею. Богдан тем временем, не спуская глаз, следил за вербой, которая казалась ему наиболее подозрительной.

Прошло немало времени, пока сержанту удалось-таки спровоцировать снайпера на выстрел. Неприятельская пуля звякнула о каску, и в тот же миг Колосовский нажал на спусковой крючок.

Ветви качнулись.

— Падает, падает! — крикнул сержант.

Теперь они оба хорошо видели, как, ломая ветки, валится раскоряченное тело, им даже послышалось, как оно глухо шлепнулось на землю.

— Упал, ей-же-ей, упал! — закричали из окопов.— Гупнул, как груша! А еще говорят, что груш на вербе не бывает!

— Кто это там его? — послышалось от дороги, из командирского блиндажа.

И Цоберябой ответил громко, с хвастливой гордостью:

— Студент мой сбил!

21

Враг не особенно тревожил их в этот день. Он словно бы забыл о них или не хотел замечать. Далеко слева гудела канонада, да и справа все содрогалось, будто танки своими бронированными лбами раз-

бивали, таранили где-то там железное небо. А тут, над тихой Росью, среди разомлевших верб, война вроде бы задремала, как дремали сейчас согнувшись в своих окопах бойцы, пригретые солнцем и парной землей.

Под вечер снова прошел дождь, короткий, летучий, и студбатовцам было видно, как он, словно убегая от солнца, быстро удаляется за Рось, за густые вербы, где был убит снайпер, длинными прядями седеет, пронизанный солнцем на лугах зеленых, далеких. И только пробежал дождь и проглянуло солнце, бойцы увидели, как где-то на левадах, за Росью, среди мокрых, сверкающих верб радуга воду берет.

Степуре хорошо была видна радуга из окопа. Она стояла под темной тучей, поднимаясь над войной, над побоищем, кромсавшим землю, стояла в вечной семицветной красе своей, недосягаемая для вражеских снарядов.

Потом радугу почти всю закрыло тучей, лишь кусок ее остался на горизонте, круглый как яблоко... Огромное яблоко рдеет в темных далеких тучах. «Немой стою перед твоею красой, природа! — хотелось воскликнуть Степуре.— Как это все передать словами?» Странная логика человеческая: глядел на радугу в небе, а видел Марьяну, харьковчанку краснощекую. Замужнею стала, и надо бы давно выбросить ее из головы, а не получается, приходит она и сюда к нему в окоп со своей жаркой, недоступной для него любовью... «Неужели Марьяна не могла полюбить меня, если бы не было его? — думалось Степуре.— Ведь должно же быть и во мне что-то привлекательное для девчат? Вон приходила в лагерь вместе с остальными Ольга-гречанка, она же ко мне приходила. Если Ольга могла — значит, могла бы и Марьяна, не обворожи, не перехвати ее другой!»

Окоп Лагутина неподалеку от Степуры, наискосок, если смотреть в сторону моста, под расщепленным стволом яблони. Степура и сейчас видит Лагутина, его затылок. Прислонившись грудью к брустверу, Лагутин смотрит куда-то в сторону реки. Без каски, в измятой шинели, еще и воротник поднял,— видно, как спал в шинели, так и остался в ней, чтоб высохла

прямо на нем, как высыхает сейчас такая же шинель и на Степуре. Винтовка Степуры лежит на бруствере, закрепленная, пристреленная к мосту, готовая в любую секунду открыть огонь, как только появится противник. По линии прицела глаз Степура видит кусок вербы — это сразу же за мостом (почему-то кажется, что именно из-за того куста должен выскочить враг); а чуть поведешь глазом в сторону, опять наткнешься на Лагутина, на его выставленный над окопом затылок...

С досадой отвернувшись от Лагутина, Степура видит в окопе Колосовского, который все наблюдает из-под каски за вражеским берегом, и его соседа — сержанта Цоберябого, которого уже каждый тут знает по громоподобному голосу и веселому, компанейскому нраву. Цоберябой! И верно, чудная фамилия. Тысячами проходят вот так мимо тебя люди, и среди них вдруг Цоберябой. Откуда? Почему его зовут так, а не иначе? Когда-то, давным-давно, знать, окрестили так вот паны, записали в ревизские сказки, не без злого умысла приравняв человека к волу, да так и несут из поколения в поколение это имя и прадеды сержанта, и деды, и отец, и сам он... В родном селе Степуры немало людей с такими же вот странными именами, как бы в насмешку придуманными когда-то паном; в революцию эти имена делались крылатыми, звучали грозно и славно, а в наши дни многие из них стали именами знатных людей страны, орденоносцев, участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

У отца Степуры, бригадира огороднической бригады, тоже медаль, врученная на выставке. Из хлеборобского рода вышел Андрей Степура в студенты. Будучи уже студентом, вставал, как хлебороб, на заре, спешил, торопился собрать урожай знаний, до очумения сидел, обложенный грудами книг, в библиотеке даже по выходным. Знал: там, куда поедет после университета, не будет таких книгохранилищ. Сын села трудового, он с детства проникся любовью к труду земледельца, подростком умел управлять трактором, переняв эту науку от старшего брата; знаком его рукам и штурвал комбайна; каждое лето во время кани-

кул односельчане видели его то у штурвала степного корабля, то среди самых плечистых, что возят зерно на станцию. С малых лет парню привито глубокое уважение к хлебу, отношение к нему как к чему-то самому святому, и когда война прямо с марша бросила студбат в массивы колхозных хлебов и Степура увидел, что хлеб тут уже ничего не значит и его безжалостно топчут, оскверняют, и сам он брел с винтовкой среди зарумянившейся полноколосной чудесной пшеницы «украинки», против воли топча, попирая ее сапогами,— это был самый тяжкий день в его жизни, это было для него самым ужасным из всего, что принесла с собой война. Колосья, собранные в красивый сноп на народных праздниках в День урожая, колосья, гордо золотящиеся в государственном гербе,— увидеть их вдруг повергнутыми, смешанными с землей в черных смрадных воронках — что может быть больнее для хлебороба! Все это до сих пор стояло перед глазами Степуры, как стоял перед ним и образ растерзанного миной Дробахи, которого они похоронили там, в хлебах. Отсмеялся Дробаха, отгулял... Если бы можно было остановить войну одним ударом,— ничего другого не хотел бы Степура от жизни.

С наступлением сумерек приказано было получать сухари. Сухарей было мало, и Корчма, пригнувшись в картофельной ботве, начал их делить, умело, ловко разламывая и раскладывая ровными кучками на расстеленной плащ-палатке.

— Гляди хорошенько, а то как раз себя и обделишь,— подтрунивал Цоберябой над Корчмой.

А Корчма разложил, подравнял кучки и, потребовав, чтоб один из них отвернулся, громко крикнул:

— Кому?

Так обычно поступают дети, которые, спрятав руки за спину и зажав в одной из них конфету, заставляют угадывать: «В какой?»

Студентам, однако, такой способ дележки пришелся не по душе.

— Давай без фокусов,— буркнул Лагутин.

— И без этого обойдемся,— поддержал его Колосовский.— Разбирайте, я согласен последним.

Корчма, похоже, был очень обижен, что его метод дележки не получил у студентов одобрения и что они только посмеялись над его предложением.

— Значит, не совсем еще проголодались, ежели крутите носом,— сказал он, оскорбленный в самых лучших своих намерениях.— Вот когда затянете ремни на последнюю дырочку, тогда каждой крохой дорожить будете.

— Торопись, землячок, паек съесть,— весело посоветовал Цоберябой Корчме, когда тот забрал свои сухари.— А то убьет, и порция твоя пропадет.

Еще не догрызли сухари, как из тени садов появились командиры, послышался над окопами молодой, задорный голос политрука Панюшкина:

— А ну, орлы, кто хочет размяться? Есть задание!

Возле статного, туго перетянутого ремнем в талии Панюшкина Степура увидел командира своей роты, лейтенанта Осадчего, невысокого, с выпяченной грудью. Вот он, присматриваясь, склонился над Степуриным окопом.

— Это кто здесь?

— Курсант Степура.

— Ну, Степура, пойдешь?

Степуре хотелось сначала узнать куда, о каком задании идет речь. Но не успел он спросить, как из лагутинского окопа уже прозвучало — с готовностью и словно бы даже с вызовом:

— Иду, товарищ командир!

Это Лагутин отвечал Панюшкину, и Степура заспешил:

— Иду, иду.

Ему стало досадно, что Лагутин и тут его опередил.

Колосовский и сержант Цоберябой тоже вызвались пойти, однако Панюшкин, который перед тем приходил благодарить их за убитого вражеского снайпера, отказал им:

— Снайперы? С вами у меня будет особый разговор.

Вскоре десятка полтора отобранных из разных подразделений бойцов стояли на темном подворье,

позади кирпичного дома, в подвале которого разместился КП батальона.

Майор Краснопольский, щуплый, болезненный на вид человек (перед войной он заведовал военной кафедрой в одном из харьковских институтов, а теперь был назначен командиром студбата), объяснял существо задания.

— Городок этот, как вы сами знаете, пуст,— говорил он сердитым, надтреснутым голосом.— Население эвакуировано. Однако нам сообщили, что в тылу батальона, в окне одного из домов, был только что замечен подозрительный свет. Ваша задача — обыскать дом, выяснить, в чем дело, кто светит.

Майор не сказал, что это, возможно, немецкие автоматчики уже забрались туда, засели в ближнем их тылу, в пустом доме, но и без объяснений каждый понимал, что Краснопольский, конечно же, имеет в виду это.

— Блеснуло и тут же погасло,— взволнованно отозвался Гладун, который до сих пор почти незаметный стоял под темной глухой стеной. Оказывается, это он первым и заметил подозрительный свет в доме, когда возвращался из полковых тылов (Гладун выполнял теперь обязанности старшины батальона).— Жителей-то в местечке нет, из наших там тоже никого нет, кому там светить? А дом такой, что из него поди попробуй их выбить, если засядут...

— Выбьете,— сказал Краснопольский уверенно.— На выполнение задания вас поведет товарищ Гладун. Забирайте людей, товарищ Гладун, и выполняйте.

Гладун, видно, вовсе не ожидал такого оборота дела. Слышно было, как он даже захлебнулся, отвечая Краснопольскому уставным, непременным «слушаюсь».

И вот они идут. Молчаливые, сосредоточенные, идут на задание, которое неизвестно чем для них кончится. Большинство — студбатовцы. В темноте Степура узнает знакомую, с поднятым воротником шинели фигуру Лагутина, слышит возле себя Ребрика, Бутенку с филологического — они изредка обмениваются

на ходу короткими фразами. Для студбатовцев это первое боевое задание, первая проверка нервов, выдержки, мужества. Тут можешь встретиться с врагом лицом к лицу. И либо ты его, либо он тебя. На таких вот заданиях пускают в ход и штык, и приклад, а может случиться, что и цепкую руку врага почувствуешь на своем горле...

Гладун идет вблизи от Степуры насупленный, его все время угнетает мысль, что он дал маху и эта оплошность может стоить ему жизни. Какой черт потянул его за язык, кто заставил болтнуть комбату об этом огоньке — будь он трижды проклят! Промолчи он, так не попал бы в такой переплет, никому бы и в голову не пришло посылать его на это задание, из которого, кто знает, вернешься ли живым.

— Выпало же нам,— говорит он доверительно Степуре.— Хуже и не придумаешь...

С той поры, как Гладун оказался на фронте, его не узнать. Куда только девалась его самодовольная молодцеватость, которой он так отличался в лагере! Похудел, осунулся, весь как-то обмяк и раскис, стал равнодушным ко всему. И сейчас ведет их между темных домов не строем, просто гурьбой, кажется, ему теперь на все наплевать: какое ему дело, что у того вон воротник поднят не по уставу, а у этого хлястик болтается на одной пуговице и что противогазов на многих уже нет...

Не до того теперь Гладуну. Поставленный волей случая во главе группы, он ведет ее куда-то через заросли огородов, часто останавливаясь, пугливо приглядываясь к домам, к садам. Бурьян под ногами, деревья вокруг — все полно тьмы. Зловещая тьма, окружающая их, похоже, целиком завладела Гладуном, тревожит его, страшит; он идет в темноту, как тот конь, который за каждым кустом чует волка. Наконец пришли. Гладун приложил палец к губам:

— Тс-с!

Все замерли. Огромный, темный и словно бы насторожившийся дом. Полуразбитые окна, бурьян выше фундамента...

— Тут!

Руки сами сжимают оружие, холодок близкой опасности пробегает по телу. Ждут команды. Она подается шепотом:

— Окружить дом!

Украдкой, тихо ступая, обходят, окружают дом. Присев, притаились под окнами то ли в бурьянах росистых, то ли в цветах. Если бы не дышать, стать невидимкой! Может быть, на них уже смотрят из окон, с чердака? Целятся? Вот-вот громом и молнией хлестнет отсюда. Под кустом против углового окна собралась целая группа. Гладун, присев на корточки и указывая на темный провал окна, шепчет каким-то не своим, потерянным голосом:

— Ну, кто первый?

Это означает, кто первым полезет в выломленное окно, кто первым бросится навстречу струям автоматного огня, навстречу собственной смерти.

— Ну?

Молчат. Поглядывают на дом как на крепость. Положение того, кто сейчас внутри дома, куда выгоднее. Притаившись за стеной, он, возможно, только и ждет, пока ты начнешь карабкаться к окну, он услышит каждое твое движение, а ты будешь лезть в ту дыру, как в черную зубастую пасть.

— Ну, кто, кто? — нетерпеливо повторяет Гладун, и голос его свирепеет.

Из тех, кто притих в бурьяне, вдруг один поднялся и, сбросив шинель, двинулся к окну.

Степуру бросило в жар: Лагутин! Он первым идет, берет на себя самое трудное. Поднялся из бурьяна и как бы сразу поднялся над ними всеми, стал самым лучшим, и будто Марьяна увидела его в этот миг, увидела, как он, ее Славик, победив страх, первым устремился навстречу опасности, чтобы только выручить товарищей.

В мгновение Степура очутился возле другого окна. Почти одновременно они ухватились за подоконники, подтянулись на руках — один легко, другой тяжело, неловко — и бесшумно исчезли внутри дома.

Гладун, присев в бурьяне еще ниже, замер в напряжении. Он ожидает, что вот-вот весь дом заходит ходуном, засверкает огнем из стволов, послышатся стоны, предсмертные крики, возня; но ничего этого нет. Слышно только, как оба они, живые и невредимые, неторопливо ходят в гулкой пустоте дома — один тут, другой там,— чем-то громыхают, что-то переворачивают и, забравшись наверх, возятся на чердаке, будто домовые.

Через некоторое время они появились в оконных проемах.

— Нема,— сказал Лагутин, и в голосе его Гладуну почудилось нечто похожее на насмешку.— Сдается, их тут и не было.

Гладун поднялся из бурьяна.

— Не может быть... В погреб вы заглядывали?

— Пусто всюду,— отозвался Степура.— Можете зайти убедиться. Я дверь вот открою.

Вскоре дверь уже распахнута настежь, и бойцы, разом ввалившись в дом, обошли, обыскали все его уголки. Шкафы перевернуты, на полу перья из подушек, обрывки газет... Думали, хоть газеты немецкие, оказалось — наши.

Собравшись вместе, стали гадать: куда ж они могли деться, те таинственные сигнальщики, куда могли скрыться так быстро?

— Может, это не тот дом? — высказал сомнение Степура, обращаясь к Гладуну.— Вы не ошиблись?

— Нет, я не мог ошибиться,— твердо возразил Гладун.— Вон там я шел, тут повернул...— Он вдруг пригнулся, будто кого-то заметил в темноте.— А что, ежели они в соседний дом перемахнули?

— Мы бы их увидели.

— А еще до нашего прихода?

Лагутин подсказал:

— Давайте и там посмотрим, все прочешем.

Разбредясь и уже громко разговаривая, стали заглядывать в окна соседних домов, дергать за ручки дверей, перекликаться.

— Эй, а ну сюда! — вдруг прозвучал посредине двора голос студбатовца Бутенко. Чувствовалось, он там обнаружил что-то важное.

Когда сбежались, Бутенко показал на дом, который они только что тщательно обыскали.

— Вот отсюда гляньте на него, в этом ракурсе. Видите, блестит, переливается?

И верно, в одном из окон мерцал, переливался свет. Видно, там осталось несколько стекол; напротив, далеко за Росью, что-то горело, и в окне отражались отблески зарева.

— Вот эти отблески вы и видели, товарищ старшина,— сказал Лагутин.

— Вот это и есть ваши автоматчики! — подбросил Бутенко. И все их нервное напряжение разрядилось неудержимым хохотом.

Несмотря на комичность своего положения, Гладун, кажется, тоже был доволен тем, как обернулось дело. В приливе доброты разрешил хлопцам перекур. Мокрые, по пояс в росе, забрались в какой-то темный сарайчик, где было уютно, сухо, и, рассевшись по углам, начали крутить цигарки.

Степура уже курил, когда кто-то тронул его рукой.

— Дай прикурить, браток...

По голосу узнал Лагутина. Поднес ему цигарку, и тот, жадно посасывая, стал прикуривать от нее. Когда Лагутин втягивал воздух, огонь разгорался, озаряя его осунувшееся, испачканное грязью лицо и светлый пушок, заметный на подбородке. «Марьянин фронтовик»,— подумал о нем Степура, и ему почему-то стало до боли жаль Лагутина.

22

Что там за Росью? Что за теми черными купами верб, где небо всю ночь тревожно рдеет от пожаров?

Неизвестность, пожары, тьма. Враг уже хозяйничает на том берегу. Легко сказать — на том берегу. Казалось, сам воздух там дышит смертью и даже деревья там не такие, как тут, и земля не такая, и вода. Кажется, и птица, залетев туда, упадет мертвой. Непроницаемо, недоступно. А все же можно было проникать и туда. Разведчики проникали.

Около полуночи Богдана Колосовского вызвали на КП батальона.

— Пойдете в разведку, товарищ курсант,— поднявшись из-за стола, сказал комиссар Лещенко, которого Богдан едва узнал в сумраке подвала.

— Есть, товарищ комиссар.

— Поведет вашу группу политрук Панюшкин.

Среди утонувших в махорочном дыму людей Колосовский разглядел и Панюшкина, как всегда улыбающегося, а возле него в группе бойцов — сержанта Цоберябого, который был вызван сюда чуть раньше. Некоторые из бойцов как раз снимали с себя противогазы, шинели и, суровые, молчаливые, бросали все это в одну кучу, в угол.

— В тыл идете, к врагу в тыл,— говорил комиссар, остановившись перед Колосовским и строго осматривая его.— Документы, какие есть, сдайте батальонному писарю на сохранение... Это временно,— добавил он как бы между прочим.

Вынырнув откуда-то из-за спин командиров, у стола тотчас же появился Спартак Павлущенко. Послед-

нее время он исполняет здесь писарские обязанности и на этом основании не вылезает из КП.

Колосовский неохотно положил на стол свое курсантское удостоверение, перед тем как расстаться с комсомольским билетом, невольно задержал его в руке, посмотрел на комиссара:

— И комсомольский сдавать?

— Все, все,— подтвердил комиссар.

Комсомольский билет... Положив его, вспомнил вдруг, что остался еще медальон, тот черный медальон, что выдали в дороге.

— И медальон?

— Нет,— ответил комиссар.— Медальон оставь при себе.

Богдан присоединился к группе разведчиков.

— Все это нам возвратят, не горюй,— успокоил его политрук Панюшкин, который, кажется, один еще здесь, среди этих суровых людей, не разучился улыбаться. Его широкие белые зубы будто не умещались под губами, так все время и светились, сверкали в приветливой улыбке.— Шинель тоже брось туда, все это нам сейчас ни к чему,— пренебрежительно кивнул он в угол.— Разведчик должен быть легок и бесшумен, как ночная птица.

Сам политрук Панюшкин был настоящим воплощением такой легкости — она чувствовалась во всем его теле, во всей его юношеской стати. Стройный, упругий — ни шинели на нем, ни ранца, даже каски нет на голове, только пилотка лихо сбита набекрень да непокорно выбился из-под нее светло-русый чуб. Пилотка с рубиновой звездой да черный трофейный автомат поперек груди. «Вот так я живу, вот так я люблю — чтоб ничего на мне лишнего, чтоб только автомат через грудь да гранаты торчали из карманов»,— будто говорит он всем своим видом, и Богдану невольно захотелось быть таким же.

Бойцы, окружавшие политрука — их было человек десять,— за исключением сержанта Цоберябого, были незнакомы Богдану. Впереди стоял коренастый ефрейтор с монгольским типом лица — Богдан так и назвал его в мыслях — Монгол, за ним набивал патро-

нами подсумок курносый, этого так и назвал — Курносый, еще один был в фуражке пограничника — для Богдана он стал Пограничник... Они его тоже не знали, для них он был просто новичок из студбата и, наверно, так его и назвали — Студент. И вот, впервые сведенные в одну группу, в большинстве совершенно не знакомые между собою, объединенные лишь улыбкой политрука Панюшкина, они должны были уйти с ним в ночную непроглядную темень, в зону смерти — за Рось.

Как на обреченного посмотрел Павлущенко на Богдана, когда тот с новыми своими товарищами уходил с КП. Похоже, задание было какое-то особенное, потому что во дворе к разведчикам присоединилось еще несколько саперов с тяжелыми ящиками,— эти ящики со взрывчаткой потом по очереди будут нести бойцы.

Незамеченные, перебрались в темноте через Рось уже довольно далеко от деревянного моста, что напротив позиции батальона. Пограничник, который был родом из этих мест, вброд провел их на ту сторону, прямо в кусты лозняка, в вязкий песок, провел так тихо, что ни одна ракета не вспыхнула над ними, ни одна пуля не просвистела.

За песком, за ивняком начались болота и озерца — побрели по ним. Нужно было брести так, чтобы не хлюпало, не булькало, не чавкало, брести неслышно и в то же время не потерять в темноте товарищей. Руки немели от тяжелых цинковых ящиков с патронами, неудобные ящики со взрывчаткой то и дело сползали с плеч — для тех, кто их нес, это было настоящей пыткой.

Враг держался шоссе, а разведчики шли стороной, в обход. По болотным кустам, кочкам ступали, как по минам, всякий посторонний шорох настораживал — притаившаяся за каждым кустом тьма могла в любой миг послать ракету, ударить в лицо выстрелом. Мир, в который они углублялись, был для них теперь действительно зоной смерти, где за малейшую неосторожность можешь поплатиться жизнью.

При всем своем юношеском жизнелюбии Колосовский сейчас боялся не столько смерти — он ее применительно к себе просто как-то не представлял,— его ужасало другое: возможность быть раненым, попасть в плен. Сейчас это было самым вероятным и самым страшным. Если не вернешься отсюда — пропал бесследно, пропал без вести, сгинул в зафронтовой безвестности — для одних честный, а для других навсегда опозоренный, потому что откуда узнают, как и где ты остался за огненной чертой... Самые дорогие для тебя люди, как они узнают правду о тебе, о твоих последних шагах в бою? В медальоне оставил два адреса: университетский — Танин, и второй — матери, она живет теперь на Кубани у старшего сына, механика совхоза. Два самых дорогих адреса в медальоне. Но кто от-

кроет этот медальон, кто пошлет весточку, когда наступит для него смертный час тут, за линией фронта?

Чем дальше продвигались разведчики, тем труднее становился их путь; болота не кончались, брели по ним, спотыкаясь о какие-то корневища, путаясь в жи-

листых, густых лозняках. Вода то исчезает, то опять хлюпает под ногами, черная, тяжелая, как нефть, с тиной да осокой-резучкой, сквозь них с трудом проталкиваешь ногу, скользишь по корягам, падаешь, вязнешь. Что ни шаг — новое усилие. Сапоги стали пудовыми — в них полно воды.

А политрук Панюшкин, шагая впереди, все поторапливает: скорее, скорее — близится рассвет!

Он уже сообщил им, куда идут. Группе приказано захватить и уничтожить железнодорожный мост,— наши в суматохе отступления не успели разрушить его, и мост целым и невредимым остался у врага в тылу. Разведчикам нужно выйти к мосту затемно, пока не разгорится утренняя заря, пока можно будет подкрасться к нему незаметно. Потому-то политрук Панюшкин так торопит своих бойцов, не дает им отдыха, хотя и сам дышит тяжело и пот с него катит градом.

— Еще рывок, хлопцы, еще рывок!

Особенно задерживают группу те, кто в очередь несет ящики со взрывчаткой. Измученные тяжелою ношей, они не поспевают за другими, запыхавшись, часто спотыкаются в зарослях, падают, отстают. В конце концов стало ясно, что при таком темпе

ходьбы им затемно не выйти к мосту. Панюшкин на ходу принял решение: разделить группу на две части. Саперы во главе с сержантом Цоберябым будут нести взрывчатку и двигаться вслед за ушедшей вперед во главе с Панюшкиным основной группой.

Политрук повел разведчиков почти бегом. Никто не роптал, хотя бойцы едва не падали, умываясь соленым потом. Каждый понимал — скоро развиднеется, скоро конец темноте, прикрывающей и защищающей их.

Знали, к какому объекту должны были выйти, и все же для них было совершеннейшей неожиданностью, когда впереди из предрассветной мглы проступила вдруг, как на огромном негативе, седая радуга моста. Притаившись в кустарнике, стали всматриваться в эту холодную, застывшую в тумане радугу, которой должны были овладеть. Вот он, мост. Целый-целехонький! Будто только что построенный.

Согнувшись, осторожно стали пробираться вперед. На фоне светлеющего неба все явственнее вырисовывались металлические фермы, а у входа на мост — неподвижная фигура часового в плащ-накидке. За мостом по ту сторону темнела сторожевая будка — там, несомненно, тоже был пост.

Нужно было немедленно подкрасться и снять часового. Ждали, кого из них пошлет Панюшкин. Но он не стал никого посылать.

— Колосовский, остаетесь за меня!

И, припав к земле, пополз к насыпи. Колосовский и Монгол, которые лежали ближе всех к политруку, тоже поползли за ним. Все трое уже подбирались к насыпи, когда от моста ударило струею огня — рваной струей трассирующих пуль. Бил из автомата часовой. Пули шли высоко над ними, часовой стрелял покамест наугад. Но это был плохой знак: тревога поднята. Теперь нельзя было мешкать. Отсюда, из-под насыпи, фигура вражеского часового на мосту хорошо вырисовывалась, и Панюшкин, выставив автомат, дал по фашисту короткую очередь. Одна очередь — и часового не стало. Они видели, как он упал навзничь, как бы переломившись в позвоночнике.

— Вперед!

Панюшкин, поднявшись, махнул в направлении моста своим черным автоматом, который казался сейчас каким-то особенно легким, игрушечным в его огромной, напряженно поднятой руке. Только они бросились по насыпи вверх, как с другой стороны, от будки у моста, оглушительно ударил пулемет. Панюшкин приказал Монголу взять остальных бойцов, оставшихся внизу, и захватить будку.

Вскоре, пробравшись под мостом через овраг на ту сторону, разведчики уже поднимались по насыпи к сторожевой будке. Они торопились, стреляли щедро, бешено. Панюшкин и Колосовский поддерживали их огнем, но немцы, видно, успели нырнуть в хлеба: когда бойцы вскочили в будку, она была пустой.

Еще воняло здесь вражьим логовом, валялись кучи закопченных горячих гильз, невыстрелянные пулеметные диски, запасные обоймы для автоматов...

— Улизнули! Теперь лови их!

В хлебах, далеко тянущихся от будки, мелькнула чья-то согнутая фигура. Пальнули вслед, а догнать — куда там. Хлеба высокие, густые, а дальше — посадки, в тумане — сады какого-то села...

— Как же это мы их выпустили? — сокрушался Пограничник, оглядывая хлеба.— Теперь держись! Приведут целую псарню!

Несмотря на близость опасности, их охватила радость — мост захвачен! Разгоряченные, взбудораженные, собрались возле убитого часового. Белобрысый, с облезлым от загара носом, немец был вовсе не страшный, лежал, скрючившись, на пятнистой своей, мокрой от крови плащ-накидке. На сапогах — крепкие стертые подковы, которые прошли небось пол-Европы...

Быстро обыскав немца, бойцы забрали документы и столкнули труп с моста; он полетел вниз головой, тяжело плюхнулся в густое, заросшее осокой болотце.

Они — хозяева моста. Даже не верилось: один натиск, несколько минут боя, и уже им принадлежит эта серебристая металлическая радуга, которая мощно высится в предрассветный час среди родных просто-

ров! Все тут исправно, добротно, фермы аж гудят, рельсы еще не поржавели, поблескивают сталью — хоть сейчас пускай по ним поезда!

Удивительное чувство овладело Колосовским, хмельное чувство первой боевой удачи. Окруженные врагом, полками фашистскими, дивизиями, они, горстка советских бойцов, приступом отбили и удерживают этот мост среди открытых полей, удерживают эти вот высокие серебристые фермы, которые поднимаются в утреннюю зарю, будто железное знамя бесстрашия и непокорности!

Но где же саперы? Подойдут ли они сюда прежде, чем появится с подкреплением немецкая охрана, успевшая ускользнуть? Нет, саперы должны успеть, должны!

Залегли вдоль насыпи и стали с нетерпением ждать.

Панюшкин, лежавший в одной цепи с бойцами, рассматривал документы убитого. Не полагаясь на свое знание немецкого языка, он подозвал Колосовского, и Богдан как мог принялся переводить ему записи в солдатской книжке.

За сухими сведениями, которые оставил в своей книжке немецкий штабной писарь, Колосовскому хотелось разглядеть человеческую судьбу того, кто лежал сейчас там, под мостом, в болотной трясине. Кто он и как очутился на Роси? Сам пришел или заставили? Название части, год рождения да еще звучное имя Ernst — все это говорило мало. Как он жил, кто его ждет дома? Кому напишут, что такого-то нет, пропал без вести? Одурманенный фашистской пропагандой, может, и в самом деле представлял себя сверхчеловеком, был уверен, что дойдет до Урала, станет властелином мира? И вот теперь, отброшенный этим миром, валяется под мостом как падаль, и уже не для него встает это погожее летнее утро...

— Да, этот больше не будет стрелять,— говорит Панюшкин, пряча документы убитого в карман.— А солнце, глянь, какое всходит!

Красное, сочное, выглянуло оно из утреннего тумана за далекими садами, осветило хлеба, фермы мо-

ста и залегших у насыпи разведчиков. Однако и солнце не обрадовало их. Сейчас, при свете дня, чувствовали они себя прямо-таки голыми подле этого моста, который возвышается среди просторов как огромная мишень.

— Однако где же это наши? Не сбились ли они там?

Панюшкин нетерпеливо всматривался с насыпи в болотистый лозняковый край — оттуда должны были появиться саперы.

В этот миг вверху, по фермам моста, с металлическим звоном застучали пули.

— Каски в хлебах! — вскрикнул Пограничник, спрятавшийся на мосту за опорой.

Вскоре все уже видели, как, вынырнув из посадки, заблестели над хлебами немецкие каски. Автоматчики. Их много.

Рассыпавшись, идут медленно, вразброд, но с каждым шагом все ближе и ближе к мосту. С ходу ведут огонь, стреляют не целясь. Автомат в пузо — и нажимают, строчат перед собой, будто слепые. Металлический град все чаще цокает по фермам. Разведчики, затаившись вдоль насыпи, не открывают ответного огня.

А еще через минуту на полевой дорожке вдоль посадки затарахтели мотоциклы. Влетев в хлеба, они быстро приближались, уже видны были пулеметчики.

Наиболее тяжелое для разведчиков начиналось именно сейчас. Это каждый понимал. Захватить мост было делом не таким уж сложным, главное — удержать, во что бы то ни стало удержать вот теперь, до прихода саперов! Пули со звоном ударялись о рельсы, рыли землю на насыпи перед самыми лицами разведчиков.

— Без приказа не отходить, — предупредил Панюшкин, готовя автомат к стрельбе. — Держаться во что бы то ни стало! Бить прицельно! Только прицельно!

Автоматная трескотня нарастает.

Каски в хлебах все ближе. Видны оскалы ртов, черные от яростного крика.

Панюшкин, как и его соседи, приготовился к стрельбе лежа, рельс служит ему опорой, но в последнее мгновение, вскочив, стал прицеливаться с колена.

— Прицельно!

И только успел он выстрелить, как рука его неестественно дернулась, и автомат, отлетев, пополз с насыпи вниз. Панюшкин, поникнув, остался лежать на месте.

Колосовский бросился к нему и, стащив ниже под насыпь, приподнял, тряхнул за плечи.

— Товарищ командир! Товарищ политрук! — и неистово тряс, тряс его, словно хотел оживить.

Но в отяжелевшем, еще теплом теле уже не было жизни: он был убит наповал, несколькими пулями; одна из них ударила в висок, пробила голову — брызги крови запеклись в светлом чубе.

Уложив политрука на траву, Богдан подхватил его автомат и снова бросился на насыпь. Все уже вели огонь. Колосовский с ходу лег на том же месте, где был убит Панюшкин, и с того самого рельса, откуда только что собрался вести огонь политрук, теперь уже он, Колосовский, стиснув зубы, выпустил длинную очередь по противнику. «Прицельно, прицельно! — упорно долбила мысль. — До последнего патрона!»

Живые фашистские каски в хлебах так близко — целься, не промахнись! С одного фашиста, по которому выстрелил Колосовский, слетела каска, и только после этого немец упал. Еще выстрел, и еще один упал, а он целился снова в эти ненавистные каски, видел, как падали враги, и это только распаляло его, каждую каску хотелось разбить, раздавить, расколоть, как скорлупу, вместе с черепом, который под нею прятался.

О себе Колосовский не думал. Пули вызванивали по фермам все злее, щелкали по рельсам, впивались в шпалы, но он не хотел их замечать, он люто презирал их, он впервые почувствовал в себе сейчас то, что отец его когда-то называл полнейшим презрением к смерти.

23

Мост этот, вероятно, имел какое-то особое значение; к тому же кто-то, видимо, чувствовал свою вину за то, что он достался врагу целым,— не потому ли из полка все время звонили по телефону на КП батальона, нетерпеливо допытывались, как там, не возвратилась ли ночная разведка.

— Еще нету, нету,— отвечал комиссар Лещенко, и сам все больше и больше нервничал.

В углу подвала после бессонной ночи спал на расстеленной шинели комбат Краснопольский. У изголовья сидел Спартак Павлущенко и, следя за комиссаром, угадывал на его лице внутреннее беспокойство, с трудом скрываемую тревогу. Спартаку казалось, что он хорошо понимал состояние комиссара: ведь успех и неуспех разведки на его совести. Сам подбирал людей, сам посоветовал Панюшкину взять из числа студбатовцев Колосовского. Павлущенко счел тогда своим долгом предостеречь Панюшкина, но тот не обратил внимания на его предостережение.

А зря. Ведь люди пошли в тыл врага! Там малейшая трещина может пропастью обернуться...

Отвечать за последствия должен, конечно, комиссар. Спартак решительно не мог понять того усиленного внимания, какое, начиная с райкома, комиссар Лещенко проявлял к Колосовскому, к человеку, как бы там ни было, все же запятнанному. Спартак терялся в догадках: чем, в самом деле, объяснить это покровительство Колосовскому на каждом шагу? Стреляет хорошо? Но не один же он так стреляет! Храбр? Не один он храбр!

«Хорошо, что хоть документы у них отобрали,— думал о разведчиках Спартак,— а то враг мог бы еще и их комсомольскими билетами воспользоваться...»

Комиссар, прилегши в углу между связистами, снова с кем-то разговаривает по телефону. Похоже, опять с Девятым. Разговаривать с Девятым — мало в этом приятного. Крутой, бранчливый, он и сейчас, видимо, ругается вовсю, потому что Лещенко краснеет и, еле сдерживая себя, отвечает с подчеркнутой вежливо-

стью; там, на другом конце провода, видно, тоже интересуются, что за люди пошли в разведку, достаточно ли проверены, надежны ли; Лещенко уверяет, что людей послали надежных.

— А я и сейчас считаю, что не все там такие,— решается возразить Спартак, когда комиссар, закончив разговор, кладет трубку и сосредоточенно смотрит на аппарат, продолжая о чем-то думать.

— Что вы сказали? — не придя еще в себя после разговора с Девятым, обернулся Лещенко к Спартаку.

Тот повторил. Комиссар помолчал.

— Это вы из соображений перестраховки?

— Нет, от души.

Лещенко пересел поближе к нему, глянул ему в глаза внимательно:

— Кого вы имеете в виду?

— Вы же знаете. Я еще в райкоме предостерегал.

Комиссар встал, прошелся по подвалу и снова присел на ящике против Спартака.

— Товарищ комсорг, а вы в какой семье воспитывались?

— Семья здоровая. Отец завкадрами на оборонном заводе, мать — юрист...

Комиссар все пристальнее всматривался в Спартака.

— Вы никогда не думали, товарищ Павлущенко, что у вас чрезмерно развита подозрительность? Вам, студенту-гуманитарнику, у которого глаза должны быть открыты прежде всего на все самое светлое в людях, вам такая роль... к чему она? Вот вы, начиная с райкома, да верно еще и раньше, упрямо преследуете одного из своих сокурсников.

— Я не преследую. Я просто не до конца верю ему.

— У вас есть какие-нибудь основания не доверять Колосовскому?

— Я полагаю, товарищ батальонный комиссар, что логика тут может быть одна: человек, отец которого осужден советским судом на основе наших, советских законов, едва ли с такой уж охотой будет сражаться за эти законы, за наш строй. Во всяком случае, посылать такого человека во вражеский тыл...

— Ну, ну?

— Я ничего не сказал. Я только убежден, что не среди таких людей нужно искать подлинных, до конца преданных нашему делу патриотов.

— У вас, товарищ курсант, превратное понимание патриотизма, в корне ошибочное,— возразил Лещенко твердо.— Вы, видимо, полагаете, что патриотизм, это священное чувство, доступно только тем, к кому наша жизнь была повернута все время своей солнечной, своей самой щедрой стороной. Быть патриотом, когда жизнь тебя только по головке гладила,— это, конечно, хорошо. Но ты побудь вот в положении хотя бы того же Богдана Колосовского, когда сердце кровоточит, и с таким, кровью облитым сердцем сумей стать выше всех бед и обид!

— Вы так говорите, будто сам я недостаточно обладаю этим чувством.

— Нет, товарищ Павлущенко, я знаю, что, когда понадобится, вы тоже не пощадите себя для защиты того строя, который вам так много дал в жизни. Вы участник финской, теперь доброволец, ваш патриотизм вне всякого сомнения. Но вы должны понять меня, человека, который видел в жизни чуть-чуть больше, чем вы. Я знаю людей, которые, оказавшись по несчастью даже в заключении, не изменили своим убеждениям, не перестали быть ленинцами. Это прежде всего свидетельствует об огромной силе идей нашей партии. Колосовский тоже представляется мне таким человеком.

Сила убежденности чувствовалась в словах комиссара. Спартак сидел притихший, присмиревший. Вот он сказал тебе — гуманитарник... Подумай хорошенько. А что, ежели ты и в самом деле был несправедлив в своем недоверии, в предубежденности своей к Богдану? Что, если твоя линия в отношениях с людьми была действительно ошибочной и лишь теперь у тебя раскрываются на это глаза?

Связисты, проснувшись в своем углу, задымили цигарками и тоже завели разговор о судьбе ушедших в тыл к немцу. Один из них спросил комиссара:

— Если выполнят задание, товарищ комиссар... представите их к орденам?

Лещенко посмотрел в угол на связистов.

— Ордена их, может, где-то там сейчас кровью запекаются,— сердито ответил Лещенко и резко поднялся.

Подойдя к узкому подвальному окну, стал смотреть на ту сторону, за Рось, будто пытался увидеть сквозь заросли тальника своих разведчиков, и тропинки, по которым они идут, и тот далекий, облитый солнцем железнодорожный мост, который они пошли отбить у врага и уничтожить. День, белый день, а их нет, и можешь какие угодно делать предположения...

Стрельбы не было, и вдруг за рекой среди полуденной тишины громыхнул далекий, приглушенный расстоянием взрыв. Комиссар переглянулся с телефонистами, посмотрел на Павлущенку:

— Слыхали?

— Слыхал.

— То-то и оно.

У комиссара, видно, сразу отлегло на душе. Заходил по подвалу, взволнованный, просветлевший.

Наконец они из вражеского тыла подали первую весточку о себе. Мост взлетел на воздух. Моста больше нет! Но выйдут ли, вернутся ли они после этого? Ведь взрыв может означать и то, что разведчики живы, и совершенно противоположное — что их уже нет.

24

— Встать! Смирно! — гаркнул где-то у входа в подвал Гладун, и все, кто был в этот момент на КП, повскакивали и, вытянувшись, обратили взоры к двери. Последним вскочил на ноги майор Краснопольский.

По каменной лестнице, ведущей в подвал, спускался Девятый. Здоровый, широкоплечий, с волевым, скуластым лицом, местами в пятнах румянца как бы от мороза. Несмотря на жару, он был в кожаной куртке нараспашку, из-под которой виднелся крепко привинченный орден Красного Знамени; все знали —

орден у Девятого за финскую. Он значительно моложе Краснопольского, старого воина, участника гражданской. Однако разницы в возрасте в данном случае для Девятого, видимо, не существовало. Уставившись глазами на Краснопольского, который вытянулся перед ним, седой и взъерошенный после сна, с рубцом от чьей-то шинели на щеке, Девятый бесцеремонно набросился на него:

— Спите? Другие воюют, а вы дрыхнете?

Можно было возразить, что командир студбата прилег всего на часок после бессонной ночи и что впереди у него опять бессонная ночь, но сказать об этом Девятому означало вызвать еще большую бурю гнева и ругани, потому все промолчали.

Пройдя к окну, обращенному к реке, Девятый глянул туда, спросил, не возвратилась ли разведка.

— Разведчиков еще нет,— сказал комиссар Лещенко,— но думаем, что задание выполнено.

— Все думаете... Какие основания?

— Только что слышали оттуда огромной силы взрыв.

— Э, до черта теперь всяких взрывов! — махнул рукой Девятый, отходя от окна, и этим нетерпеливым резким движением как бы отбросил разведчиков куда-то в прошлое: о них, мол, и говорить больше не стоит.

Временно заменяя раненого командира полка, он теперь неистовствует вовсю.

— Не ударим лицом в грязь... Отомстим за командира... Надо только действовать, действовать! Хватит нам тут топтаться!..

Наступление. Перейти в наступление! — об этом он заговорил сейчас, широко шагая по подвалу, и только одно это владело теперь всеми его мыслями, на одно это была направлена вся его бурлящая энергия.

Приказал немедленно вызвать командиров рот и политруков — он сам объяснит им задачу, поднимет их боевой дух. Ходит из угла в угол этой каменной клетки КП, как лев, и все внушает Краснопольскому, что не так, мол, страшен черт, как его малюют, что

там за рекой немцев — кот наплакал, а когда командиры и политруки собрались, заполнив подвал, мощный бас Девятого зазвучал еще сильнее, и серые глаза его, глубоко притаившиеся под надбровными дугами, возбужденно засверкали, будто уже видели перед собою кипение боя и поверженных врагов. Да! Он переходит сейчас на этом участке в наступление. Приказывает немедленно готовить атаку! По его данным, враг отводит отсюда свои части, может быть, там, за рекой, вообще уже никого нет, а мы, как суслики, зарылись в землю и только прислушиваемся, как гудит на других участках война. Он уже размахивал картой, выхваченной из планшета, тыкал пальцем в какие-то пункты: захватим этот, захватим тот, и к вечеру распроклятый железнодорожный мост уже будет в наших руках. Мост, потерю которого до сих пор не может простить нам старший хозяин. Воспламеняя других, он распалялся и сам, видно было, что душа его искренне жаждет атаки, боя.

Спартак смотрел на Девятого с восторгом. Вот таких бы нам больше! Прощал ему и грубость и вспыльчивость, все прощал за эту железную волю, неукротимую жажду броситься на врага, смять его, победить.

— У вас там кто у переправы? — обратился Девятый к Краснопольскому.

— Третья курсантская.

— Вот и поднимите ее для начала.

Краснопольский попытался было возразить, что сейчас, мол, неподходящее время для атаки, к тому же без артподготовки, среди бела дня,— не лучше ли провести ночную атаку, чтобы избежать лишних потерь? Но все его доводы не поколебали Девятого.

— А вы думали как? — набросился он на майора.— Война — и чтобы без потерь?

С первого же дня, едва прибыли на рубеж, майор Краснопольский и комиссар Лещенко почувствовали какую-то необъяснимую неприязнь к себе и к своему батальону со стороны этого человека, который тем не менее мог теперь распоряжаться ими, их судьбой.

«А мы что, хуже?» — это были первые слова, какие услышали они от Девятого, узнавшего, что в полк

вливается батальон студентов-добровольцев. Девятому почему-то казалось, что командир и комиссар студбата претендуют на какое-то особое, исключительно бережное отношение к своим курсантам, поскольку все это люди, которые еще вчера сидели на студенческой скамье, а теперь вот по собственной воле сменили тишину аудиторий на фронтовой окоп. И хотя ни о каких привилегиях они вовсе не помышляли, Девятый, сам приписав им какие-то претензии, считал необходимым поскорее выбить из них несуществующий дух исключительности, подвергнуть их суровой закалке и жесточайшим испытаниям.

В боях, тяжелых, кровопролитных, полк потерял по дорогам отступления добрую половину личного состава. Подвергаясь с первых дней войны ударам моторизованных частей врага, зубами цепляясь за каждый рубеж, Девятый, насколько это было в его власти, не щадил бойцов, не щадил ни самого себя, ни ближайших помощников — а этих должен жалеть?

— Кто поведет?

Майора Краснопольского и комиссара Лещенко, которые тут же изъявили согласие, он будто бы и не услышал, отвернулся от них; командира роты — пожилого, узкогрудого лейтенанта из Чугуевских лагерей он тоже не услышал, и вдруг взгляд его упал на Павлущенку, который, вытянувшись в струнку, не мигая, смотрел на Девятого, исполненный восторга.

— Вы кто?

— Комсорг, товарищ подполковник...

— Вот вы, комсорг, и возглавите.

— Есть! — ответил Спартак, бледнея.

Гладун, затаившись у входа, видимо, молил сейчас всех богов, чтобы пронесли мимо него эту чашу, но боги не вняли его мольбам.

— А вы, старший сержант? Где ваша винтовка? — набросился на него Девятый.— Многовато вас тут болтается без дела! Тоже в атаку!

Через несколько минут Девятый с револьвером в руке уже стоял на самом солнцепеке под стеной исклеванного осколками дома возле шоссе, которое переходило в деревянный настил моста, перекинутого

через Рось. Комиссар Лещенко и комбат тоже стояли здесь, наблюдая, как из картофельной ботвы, из окопов, из садов выползают бойцы третьей роты, накапливаясь в кюветах для атаки. Их каски густо зеленели, тускло поблескивая, будто крупные арбузы.

Перед самой атакой Девятому доложили, что прибыло пополнение.

— Где оно? — крикнул он на поджарого капитана, который сообщил ему об этом.

— Вон там, в садах. Еще и окопаться не успели.

В глубине садов, под деревьями, группами расположились вновь прибывшие; где-то там была кухня, и у некоторых бойцов в руках дымились куски только что отваренного мяса.

— Не успели пороха понюхать и уже жрут? Сюда их!

Капитан на миг замялся.

— Это в основном приписники, колхозники, только что из военкоматов... У многих еще и винтовок нет.

— Винтовки добудут! Оружие в бою добывают! Ясно?! Сюда их!

Когда лейтенант побежал выполнять приказ, Девятый, обернувшись к Лещенке и Краснопольскому, бросил им укоризненно:

— Видите, сколько резервов? Людские резервы у нас неисчерпаемы, их только развороши!

Вскоре, пригибаясь в кюветах, к студбатовцам уже приближались бойцы из пополнения, удивленно, оторопело озирались по сторонам, доверчивые, послушные. У одного в руке была винтовка, у другого — граната, а у третьего и вовсе ничего не было, кроме горячего, только что полученного из походной кухни мосла, который он тут, на ходу, обгладывал...

Когда людей набралось в кюветах порядочно, Девятый крикнул:

— Вперед!

Бойцы один за другим начали медленно подниматься, направляясь кюветом к мосту. Впереди твердой походкой шли командир роты и Спартак Павлущенко.

Тишина горячего лета окутывала вербы за Росью, ни одного выстрела не раздавалось оттуда; казалось, и в самом деле никого нет на том зеленом берегу; казалось, война — всего-навсего мираж, чья-то злая выдумка, о ее реальности напоминал лишь тяжелый, тошнотворный запах с моста, где под палящими лучами солнца громоздились трупы.

Подходя к мосту, бойцы сначала пригибались, ожидая, что противник вот-вот откроет огонь, но все было тихо, и передние, осмелев, выпрямились и уже в полный рост, гурьбой, бросились на деревянный настил продырявленного снарядами, но еще крепкого моста. Затаив дыхание следили за ними сидевшие в окопах. Первые из атакующих уже приближались к середине моста, когда с противоположного берега по ним вдруг ударил длинной захлебывающейся очередью пулемет.

Мост, конечно, был хорошо пристрелян; из тальников справа и слева люто хлестал по нему перекрестный огонь, по шоссе трахнули первые мины.

Отсюда, из-за дома, где стоял Девятый, было видно, как падают на мосту атакующие, а те, что успели перебежать на ту сторону, спасаясь от шквального огня, скатываются под мост, пытаясь перебраться к своим по воде. Пальба, крики, кровь раненых... Девятый будто и не видел всего этого, он ловил взглядом лишь тех, кто укрывался в кюветах, видимо ожидая, что он отменит атаку, вернет всех назад.

«Зачем? Кому нужна эта бессмысленная атака?» — стоя возле Девятого, едва сдерживал себя комиссар Лещенко. Сердце его обливалось кровью от того, что творилось на мосту. Даже отсюда слышны были крики раненых, видно было, как бросаются они в воду, спасаясь от пуль и осколков, как то тут, то там уже выбираются из прибрежных зарослей назад, на берег...

Девятый не унимается.

— Вперед! Вперед! — размахивая револьвером, выкрикивает он, будто заклинание, тем, кто еще остался в кюветах.— Слышите: вперед!!

— Да что вы делаете? — не удержавшись, шагнул к нему комиссар Лещенко.— Прекратите эту мясорубку!

Девятый, оглянувшись, окинул его невидящим, помутневшим взглядом.

— Да, атака захлебнулась,— сказал он глухо, обращаясь к Краснопольскому.— Что, будем кончать?

Краснопольского передернуло от негодования, а Лещенко ответил резко:

— Этого не нужно было и начинать.

— Отставить атаку! — кинул Девятый упавшим голосом и, засунув револьвер в кобуру, медленно зашагал в глубину сада, словно бы и не слыша пуль, которые посвистывали над ним, не обращая внимания на мины, которые зло, яро кромсали шоссе.

25

Потом опять стало тихо.

Только груда неподвижных тел на мосту да следы крови всюду: на картофельной ботве, на камнях шоссе, а больше всего — на подворье возле КП, где на скорую руку был устроен перевязочный пункт. Раненых тут не задерживали. Как только обстрел прекратился, их сразу же стали направлять через сады в тыл, на окраину городка, откуда их должны были забрать грузовики.

А из тыла в направлении к передовой снова шли маршевики, двигались растянутыми колоннами; командиры, которые вели их, не разрешали нарушать строй, и лишь один брел сбоку: это был Духнович.

В медсанбат он так и не попал. Немного придя в себя у артиллеристов, Духнович счел невозможным искать убежища где-то в тылу. Он решил непременно разыскать своих и искал их с упорством, неожиданным даже для самого себя.

Уже в городке, пробираясь по кювету вдоль садов, Духнович встретил Гладуна. Это было невероятно: Гладун бежал навстречу, слепой от ужаса, бежал, пригнувшись (хотя тут и не стреляли), неестественно

выставив вперед руку, неумело обмотанную набухшими кровью тряпками. Духнович обрадовался ему, как родному. Помкомвзвода здесь — значит, где-то тут должен быть и родной студбат! И как ни натерпелся от Гладуна в лагере, все сейчас простил ему и готов был броситься на шею, как брату!

— Товарищ командир!

Гладун остановился перед ним, запыхавшийся, какой-то затравленный, с бледными дрожащими губами. Нельзя было понять, узнал ли он Духновича,— в одичавших, безумных глазах его сейчас горел страх.

— Грузовиков не встречал? Грузовиков с ранеными, а? Меня вот тоже ранило, осколком ранило! — бормотал он, выставляя руку в окровавленных тряпках.— У нас тут такое творилось! Ох, что творилось! — продолжал он, испуганно озираясь и переходя на доверительный тон.— Девятый среди бела дня на пулеметы погнал. Третьей роты небось и половины нету. Еще одна-другая атака — и всем нам хана! Только тот и спасется, кто ранен! Так грузовиков там с нашими не встречал?

— Не встречал.

Духнович все смотрел, как кровь капает и капает под ноги с Гладунова тряпья.

— А как думаешь, будут грузовики? — Гладун перешел почти на шепот.— Говорят, уже в клещах мы, Умань и Белую Церковь немец захватил, а ведь это рукой подать! На шее у нас веревочка — только затянуть!

Духнович глядел на него и не узнавал своего помкомвзвода. Гроза студбатовцев, да он ли стоит сейчас перед Духновичем, этот охваченный ужасом, затравленный человек?

Для Гладуна Духнович будто и не существовал. Он и не заметил, что перед ним курсант, на котором все, как в лагере, целехонькое: и противогаз, который другие уже давно бросили, и стеклянная фляжка в чехле, которую другие уже разбили,— все будто специально сохранено, чтобы только порадовать Гладуна, недавно выдавшего Духновичу это добро со строгим наказом беречь как зеницу ока. Но сейчас

Гладун был слеп ко всему, весь мир сосредоточился для него на раненой руке, на желтых с жесткими ногтями пальцах, деревянно торчавших из-под окровавленного тряпья,— он держал эту руку перед собой так бережно, как, наверное, первобытный человек держал последнюю тлеющую головешку.

— Теперь все,— хрипел он.— Теперь тут все ваши атаки без меня.

В этом своем животном страхе он был бы отвратителен сейчас Духновичу, если бы не эти капли человеческой крови, которые медленно и тяжело срывались в кювет, на бурьян.

Где-то далеко застрочил пулемет, и Гладун судорожно вздрогнул.

— Ну, я побежал!

Духнович задержал его:

— Обождите! Где же наши? Студбат наш где?

— Дуй прямо и прямо, их не минуешь,— забормотал Гладун скороговоркой и, уже оставляя Духновича, вдруг глянул просветленным взглядом, кажется, только теперь сообразив, кого видит перед собой.

— Мы думали, ты за Днепром где-нибудь, в госпитале, на белых подушках... Не вышло, значит, а?

И, не дожидаясь ответа, втянув голову в плечи, что есть духу побежал куда-то в сады.

Духнович еще некоторое время постоял, сумрачно разглядывая закапанный кровью Гладуна стебель травы. Потом поправил на себе скатку, ремень винтовки и, прихрамывая, зашагал дальше.

Студбатовцы первыми заметили его. Было предвечернее затишье, и они, выглядывая из окопов, еще издали увидели, что по обочине, вдоль садов, одиноко пробирается человек, очень похожий на их Духновича. Ей-же-ей, это он, их факультетский Сковорода, ковыляет, идет воевать! Было странно, удивительно видеть Духновича тут, на передовой, когда все уже думали, что он для войны списан, не существует. И все-таки это был он, рыжий и конопатый Духнович, это он, сутулясь и прихрамывая, шагал навстречу войне, по-журавлиному вытянув вперед свою худую, жи-

листую шею, которая, казалось, еле выдерживает стальную тяжесть каски.

— Эй! Курсант Духнович!

Духнович растерянно оглянулся, не сразу сообразив, откуда этот голос.

— Сюда заворачивай! — громко кричал из своего окопа Степура, и Духнович в полный рост заспешил через картофельное поле к Степуре.

— Пригнись! Пригнись, дурень,— закричали на него какие-то уже незнакомые голоса.— Это тебе не парк культуры и отдыха. Здесь сразу причастят!

Подстегиваемый криками, Духнович поспешно нырнул к Степуре в окоп.

— Откуда ты взялся? — обрадованно рассматривал Степура его веснушчатое, раскрасневшееся от ходьбы лицо.— Как нога?

— Порядок. Народная медицина помогла.

— Знахарка какая-нибудь подлечила?

— Нет, артиллерист штыком проколол. Оперировал в настоящих, так сказать, полевых условиях... А потом еще и траву какую-то приложил...

Из ближних окопов приползли свои, университетские — заросшие, измазанные, только глаза блестят. Заметно похудели все, у Мороза еще больше скулы выпирают. Легли вокруг окопа, глядят на Духновича, с удивлением рассматривают его курсантскую амуницию, которая на нем в столь образцовом порядке.

— Гладун бы похвалил.

— А я его только что встретил. Раненый бежал.

— Раненый? Разве и он ходил в атаку? — Степура недоуменно глянул на Мороза и Подмогильного.

— Не знаю,— сказал Мороз.— Во всяком случае, среди первых его не видно было.

— Зато наш Спартак сегодня геройски вел себя,— отозвался Подмогильный.

— У нас тут ад сегодня... Хорошо, что ты не застал...— взволнованно начал рассказывать Степура Духновичу об атаке.— Видишь, вон куча тел на мосту? Если бы не комиссар Лещенко, то и мы, наверное, лежали бы там.

— Девятый тут такой у нас есть — настоящий са-

модур,— заговорил Мороз, а Лагутин, который только что подполз к ним из картофельной ботвы, громко объявил:

— Считайте, звезда Девятого закатилась.

Хлопцы посмотрели на Лагутина с удивлением:

— Что ты хочешь этим сказать?

— То, что сказал. Я сейчас с перевязочного, отправлял Яланского из геофака — он сам не добрался бы. Как раз там при мне на Девятого корпусной комиссар налетел. Ох, и давал же он ему за эту бессмысленную атаку!.. Так что Девятый свое, кажется, откомандовал.

— Но тех не поднимешь,— кивнул в сторону моста Степура.

— Аспирант Черный убит, литфаковец Скиба здорово покалечен,— глухо повествовал Духновичу Подмогильный.

— А Дробаху потеряли еще в тот день, когда ты отстал,— сказал Мороз.— Во ржи, среди открытого поля накрыло нас.

Духновича эти вести все больше подавляли.

— А где же Богдан, почему его не видно? — с тревогой спросил он и заметил, как хлопцы сразу нахмурились.

— Богдан там,— махнул Степура за Рось.— Еще ночью пошел в разведку и до сих пор нет.

Степура стоял понурый; ребята, нависая касками над его окопом, тоже мрачно молчали.

— А ну, что там за сборище? — послышался резкий голос командира роты откуда-то из-за яблонь.— Марш по окопам!

Через минуту Степура и Духнович остались одни.

— Нечем тебя и угостить,— оправдывался, шаря в окопе, Степура.— На вот хотя сахарку поешь.

Достав из ниши, он подал Духновичу котелок, наполненный желтоватым влажным сахаром-песком.

Духнович присел, стал послушно жевать. Степура тем временем показывал ему свое нехитрое окопное хозяйство.

— Вот в этой нише гранаты, чтоб ты знал, а эта — продуктовая, а в этой — бутылки с горючей смесью...

— А я гляжу, что это там за кучи темных бутылок в садах...

— Только сегодня привезли.

Взяв из ниши одну бутылку с тяжелой темно-бурой жидкостью, Степура встряхнул ее и стал рассматривать на солнце.

— С этим навоюешь... Разве что поймаешь фашиста да в горло ему нальешь.

— Мне тоже выдадут? — спросил Духнович.

— А их тут хватит. Видишь, целая батарея. Только бы не промахнулся...

Из-за реки громко ударил немецкий пулемет. Духнович, бросив котелок, вскочил, удивленный:

— О, да они тут совсем близко!

— А ты думал... Только Рось и разделяет.

Им были видны старый деревянный мост, заваленный трупами, роскошная зелень противоположного берега, густые вербы, облитые красноватым предзакатным солнцем. Где-то там притаились вражеские пулеметы, минометы, готовые в любую секунду ударить огнем.

— Представляешь, ведь надо же пройти туда, а потом выбраться оттуда,— заговорил Степура, глядя далеко за речку, и Духнович догадался, что он имеет в виду разведку, с которой пошел Богдан.— Всем несладко, но им горше всех.

— Богдану всегда выпадает самое трудное.

— Выпадает, потому что сам ищет.

То, что их друг первым из всего студбата взял на себя самое опасное задание, Духновича и Степуру нисколько не удивляло, они хорошо знали Богдана. Но чем это кончится? Жив ли он там или его уже нет? Отбивается где-нибудь с оружием в руках или, быть может, уже терзают его фашистские палачи, добиваясь сведений, которых он им никогда не даст? Они уверены в нем, его друзья. Три года Богдан был душой их университетской дружбы. Родной университет не представлялся им без Богдана, как не представлялась им без него Таня, озорная, веселая его спутница. Как она будет без него? Никто ей никогда не заменит Богдана. А легко ли им самим потерять

такого друга! Немного замкнутый, временами угрюмый, он сближался далеко не с каждым, но те, кто дружил с ним, хорошо знали его глубокое и чистое сердце.

— Я жалею только,— глухо произнес Степура,— что не удалось пойти с ним вместе. Большое дело, когда в трудную минуту возле тебя верный товарищ...

— Может, еще вернется,— с надеждой сказал Духнович.— А когда возвратится, знаешь что, Андрей... Давайте так, чтобы не разлучаться. Конечно, вам от меня пользы немного, этот вечный неудачник Духнович всегда был для вас лишь обузой...

— Да брось ты! — прервал его Степура.

— Но и я же не пропащий,— продолжал Духнович.— Я вот, пока разыскивал вас, о многом передумал... Какие люди есть, Андрей, на свете! Встретишь такого, и на душе — праздник...

26

Ночью война с ее опасностями проявляет себя еще более зримо, возникая в образе ракетной метели и зловещих багрово-красных сполохов по горизонту. Пожары видны уже не только за Росью, но далеко слева и справа и даже где-то позади полыхают, смыкаясь огромным огненным кольцом. Смотришь на зарева, на огни ракет повсюду и впрямь начинаешь верить слухам о надвигающейся угрозе быть отрезанными от днепровских переправ.

На горизонте пожары, а в садах над Росью темно, как в яме, только ракета время от времени вспыхнет над вербами мертвенным пламенем да полоска воды сверкнет перед настороженным взором тех, чьи окопы у самого берега.

Как и в прошлую ночь, опять посылали бойцов вытаскивать убитых с моста и с берега по-над Росью. К мосту противник не подпустил, сразу же отсек путь пулеметами, осветил ракетами, как днем. А подальше от моста удалось пробраться до самой воды. Сре-

ди тех, кто неслышно крался в прибрежных зарослях, были и Степура с Духновичем. Под покровом темноты они вытащили из воды неизвестного, у которого руки были уже негнущиеся, отвердевшие, точно из мрамора. Даже не разглядев, какой он, оттащили в картофельное поле, торопливо засыпали в пустом полуобвалившемся окопе.

Возня с трупом кончилась тем, что Духновичу стало плохо. Когда они вернулись к себе, его начало тяжко тошнить, выворачивать, и руки его, как он уверял, теперь «отдают смертью», как тщательно ни оттирал он их землей и листьями.

— Это нервы, это пройдет,— успокаивал его Степура, когда тот судорожно корчился, а потом, обессиленный, распластался ничком возле окопа.

— Это не пройдет, никогда не пройдет,— заговорил Духнович, когда ему стало немного легче.— Та рука, тот лоб, которого я нечаянно коснулся... Кто он? Зарыли, а что мы знаем о нем? И медальона-то не было...

— Чей-то отец. Чей-то сын,— в раздумье говорил Степура.— Еще один боец или командир.

— Не только это, не только! — нервно возразил Духнович.— Нечто большее пытаются уничтожить, разрушить, убить! Властелина планеты, высочайшее создание природы, самое мудрое из всего, что только есть во вселенной!

Услышали, как кто-то ползет к их окопу. Подполз, заглянул:

— Браточки, винтовки лишней нету?

— Тебе что здесь, склад? — вроде бы беспричинно вызверился на него Степура.

— Да, может, лишняя. Мы из пополнения. Обменялись бы... У нас бутылки есть горючие...

— Свои имеем,— буркнул Степура сердито, и тот пополз дальше, к другим окопам, уже где-то там спрашивая, нету ли винтовки лишней.

Ночь была темная, небо вызвездило, раскинулось над садами, над фронтом широкой полосой древнего Чумацкого шляха — Млечного Пути.

Степура и Духнович, сняв каски, чтоб отдохнула голова, сидели в окопе, упершись коленями друг в друга; сидели, на небо смотрели. Из окопа оно казалось особенно звездным. Гроздья созвездий, мерцание светлой пороши неведомых галактик...

— Вот такое же звездное небо,— размышлял вслух Степура,— было и над Гёте, и над Коперником, и над философами и поэтами Эллады. Люди менялись, поколения за поколениями проходили, а оно было все таким же, мерцало и мерцало звездами, как вечность...

— Мерцало-то мерцало,— заметил Духнович,— видело много, но никогда, похоже, не видало оно столько пожаров на земле, столько крови, столько преждевременно оборванных жизней людских...

— Да, теперь насмотрится...

Где-то над Росью в небо взметнулись ракеты противника — даже в окопе стало светлее.

Степура поднялся. Его не покидала тревога за Богдана. Каждая ракета над Росью, казалось, преследует где-то там Богдана, каждый пулемет, что вдруг гулко вспарывает темноту, казалось, бьет по разведчикам.

На душе становилось все тоскливее, пока — где-то уже за полночь — над окопами не прозвучал вдруг знакомый голос сержанта Цоберябого:

— Где тут мой Корчма? Живой ли ты, Корчма? Живы ли да здоровы родичи гарбузовы?

А через минуту в Степурином окопе стоял и Богдан Колосовский, мокрый, пахнущий болотом, будто целый день торчал в нем.

— Выбрался? — обнял его Степура.— Рассказывай же!

Присев в окопе, Богдан, к удивлению Духновича, свернул толстенную цигарку, жадно затянулся махорочным дымом. Молчал. Что он им расскажет? Как из семнадцати их осталось пятеро? Ценою жизни товарищей они все-таки удержали мост до прихода саперов, удержали, пока те не подготовили взрыва, и только тогда отошли. Видели, как разламывается окутанная облаком взрыва серебристая их радуга, как где-то

у самого солнца разлетаются разорванные взрывом фермы.

Противник вначале был ошеломлен этим огромной силы взрывом, но вскоре опомнился, начал преследование. То было пострашнее самого боя. Разведчики чувствовали себя дичью, за которой гонятся охотники, которую разыскивают и вот-вот найдут. До вечера скрывались в камышах, погрузившись в теплую, кишащую лягушатами воду. Бег времени словно бы остановился для них. День казался вечностью, но в конце концов все же наступила ночь и вывела их куда нужно, и вот через сутки они снова вышли к подвалу КП. Возвращая Колосовскому комсомольский билет, комиссар Лещенко крепко пожал ему руку.

Успешно выполненное задание было бы для Богдана самой большой радостью, если бы все семнадцать разведчиков возвратились оттуда, если бы не оставили навсегда у того моста стольких товарищей, политрука Панюшкина, от которого перешел в наследство Богдану этот черный трофейный автомат, что висит у него сейчас на груди.

— Дружище, что же ты молчишь? — ласково тряхнул Богдана за плечо Духнович.

— В другой раз. В другой раз все расскажу,— сказал Богдан, выбираясь из окопа.— А сейчас пойду — глаза прямо слипаются. До смерти устал.

И через минуту он уже исчез в темноте.

27

Ощущать в окопе рядом с собой живую душу — истинное счастье. Может быть, нигде, ни в каком другом месте не сможешь так глубоко, по-настоящему оценить человека, друга, как тут. После блуждания по дорогам, после того неопределенного положения, когда Духнович словно бы болтался где-то между фронтом и тылом, окоп Степуры казался ему сейчас таким уютным, таким надежным. Хорошо здесь, спокойно. Земля, правда, за воротник сыплется, и ноги немеют, нельзя их выпрямить, но и теснота тут не в тесноту;

кажется, никогда Духновичу не было так просторно, как сейчас; по совету Степуры прилег на дне окопа, с головой закутавшись в раскатанную, наконец, шинель, отгородившись ею от всего тревожного мира. Впереди ночь, свободная от всяких забот, несколько часов отдыха — Степура настоял на своем и первым заступил на пост. Вот он насторожился в углу окопа, зоркий, недремлющий, а Духнович, согнувшись внизу, подложив под голову каску вместо подушки, может свободно предаться самым сладким воспоминаниям, подумать, поспать. Не беда, что тело как на прокрустовом ложе, важно, что в душе — простор и легкость, удивительная какая-то, почти детская безмятежность. Как все относительно в мире! Дивным, сказочным дворцом может стать для человека обыкновенный, тесный фронтовой окоп. Только вот на сколько дней и ночей будет он для тебя жильем и крепостью?..

С этими мыслями Духнович и уснул.

Когда засыпал, вокруг было совсем тихо, лишь кое-где за Росью срывались выстрелы, а вверху, где-то у застывших звезд, ветерок слегка покачивал ветви деревьев. А когда Степура разбудил его, с силой тормоша за плечо — «вставай! вставай!» — Духнович, очнувшись, увидел нечто фантастическое: огненный метеоритный дождь с шипением бушевал вокруг. Все было невероятным, ошеломляющим со сна — и ночь, и гомон людей, и всплески ракет, и этот дождь метеоритный, пока Духнович сообразил, что это трассирующими бьют по садам.

Из темноты, из-за реки, доносился непонятный грохот.

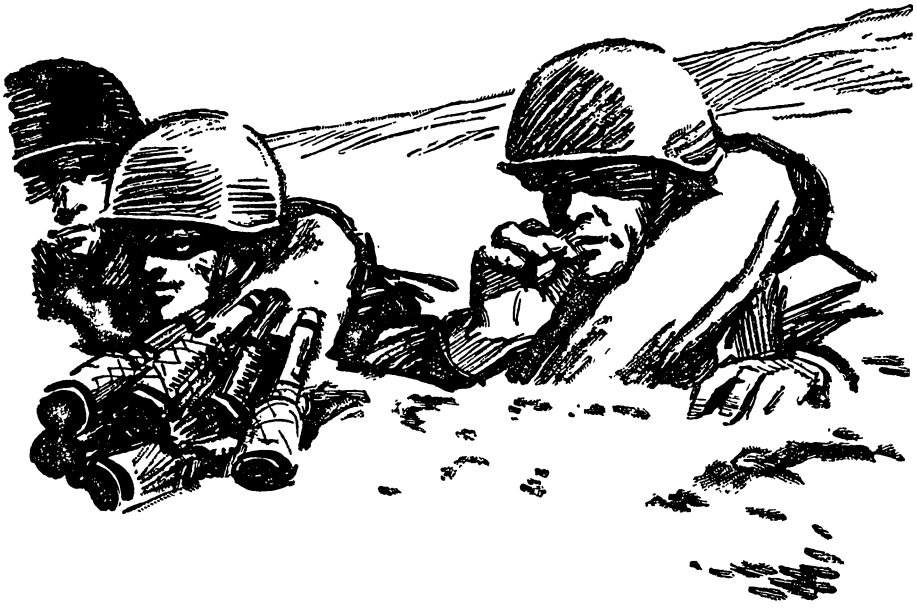
— Танки за речкой! — закричал кто-то от берега.

— Танки! Танки! К мосту идут!

— Без паники! Товарищи, без паники! — послышалось над окопами, и студбатовцы узнали напряженно-спокойный голос комиссара Лещенко.— Гранаты, бутылки у всех есть?

— Есть! Есть!

— Забирайте — и к мосту! Командиры, ведите людей!



Возня в садах, редкие окрики командиров, которые собирают в темноте своих бойцов, а за рекой — гул, гул...

Степура, выхватывая из ниши гранаты, бутылки, сунул бутылку и Духновичу.

— Бери! Бежим!

Пригибаясь под перекрестным ливнем трассирующих пуль, через окопы, через картофельное поле бросились бежать туда, куда бежали все: к речке, к мосту.

Грохот за Росью нарастал. Небо над вербами заметно побледнело — начало светать.

В кюветах возле моста было уже полно людей.

— Ложись, ложись! — кричали командиры тем, кто подбегал, и Духнович со Степурой тоже упали, как и остальные,— головой к шоссе.

Лежали тут, плотно прижавшись друг к другу, студбатовцы и незнакомые,— видно, кадровики и резервисты; в предрассветной мгле лица их под касками были серые. Опершись подбородками на холодные

камни шоссе, бойцы всматривались куда-то за реку. Духнович тоже высунулся и увидел по обе стороны шоссе, в кюветах, множество касок, множество человеческих голов, которые тускло поблескивали до самого моста и даже за мостом — и там сновали человеческие фигуры, копошились у самого берега,— должно быть, какие-то смельчаки уже успели перебраться низом на ту сторону.

На том берегу росистые заросли верб были еще полны темноты, таинственности — оттуда из уходившего в глубь зарослей шоссе все слышнее надвигался тяжелый, грозный грохот.

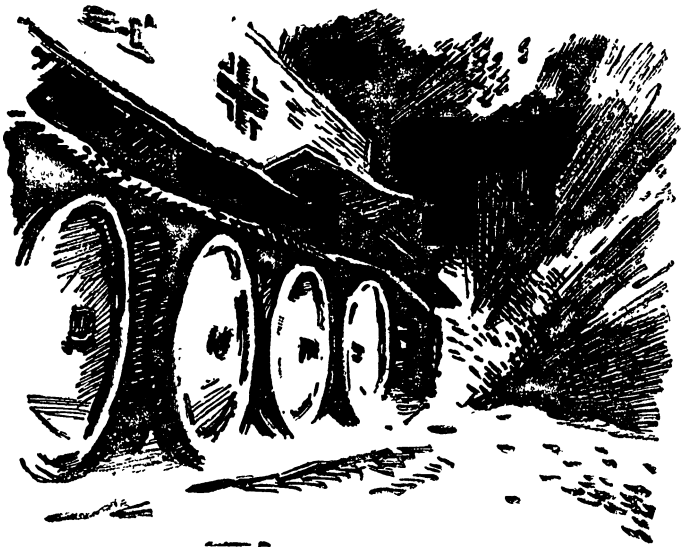
Духнович почувствовал, как дрожь побежала по всему телу. Почему он дрожит? Потому ли, что прохладой тянет от речки и остывших за ночь камней шоссе? Или бросает его в дрожь вот этот грохот, который медленно, неотвратимо надвигается и от которого содрогается все заречье?.. «Но ведь я же не боюсь! — страстно убеждает он себя.— Мне не страшно, не страшно! Это, видимо, и есть то мгновение, когда даже самый обыкновенный, самый невоенный человек и тот обретает силы на решительный поступок!..» Он чувствовал себя частицей этого застывшего в напряжении коллектива, и ему радостно было вдруг открыть, что он тоже не трус, и найти в себе уверенность, что он не отступит с этого места, не утратит самообладания, не падет ниц перед надвигавшейся на них черной силой. То надвигался фашизм, его вероломство, кровавая жестокость, дикость. Был в том грохоте сейчас для Духновича и лейпцигский процесс, и окровавленная Испания, и растоптанная Чехия, надвигались из-за плакучих верб истребление, надругательства, смерть миллионов людей на Западе и тут, на земле его Родины. Все это будет, если ты отступишь, не уничтожишь!..

Взгляд его упал на бутылку, которая маслянисто лоснилась, крепко зажатая в руках Степуры. Посмотрел на свою и тоже крепко сжал ее и, сжимая, как бы ощутил весь заключенный в ней огонь.

— Вот он уже! — сказал кто-то.— Выползает!

Пепельно-серое, скрежещущее чудище появилось из густой тени верб, вырвалось из сумрака чащобы, будто из далеких веков, откуда-то из кайнозойской эры.

Фронт молчал, стрельбы не было, был только скрежет железа о камни, скрежет, который накатывался грозно, неумолимо.



— Приготовиться! — услышал Духнович неподалеку от себя юношеский голос командира взвода. А через минуту где-то уже возле моста прозвучал на высокой звенящей ноте голос комбата Краснопольского:

— За мной! В атаку! Вперед!

И все, вскочив, бросились из кюветов на мост.

Пули разрывали воздух, настил моста грохотал под ногами, а люди летели вперед, навстречу переднему лязгающему танку, и Духнович тоже бежал вместе с другими, спотыкаясь о падавших, бежал, что-то крича, забыв о страхе, желая лишь одного —

добежать до фашистского танка и швырнуть в него огонь, зажатый в руке.

Какого-то бойца впереди Духновича охватило вдруг пламенем,— видимо, пуля попала в бутылку, и он, как живой костер, бежал еще дальше, пока кто-то не столкнул его с моста в воду. Будто на вулкан во-

рвались они — такой стоял тут грохот; передние уже сошлись с танком в смертельном поединке, видно было, как летят в него бутылки, бьют в башню, в борта, а он, окутываясь текучим пламенем, все ползет дальше на мост, блестя гусеницами. Стальная, наползающая гора была уже совсем близко, Духнович уже слышал смрадное дыхание горящего мазута, железа и краски, видел, как струящееся пламя ползет, обтекает башню, а бутылки все летят туда, плещут огнем на

танке, и Духнович, боясь только одного — как бы не промахнуться,— швырнул и свою бутылку туда. Ударившись о башню, она лопнула легко, как ампула.

«Попал! Не промазал!» — радостно замерло сердце, и в этот миг будто кто камнем ударил его в ногу. Духнович почувствовал, что падает. Инстинкт самосохранения дал силу и цепкость его рукам, и скоро он был уже под мостом, запыхавшись, спускался куда-то вниз по стропилам. Тут все уже было облеплено людьми; они лазили в полумраке — одни торопились куда-то, другие делали передышку, ухватившись руками за металлические скобы, за стропила, за почерневшие от времени перекладины. Духнович, чтобы перевести дух, тоже приник к одной из таких перекладин. Наверху еще все содрогалось, ходило ходуном, оттуда летели куски пламени,— видно, танк как раз проходил по мосту на ту сторону. Тот ли это, который горел, который подожгли, или уже другой,— только он прогромыхал, за ним снова грохот и снова куски пламени. Танки проходят. Их не остановили! Сквозь горящие бутылки, сквозь гранаты прорываются, сквозь всю отвагу и мужество их студбата! Кричать хотелось Духновичу от своей неспособности остановить врага.

Пробираясь между стропилами все ниже, Духнович в предрассветном сумраке узнал студбатовца Чирву. Ухватившись за скобу, тот висел, будто подвешенный где-то в застенках инквизиции, хотел, видимо, прыгнуть вниз, но боялся напороться в воде на сваю.

— Прыгай, прыгай! — крикнул ему кто-то внизу, и он прыгнул, а за ним плюхнулся в воду и Духнович.

Воды было по грудь, и она сразу же стала красной вокруг них, красной от крови.

— Тебя куда? — Чирва посмотрел на Духновича.

— В ногу, выше колена!

— А мне, кажись, ребро повредило... И все же мы его подбили! Это ж он горит!

Барахтаясь в воде, пробираясь к своему берегу, они увидели неподвижную глыбу пылающего танка. Рядом с ним, выглядывая башней из кювета, горел черным

пламенем другой. А там, где тянулась их оборона, шел бой с третьим танком. Огромный, еще не подбитый, с черно-белым крестом на борту, он ходил по окопам, ломал деревья, а на него отовсюду из земли летели бутылки, лопались от удара, разбрызгивая желтое пламя, пока и этот наконец не вспыхнул; люк его тогда открылся, и из него показались поднятые костлявые руки фашиста.

Пройдет время, немецкие военные историки будут исследовать эти дни. Они напишут, что внезапные дожди помешали их танкам быстро овладеть Уманью, Белой Церковью, но мы-то будем знать, что не о дождях пойдет речь,— это будет сказано о тебе, пехота с бутылками горючей смеси, о тебе, небольшой курсантский студбат, о всех вас, кадровики и резервисты, известные и безвестные подвижники сорок первого года, кто насмерть стоял на пылающих своих рубежах.

28

В бой с фашистскими танками вскоре вступила артиллерия, спешно переброшенная на поддержку. Снаряды один за другим с шипением полетели над шоссе в направлении моста. Артиллеристы били прямой наводкой, в лоб фашистскому танку, который, выбравшись из верб, вздыбился перед самым мостом, уже пылающим, полуобвалившимся. Танк, видимо, был подбит, потому что он так и остался на месте, открыв, однако, бешеный орудийный огонь.

Теперь, когда дорога танкам на эту сторону была отрезана, противник обрушил на позиции студенческого батальона шквал минометного огня. Затрещали сады, черно стало от поднятой взрывами земли, горячий свист осколков не затихал. Казалось, даже металл, летящий сюда, начинен злобой,— так свирепо рыли мины картофельное поле, разрушенные танком окопы, с такой яростью вгрызались в деревья, в камень шоссе.

Многим из тех, кто уцелел в бою с танками, теперь суждено было пасть в этом неравном поединке с ливнем горячего, непрерывно воющего в воздухе металла.

Студбат истекал кровью. У берегов Роси, в садах, в окопах — всюду слышался стон раненых. Не от солнца, выглянувшего из-за верб, а от крови багровели в это утро чистые воды Роси.

По глубоким кюветам вдоль шоссе отползают в тыл те, кто еще может двигаться. Строители-дорожники, задолго до войны проложившие это шоссе, рывшие вдоль него глубокие кюветы,— думали ли они тогда, для скольких людей станут однажды эти придорожные канавы местом спасения, сколько раненых проползет здесь? Ползли студенты, ползли старослужащие, ползли вчерашние маршевики — колхозники из здешних районов, которые, быть может, еще совсем недавно мчались по этому шоссе на грузовиках со знаменами, с песнями, торопясь в райцентр на какой-нибудь свой колхозный праздник.

Духнович тоже полз, с трудом работая локтями, волоча за собой отяжелевшую раненую ногу. Все сильнее горела рана, которой он еще не видел. Видел лишь свежую кровь тех, кто полз впереди; крови было столько, что она алела лужами на дне кювета — земля не успевала впитывать ее. Впереди Духновича кто-то, пригнувшись, тащил на спине тяжело раненного Лагутина. Безжизненный, с раскрытым ртом, рука болтается... Слышно было, как он непрерывно стонет глубоким стоном. Духнович не мог узнать, кто именно выносил Лагутина из боя, и только когда они выбрались из зоны ожесточенного обстрела и остановились передохнуть, Духнович увидел Степуру, мокрого, в грязи. Гимнастерка, брюки его были в крови — то ли своей, то ли Лагутина. Тот лежал возле — бледный, с закатившимися глазами.

— Порвало ему и грудь и живот,— кивнув на Лагутина, сказал Степура Духновичу.— Я нашел его уже в беспамятстве... А тебя в ногу? Мне тоже вот и в ногу и в плечи — осколки, что ли... Но где же перевязочная? Замучится он...

— Давай его сюда,— подползая к ним с плащ-палаткой, предложил сержант Грицай из второй роты.

Лагутин заревел от боли, когда они укладывали его на палатку. Потащили по кювету дальше.

Духнович тем временем решил снять сапог, освободить раненую ногу: ему казалось, что так будет легче. Пока он стаскивал с себя мокрый сапог, возле него уже остановилось несколько бойцов, которые, видимо, относили кого-то из тяжелораненых к месту перевязки, а теперь снова возвращались на передовую. Один из них — резервист — был без винтовки и пристал к Духновичу, чтобы тот отдал ему свою десятизарядку.

— Вон какая новенькая, небось ни разу и не выстрелила...

— Но как же я без винтовки явлюсь?!

— Раненому можно. Это если бы так бросил...

Духнович, поколебавшись, передал винтовку и даже отстегнул от ремня брезентовый, туго набитый патронами подсумок. Обоймы были еще в смазке, чистые, без единого пятнышка ржавчины.

— На, забирай все.

Другой боец — светлоглазый, набычившийся, нахмурив лоб, молча разглядывал сапог Духновича. Портянку, набрякшую кровью и водой, он уже вытряхнул из голенища.

Подоспевший откуда-то усатый санитар распорол на Духновиче штанину, стал осматривать рану, которая показалась ему неопасной: порвало мякоть выше колена, но кость, видимо, не зацепило. Санитар на скорую руку стал накладывать повязку, а боец, завладевший сапогом, все вертел его, разминал в руках, пробовал даже вывернуть голенище и посмотреть, какая на нем подклейка. Боец был в старых ботинках с обмотками, и поэтому добротная кожа курсантского сапога прямо-таки приворожила его, и он, завладев правым, потянулся теперь и к левому:

— Дозволь, браток, и этот.

— Живого хочешь разуть? — пристыдил его санитар.

— А на кой ему? — нисколько не смутился тот.— В госпитале в тапочках будет прогуливаться,— и снова пристал к Духновичу: — Так дозволь, а?

Жадность его была Духновичу противна, однако он не стал возражать, сам протянул к нему ногу:

— Ладно, тащи, забирай...

В самом деле, что ему сапог, когда он душу готов был сейчас отдать всем этим людям, остающимся тут. Одну ночь он переночевал в окопе, одну бутылку швырнул в атаке, и его повезут уже в тыл, а они, сражавшиеся тут, видно, задолго до него, остаются и дальше, и кто знает, какие еще выпадут на их долю испытания.

Корчма, однако, захотел быть справедливым: взамен стянутых с Духновича курсантских сапог отдал ему свои ботинки с обмотками. Связал их и сам накинул Духновичу на шею:

— Носи да вспоминай, браток...

Босиком ползти было легче. В садах и возле домов слышался гомон, в одном месте артиллеристы на руках перекатывали через дорогу замаскированную зелеными ветками пушку. Среди тех, кто толкал ее, Духнович увидел и своего друга Решетняка, радостно окликнул его. Артиллерист, оглянувшись, сразу узнал своего пациента.

— О, уже колупнуло?

— Уже.

— Ну и молодцы ваши студенты! Показали себя нынче.

И, склонившись к зеленым ветвям маскировки, Решетняк снова приналег плечом, покатил вместе с товарищами пушку дальше. Духновичу еще некоторое время видно было, как работают под промокшей гимнастеркой его широкие лопатки.

На окраине села, в садах, где раненые ждали машин, было людно, шумно. Людей тут как снопов, кровавых снопов. «И это только один бой!» — ужаснулся Духнович, очутившись здесь. Всюду видел он вокруг себя искалеченных людей. Одних еще только перевязывают, другие, уже перевязанные, устало лежали на

окровавленных шинелях, в пропитанных кровью бинтах, кое-кто без гимнастерок, кое-кто, как и он, босиком. Те стонут, те дремлют, те, собравшись группками, разговаривают о только что прошедшем бое: кто где был, кто кого видел, кто какой смертью умирал.

У колодца с журавлем толпятся бойцы. Пьют — не напьются, журавль все скрипит. Подобрав палку и опираясь на нее, Духнович тоже заковылял к колодцу.

— Мороза при мне убило,— услышал он в толпе раненых.— Уже на воде осколок его догнал, на дно Роси пошел наш Мороз.

— А Подмогильного — я сам видел — раненого потащило гусеницами под танк...

— А Борисова в окопе приутюжило, но откопали — живой...

— А где Химочка? Где Бутенко? Где Колосовский?

— Колосовского за рекой видели. Он еще до начала боя вброд пошел с отделением навстречу танкам, из засады их бил...

— Ох, выскочил ли оттуда?

— Жив он, ваш Колосовский! — пробираясь к бадье с водой, сказал географ Щербань, до неузнаваемости почерневший, будто задымленный.— Я вот только что от КП, видел его там... В голову чиркнуло слегка. Просил у комиссара разрешения остаться...

«Это на него похоже»,— подумал Духнович.

Раненые все прибывали. Большинство, как и Духнович, добирались сюда сами, а тяжелораненых санитары доставляли на носилках, приводили под руки, обмякших, обескровленных, и укладывали тут, в садах, ждать грузовиков.

Грузовиков не было, и никто не знал, когда они будут. Кто-то пустил слух, что едва ли придут они сюда до ночи; днем проехать по шоссе почти невозможно — накануне колонна грузовиков с ранеными попала под бомбежку, и многие из тех, кто выехал отсюда живым, так и не добрались до Днепра.

Протолкавшись наконец к деревянной бадье, что стояла на залитом срубе колодца, Духнович вдоволь напился студеной ключевой воды и словно бы стал здоровее от этого. Опираясь на палку, он снова заковылял по саду и вскоре разыскал среди раненых Степуру. Уже с перебинтованными ногами, Степура сидел неподалеку от колодца на поваленном плетне и время от времени отгонял зеленой веткой мух, роившихся над Лагутиным. Славик лежал перед ним на разостланной шинели почти голый, полосы бинтов перетянули в разных местах и ноги его, и грудь, и живот. Духновича поразила холодная сероватая бледность его лица. Глаза были закрыты, он тяжело дышал, и кровавая пена с каждым выдохом пузырилась в уголках губ.

Духнович сел рядом со Степурой. Молчали. Слышно было, как в груди и горле у Лагутина что-то все время клокочет.

Скрипел и скрипел журавль у колодца, где бойцы доставали воду тяжелой бадьей, зеленели сады вокруг, краснели вишни, и солнце, поднявшись, светило ярко, пятна света и теней от листьев лежали на бронзовом от весеннего загара, обнаженном теле Лагутина. И так противоестественны были среди этих буйных садов, под щедрым июльским солнцем искалеченные люди, вчера еще здоровые, цветущие, и обессиленное, изуродованное тело товарища, стройное юношеское тело античной красоты... Выживет ли он, их Славка? Нальется ли когда-нибудь это прекрасное тело прежней силой, обретет ли вновь ту пружинность, с которой так легко и красиво крутил Лагутин «солнце» на турнике в университетском спортзале?

— Хотя бы скорее вывезти его отсюда,— удобнее поправляя под головой Лагутина свернутую клубком гимнастерку, заговорил Степура.— Я думаю, таких заберут в первую очередь.

— Ему бы теперь быть на операционном столе,— сказал Духнович.— Слышишь, как дышит?.. Осколком легкие порвало.

— Он воды просил, только нельзя ему.

— Нельзя. Где ты его подобрал?

— У моста, чуть ли не из-под танка выхватил. Он был уже без сознания, и гимнастерка на нем тлела... На руках у меня пришел в себя, сказал что-то, а потом снова...

Сами того не замечая, говорили о Славике так, будто его не было здесь. Да он и в самом деле не приходил в сознание. Иногда его омертвевшие, в синих прожилках веки тяжело размыкались, но отрешенным был взгляд закатившихся глаз.

С рукой на перевязи подошел, улыбаясь, студбатовец Бондарь.

— Видите вон ту хату? — кивнул он хлопцам в глубину сада.— Там сейчас трибунал заседает. Твоего друга, Духнович, судят.

Духнович не понял:

— Какого друга?

— Гладун там, наш лагерный бог, приговора ждет.

— Ты что-то путаешь. Я сам вчера встретил его. Он бежал раненый.

— Ну да, «раненый». Не раненый, а самострел он! Перепаниковал, растерялся, забежал в кусты да и бахнул сам себе в руку, ладонь прострелил, а во время перевязки сразу все и обнаружилось.

На соседнем подворье, куда указывал Бондарь, в самом деле что-то готовилось. За невысоким тыном, за вишенником, стояла под хлевком группа бойцов в зеленых фуражках пограничников. Нахмурившись, не спуская взгляда с дверей хаты, они ожидали, и было что-то грозное в молчаливом их ожидании.

Светленькая хата была облита солнцем, лучи его играли на вишеннике, на цветах во дворе. В маленьких окнах виднелись горшки с распустившимися красными калачиками: даже не верилось, что в той беленькой, нарядной, такой не похожей на судилище хате сейчас заседает военный трибунал и, может быть, как раз в этот миг раздаются там суровые слова приговора и вот-вот оттуда выведут во двор разжалованного Гладуна.

Но его все еще не выводили.

Тем временем пришли грузовики. Торопясь, санитары начали забирать раненых. Лагутина удалось положить на первую же машину, Степура и Духнович тоже устроились на ней и, когда грузовик тронулся, уже из кузова увидели бывшего своего помкомвзвода. Не успели заметить, откуда его вывели, но стоял он не под белой хатой, а под низким покривившимся курятником в противоположном конце двора. Без пилотки, без ремня, гимнастерка топорщилась на нем, на плечах белели перья и куриный помет,— похоже, в том курятнике и ночевал...

Грузовики с ранеными вырвались из садов на шоссе и помчались по разбитой дороге в сторону Днепра. Машины нещадно бросало на выбоинах, и стоны все громче раздавались в кузовах. А навстречу то и дело двигались на обочинах маршевые роты пополнения: шли только что мобилизованные, кое-как вооружен-

ные люди; хоть не у каждого винтовка на плече, зато у каждого в руке поблескивает бутылка с горючей смесью. «Человек с горючей бутылкой в руке... В нем сейчас все»,— подумал Духнович. Растянувшись вольным строем, бредут вдоль шоссе хмурые маршевики, исподлобья поглядывая в небо, которое, видно, не раз обстреливало их в пути и против которого у них сейчас есть только вот эти черные, черным огнем налитые бутылки.

29

Как из огня, выхватывали в этот день грузовики раненых, мчали по шоссе на бешеной скорости,— и не только потому, что хотели поскорее уйти от самолетов, то и дело появлявшихся тут над дорогами, а еще и потому, что призрак окружения нависал над этим краем все более грозно. Грохотом бомбежек, несмолкаемым гулом артиллерии надвигалась война со всех сторон. В одном селе грузовикам пришлось остановиться: дорогу преградила конница, пересекавшая шоссе на взмыленных лошадях — торопилась куда-то, вероятно, спасать положение. Где-то прорвались, обходят, отрезают... Эти слова не сходили с уст.

В другом селе, пережидая налет авиации, грузовики снова стояли под прикрытием садов. Чьи-то матери подходили к ним — в старинных корсетках, в черных платках, повязанных рожком на голове, выносили молоко в глечиках, хлеб мягкий, вишни в ситочках. А одна старушка даже ранние груши поднесла к кузову.

— Нате, сыночки...

Глядя на молодые обескровленные лица раненых, женщины едва сдерживали слезы, горестно допытывались:

— Похоже, опять студенты?

— Почему опять?

— Все студентов нынче оттуда везут... Это вы там с танками бьетесь?

— Да, бьем и фамилии не спрашиваем.

— Были бы учителями, если бы не война, ученными людьми...

И снова машины вырываются на дорогу.

В ногах у Степуры нечеловеческим криком кричит всю дорогу Славик Лагутин. И ни товарищи, ни фельдшер, который их сопровождает,— никто не может ему сейчас помочь; они даже от водителя не могут требовать, чтобы не так гнал машину, потому что все понимают — нужно гнать. Скорее, скорее на операционный стол его — это теперь единственное, что может Славика спасти.

«Не погибай! Не умирай! Выдержи!» — мысленно заклинал его Степура, с болью глядя, как Славик судорожно мечется на дне кузова. Сердце Степуры разрывалось от страданий товарища, от его стонов. Сейчас и в мыслях не было, что когда-то ревновал к нему, ненавидел в нем соперника, чуть ли не желал ему смерти. Все это отошло, исчезло, развеялось в чаду, в дыму боя, и перед Степурой сейчас только товарищ, друг, брат, для которого он не пожалел бы собственной крови, лишь бы ему стало легче. Как ребенка, хотелось поднять Славика на руки, держать, чтобы не трясло, да так и нести хоть за Днепр, спасая из этого пекла.

Раны Степуры тоже разболелись, горят. Привалившись к борту кузова, он стискивает зубы, чтобы не стонать, когда машину подбрасывает. При каждом таком ударе он чувствует все свои изорванные мускулы на ногах, все осколки, как железные занозы застрявшие у него в теле. «А как же ему,— думает он о Славике,— он же слабее меня, такой нежный, хрупкий, как девушка...» Осторожно вытянул чью-то скомканную шинель, подложил Славику под голову.

— Мне кажется, он доживает последние минуты,— шепнул Духнович, наклонившись к Степуре.— И это наш Славик! И это мы сидим над ним!..

Огромные свежие воронки от бомб чернеют у дороги. За дальними холмами что-то горит — Степура видит, как густой дым тяжело стелется по горизонту. Снова села с хатами расписными... Дым пожаров, несмолкающий грохот, печаль, тревога на лицах людей — это твоя Украина, такой ты видишь ее! Не песня, которая еще недавно раздавалась в лунные ночи над этим краем, над садами и левадами, а великая

народная печаль разливается повсюду. Этой печалью шумят деревья, она в воздухе, она в прекрасных глазах матерей, которые выносят к грузовикам глечики молока, во взглядах молодых женщин, которые стоят среди подсолнухов, печально прислонившись грудью к плетню, во взорах девчат, которые тоскливо смотрят тебе вслед очами рафаэлевской чистоты. Прощальная мольба в глазах, крики, стоны, канонада и рыдания материнские — вот сейчас твой голос, Украина! Кто останется в живых, не забудет этого вовек.

Вечерело, когда грузовики подъезжали к Днепру. Тучи заволокли небо. Лагутин на последних километрах стонал все тише и тише, а когда остановились у переправы, вовсе затих: сняли с кузова мертвым.

Тут, неподалеку от переправы, у подножия Тарасовой горы, его и похоронили. Чью-то разбитую, расколотую каску положили на свежем холмике земли.

Задыхаясь от слез, Степура стоял над могилой, и думы его сами собой складывались в горькие строки: «Пройдем мы, и нас не будет. Что ж останется после нас? Каски разбитые? Белые кости во ржи? Иль обелиски встанут до туч?»

Надо бы, по народному обычаю, посадить у изголовья Славика калину красную или тополь сребристый. Но где та калина? Где тополь? Когда-нибудь придет сюда Марьяна, придет и посадит, и вырастет печаль ее, ее любовь, живой песней встанет над всем днепровским краем...

Тучи, заполнив небо, тяжело плыли на запад...

В суматохе у переправы случилось так, что Духновича отправили с первой партией на тот берег, а Степуре после этого пришлось еще долго ожидать. Сидел в стороне под горою и смотрел на Днепр, на великую реку, воспетую Кобзарем. Тучи клубятся над водою, ветер гонит волну, и весь простор воды переливается волнами, будто только что вспаханное поле. Пружинят, бьются на ветру лозняки, возле них группками собрались раненые в ожидании переправы. Говорят, вчера тут разбомбили баржи с ранеными, как бы не повторилось это и сегодня... Правда, пасмурно сейчас для

авиации, низкие тучи плывут, чуть не касаясь могилы Тараса, свинцово нависают над ширью днепровской.

Впервые в жизни Степура видит Днепр. Когда направлялись на фронт, проспал Днепр ночью и теперь вот встретился с ним уже на обратном пути. Надеялся увидеть его светлым да солнечным, в разливе синевы, а Днепр явился перед ним тяжелым стальным предвечерьем, неприютным шумом ветра, сумрачной ширью... Еще только середина лета, а вода в реке какая-то тяжелая, взвихренная у берегов, порывы ветра шумят в лозняках, вербы древние гнутся, осокори рябят под ветром, словно чешуей, своими листьями — то сразу потемнеют все, то вдруг, вывернутые ветром, замелькают белым. Эти растревоженные ветром деревья, и распаханный им Днепр, и Чернечья Тарасова гора, что высится рядом, и тучи вечерние, что идут над нею, над самой могилой Кобзаря,— какую тоску все навевает, какой печалью ложится на душу!»

Сгущаются сумерки, и за Днепром все ярче становится зарево далекого пожара,— наверное, там днем что-то бомбили. А с запада доносится грохот войны. Уж и сюда достает война. Как хотелось бы Степуре сейчас заглянуть в будущее!.. Станет ли Днепр последним рубежом, или дальше перекинется ненасытный огонь? Что будет с теми, кто остался на Роси? Что будет с тобою, святая могила Тараса, с тобой что будет, родной народ мой? Выстоишь ли, переборешь ли? Разве явился ты, чтоб только дать миру песню, песню свою бессмертную, и опять уйти в небытие? Солнечной, цветущей называли тебя, Украина недавняя, вчерашняя,— а теперь? Какой назвать тебя сегодня? Темно-багровая, в пожарах до туч, в слезах матерей и в жгучем горе сыновнем — такая ныне ты, Украина сорок первого года...

30

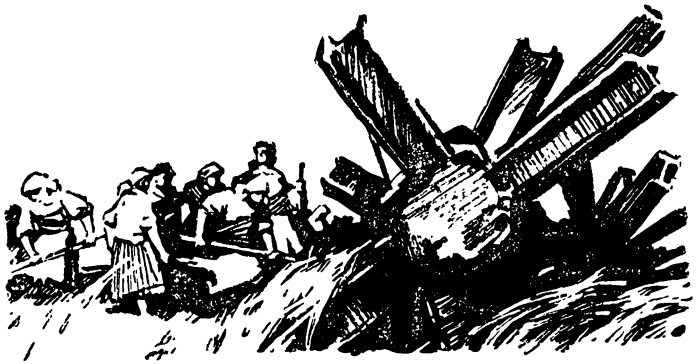
Противотанковые рвы копала, земляными валами опоясывалась в эти дни Украина. Откуда брали они начало, эти длинные рвы противотанковые, и где им

будет конец? От самого моря через виноградники юга, через солнечные раздольные степи тянулись они в глубину республики, опоясывая Донбасс, огибая Харьков, свежей землей темнея по Левобережью — все дальше и дальше на север. Рвы и рвы. С беспощадной прямолинейностью ложились они по стерням полей, по бахчам, через гречиху медовую да колхозные сады, продирались сквозь золотое войско подсолнухов цветущих (не скоро еще короны их угаснут и пыль падет на шершавые их листья).

Тысячи людей с лопатами в руках работают на сооружении оборонительных линий; с утра и до ночи, словно чайки морские, белеют в степях косынки девчат, женщин-солдаток и солдатских матерей. Верится им, что не напрасным будет тяжкий их труд, что рвы эти — три метра в глубину, семь метров в ширину! — сделают свое, помогут родной армии преградить путь врагу.

Так по крайней мере думали харьковские студентки, оказавшиеся в числе тысяч и тысяч горожан, мужчин и женщин, в жгучем зное далеко за городом на земляных работах.

Высокая стерня после наспех убранного комбайна-



ми хлеба, сухая и твердая земля от горизонта до горизонта — загоняй лопату, копай. Кровавые мозоли, которые в первый день появились на девичьих ладонях, успели полопаться, запечься и затвердеть, а работе нет конца.

Таня Криворучко, Марьяна и Ольга-гречанка попали в бригаду, состоявшую почти из одних женщин. Знойная степь, скрежет лопат, пересохшие губы, опаленные солнцем лица... Только сознание, что эта их тыловая работа все же нужна и что она как бы объединяет их с теми, кто на фронте,— только это и придавало девушкам силы, помогая сносить и жару, и лишения, и тяжести изнуряющего труда землекопов.

— Вот наша Ольвия,— говорит Таня, всем телом налегая на лопату, которая никак не хочет идти в землю. Пот заливает глаза, чувствуется, как он под одеждой крупными каплями катится по спине, по груди. На губах солоно. После нескольких часов работы лопата вываливается из рук и в глазах темнеет от усталости.

Вот как все обернулось: не ольвийские раскопки ведут, а степь раскапывают против танков. И профессор их, Николай Ювенальевич, тоже тут. Засучив рукава, молча долбит землю от зари до зари, долбит, наверно, все с той же давнишней своей думою: отчего погибла Ольвия? Ведь были у нее и сторожевые башни, и земляные валы против диких степных кочевников...

Война еще далеко, о ней напоминали лишь подводы эвакуированных из-за Днепра, да тревожные сводки с фронтов, да еще эти вот противотанковые рвы. Однако опасность с каждым днем, видимо, приближалась: однажды к ним привезли откуда-то визгливую сирену, установили на насыпи и уже давали пробные сигналы воздушной тревоги. Было также приказано женщинам поснимать косынки. Значит, и тут можно ждать налета! Где же тогда спрячется весь этот человеческий муравейник, до самого горизонта растянувшийся под открытым небом по золотистой стерне? Ходили слухи, что ближе к фронту на таких вот, как они, окопников немцы уже налетают, обстреливают их из пулеметов, сбрасывают на головы женщин листовки с безграмотными глумливыми обращениями: *«Девушки и дамочки! Не ройте эти ямочки, придут наши таночки, засыплют ваши ямочки...»*

Тут еще этого не было. Тут еще тетки не хотят снимать с себя белых платков, несмотря на требование военных, руководивших окопными работами. Военных немного, лишь кое-где зеленеют гимнастерки, а то все гражданские и гражданские. Студенты, преподаватели разных институтов, служащие, колхозники, освобожденные или по возрасту, или до особого распоряжения («пока винтовки для нас сделают»),— все сейчас тут. Жизнь ведут цыганскую, ночуют кто где: в коровниках колхозных, в яслях и под яслями, а большинство — прямо под открытым небом, в разворошенных скирдах, зарывшись в солому, да по степным посадкам в колючих зарослях одичавших абрикосов. Хлеб — готовый, испеченный — доставляют им из Харькова, а воду привозит в бочке дед Лука, крутым лбом напоминающий студенткам-историкам афинского гражданина Сократа. Нрав у деда Луки веселый, он не пропускает случая пошутить с девчатами, и его появление всегда поднимает настроение, сулит передышку.

Сигнал подает Марьяна:

— Девчата, вон дедова кобылка уже выныривает из глубины столетий...

Лука сидит на передке водовозки, кобыла крупом почти совсем закрывает его, только соломенный брыль маячит над кобылой как знак того, что и дед тут. Появление дедовой водовозки вызывает оживление и среди мальчишек-пастухов, и уже кто-то из них во всю глотку приветствует деда:

— Эй, диду Лука, там Махно вас искал!

Дед грозит кнутовищем:

— Ах ты ж, байстрючок!

— Байстручок растет как стручок!

— Расти, расти, только не дубиной...

К окопницам дед подъезжает улыбающийся, он не сердится, что ребята его поддразнивают. Да и сам он как мальчишка: маленький, щуплый, ситцевая рубашонка на одной пуговице, из-под рубашки острые ключицы выступают. А голова, когда дед снимет брыль, в самом деле сократовская: лобастая, голова мудреца, круто посаженная на щуплых дедовых плечах.

Окопницы, окружив бочку, набрасываются на воду; те, кто утолил жажду, сразу веселеют, и Таня Криворучко в шутку уже задевает старика:

— Дедушка, а это правда, что вы были махновцем?

— Коли дети дразнятся, стало быть правда,— спокойно говорит дед Лука.

— И Махна видали?

— Видал и Махна, и царя, и кайзера... Всех видал и всех пережил. Думаю, и Гитлера переживу.

Ольга, устроившись на куче земли, приглашает и старика.

Дед, присев на корточки, становится будто еще меньше, и Марьяна лукавыми своими глазами критически оглядывает его, словно меряет.

— Не представляю вас махновцем,— говорит она.— Среди головорезов... Да вас же, наверно, и бабка ваша бьет?

— Бабка имеет право, бо она моя, а другие — шалишь! — говорит дед Лука степенно, поудобнее располагаясь среди окопниц на земляном валу.— А махновцем, девчата, я стал не по своей воле, а скорее по принуждению. Наскочила вот такая оса вроде тебя,—

он кивает на Марьяну,— вся в пуговицах да ремнях: «Давай в тачанку, будешь моим кучером!» Куда же денешься! Садишься, берешь вожжи. Да еще, шельма, заставляла, чтоб стоймя стоял в тачанке — для форсу...

— Ну, и вы слушались ее? — спрашивает Таня, усаживаясь у деда в ногах.

— А что поделаешь, коли уж попал к ним в лапы, не сумел от них спрятаться? Перед тем я три недели скрывался у тестя своего на бахче. Как-то утром сварили кашу, завтракаем, вдруг— будто снег на голову! — едут на подводе деникинцы, а мы уже их повадки знаем: найдут — ага, дезертир! — тут тебе и крышка. Едут, сворачивают прямо к нашему шалашу! «В солому зарывайся!» — говорит мне тесть. Залез я под солому, затаился, как мышь. Чую — подъехали. «Ну, дед, дезертиры есть?» — «Нема». — «А кавуны есть?» — «Кавуны перед вами».— «Выбери нам получше...» Пошел старик по бахче, а я все лежу в соломе, уже и мыши меня кусают. Думаю, наберут кавунов, да и поедут себе, а они не торопятся, у шалаша и расположились угощаться. Один сел прямо на меня, устроился, как на мешке, да на мне и позавтракал, стерва...

Дед Лука, сняв брыль, медленно потирает ладонью покрывшиеся потом голые просторы своего широкого черепа.

— А ухо почему у вас порвано? — спрашивает Ольга.

— Пас коров да уснул, а телок подошел, да и отжевал,— не моргнув глазом, ответствует дед.

— Он жевал, а вы и не чувствовали?

— Крепко спал. Сквозь сон слышу, будто свербит что-то. Очнулся — теля надо мной, совсем уже ухо дожевывает.

Девчата почти верят, так серьезно дед Лука рассказывает, но тетка Хотина, пышная доярка из одного с ним колхоза, прямо-таки колышется от хохота:

— Слушайте его! Это дед еще с той войны такое ухо принес. Австрийцы ему отжевали!

— Так вы и на империалистической были, дидусю? — заинтересовалась Таня.— Ветеран двух войн?

— А какая же без меня обойдется...— Дед устремляет вдаль маленькие зоркие свои глазки.— Лучшие годы своей жизни войне отдать пришлось, растратить на солдатчине... И впрямь прошли года, как вода. Разве таким я тогда был? — Он хвастливо поглядывает на свою любимицу Таню.— Была силенка! Схвачу, бывало, коня за копыто — не вырвется. А сейчас вот не то.

— Да, состарился, а вот голос до сих пор молодой,— говорит тетка Хотина, зайдя со спины и шутливо обнимая деда полной смуглой рукою.— Ночью как запоет на току, за тридевять земель слышно.

— То я когда сторожу,— пояснил дед Лука,— сон разгоняю.

Таня сочувственно смотрит на него, на его высохшую шею, на рубашонку его простенькую с одной пуговицей. Спокойствием, добротой веет от него, бывшего вояки.

— Просто не верится, дедушка, что и вы когда-то были на войне, в атаки ходили, в людей стреляли... Скажите, неужели стреляли?

— Больше в небо, внучка, в белый свет, как в копейку. На позициях, бывало, пригнешься в окопе, голову вниз, а винтовку выставишь, да и бахаешь, чтоб только офицер слышал.

Марьяна посмотрела на него вдруг построжавшим взглядом:

— Вот какой, значит, из вас был вояка?

— А я, дочка, за георгиями не гонялся. Человека убивать вера моя тогда мне не дозволяла. Незадолго перед тем я учение Льва Николаевича графа Толстого принял, вот ведь какое дело...

— Я почему-то так и думала, что вы были толстовцем! — откликнулась Ольга.— Вы и в Ясную Поляну ходили?

— Нет, в Ясную не ходил, куда там было за работой. А вот моя мать, так она даже в Палестину хаживала, в Ерусалим... Темная женщина, а представьте, аж оттуда, из аравийских пустынь, принесла в слободу святого огня. Больше года ходила, дома за это время хозяйство совсем пришло в упадок, и батько

так рассердился на ее странствия, что, когда она вернулась из Ерусалима со своей зажженной свечкою, он в сердцах свечку ту погасил, и все как есть иконы из хаты повыбрасывал и топором посреди двора изрубил в щепки... А мы за своей верой никуда уже не ходили. Толстовские проповедники к нам сами в слободу пришли и нескольких парубков, таких, как и я, учением своим тогда завлекли. Потому-то, девчата, и стрельба моя была такой.

— Выходит, вы, дидусю, пацифист? — пристально посмотрела на него Ольга.— Вы, как Роллан, были «над схваткой»?

— В разных схватках бывал я, девчата,— будто не расслышал дед,— а скажу вам только: нету в этих войнах ничего доброго. Это как чума, которая раньше ходила по свету або холера. Кто хоть раз войны попробовал, тому на всю жизнь хватит от нее отплевываться... Но коль уже полезли эти гады фашисты, так надо им всыпать по первое число!

— А спросить их, чего им надо от нас? — сказала тетка Хотина.— Никто их не трогал, а они идут, жгут — рвы против них, как против саранчи, копай. Хоть бы за Днепром наши как следует им шею намылили.

— Черного кобеля не отмоешь добела,— отозвался дед Лука, поднимаясь.

— Вам, дед, еще ничего,— беря лопату, сказала тетка Хотина,— ваш сын в морфлоте, где-то на Тихом океане, а мой вот Трифон прямо в огонь пошел. В разум не возьму, как-то он там будет воевать. Вы ж знаете, какой он у меня тихий да плохонький. Курицу боялся зарезать, мухи не убьет. Как же он людей будет убивать.

— Не людей, а фашистов,— резко поправила Марьяна.— А фашистов я и сама вот этой лопатой, как жабу, перерубила б...

— Достается и вам, девчата,— сочувственно глянула на студенток высокая, с отечным лицом пожилая женщина из соседнего колхоза.— Молодые, цветущие, матерями бы вам скоро быть, а где оно, ваше материнство? Где они теперь, ваши суженые?

— Героями, в орденах возвратятся,— сказал, проходя мимо, Штепа со своей неизменной усмешкой. (Когда университет отправлял людей на окопы, Штепе судьба тоже вручила лопату и послала сюда вместе со всеми.)

— Да оно и тебе, парень,— искоса посмотрел на Штепу дед Лука,— больше подошло бы там сейчас быть, а не тут, между бабьими юбками. Однокашники-то твои где?

— А я не протиснулся,— ухмыльнулся Штепа.

— Глянь, ему еще и весело,— с возмущением воскликнула Марьяна.— Тысячи наших студентов за рюкзаки и — в поход, а он не протиснулся! За шкуру свою дрожит! — И, раскрасневшись, крикнула деду Луке: — Не давайте ему, диду, воды! Пускай высохнет, пускай в мумию превратится — сохраннее будет!

Снова занимая свое место на водовозке, дед Лука отчужденно глянул на Штепу:

— Видишь, как оно трясогузу-то на свете жить...

— Вам, дед,— огрызнулся Штепа,— лучше бы помолчать с вашим махновским прошлым.

Дед, не ответив, молча щелкнул кнутиком в воздухе, поехал.

Под вечер того же дня неистово заверещала сирена. Завыла, затянула: «Ву-у, ву-у!..»

— Немец летит!

— Прячьтесь!

Не успели и опомниться, как над окопами, хищно сверкнув, с воем пронесся самолет. Ударил над полем пулеметной очередью, потом от него отделилось что-то темное, круглое и с нарастающим тарахтением, со свистом полетело вниз. Самолет пронесся над ними на небольшой высоте — был даже виден в кабине летчик, оскаливший зубы: он хохотал.

— Бочку кинул! — послышались голоса окопников.— Бочку пустую из-под горючего! Еще и дырки пробил, чтобы сильнее свистела!

— Никого не ранил? — пробегая, встревоженно спрашивал военный.

— Хотел, да не попал,— отвечали женщины.

— Бочку тракторную кинул, надо же придумать!

— В другой раз целый трактор на голову бросит! Под Ивановкой, говорят, полтелеги бросил на окопников.

— Самого б его об землю бросило, бандита,— ругалась тетка Хотина, грозя вслед самолету.— Еще и хохочет, душегуб!

— Потребуем, пусть завтра зенитные пулеметы нам тут поставят! — кипела лютой ненавистью Марьяна, приступая к работе.— Нужно проучить хулиганье фашистское.

С утроенной энергией трудились в этот день девчата. Трудились так, будто мстили за этот налет, за поруганную мирную жизнь, за искалеченные судьбы свои.

Таня, хотя и была среди своих подруг ростом самая маленькая и хрупкая, выполнила до вечера полторы нормы. Горели ладони, все тело разламывалось от усталости, когда они в конце дня, помогая друг другу, выбрались наконец из глубокого рва наверх.

— Хотя бы искупаться где-нибудь,— обратилась к девчатам Ольга, оглядывая степь.

Выпрямясь, стояли они с лопатами на земляном валу, смотрели на развернувшуюся в полнеба буйную красоту заката. Солнце, прежде чем исчезнуть за горизонтом, подняло высокие паруса света перед неподвижными, как бы окаменевшими облаками, которые казались фантастическим скалистым ландшафтом каких-то других планет; и где-то за теми скалами раскаленными, под теми солнечными парусами бились с врагом их хлопцы на войне.

31

Зноем жатвы налиты были дни.

Нежных акварельных тонов были вечера.

После раскаленного слепящего дня сиреневой дымкой затягивалась степная даль, мерцала и звала девчат туда, где стрекочут кузнечики на всю степь и высокая шуршит стерня, золотясь под ногами, словно

упавшие за день с неба да так и застывшие солнечные лучи.

Где-то вдали проступают у края степи очертания стройных тополей. Там полустанок.

Обнявшись, идут девчата туда.

Николай Ювенальевич задумчиво смотрит вслед девушкам. «Сколько доброго чувства нужно иметь друг к другу, какую общность душевную, чтобы вот так нежно обняться и пойти... Пожалуй, только с тихой и грустной песней можно сравнить такое настроение, когда трое девчат обнялись и молча уходят, уходят в вечернюю степь...»

Все дальше и дальше бредут девчата в сиреневую мглу, и степной простор вокруг них все звонче свиристит и стрекочет. Такой душистый, еще не отравленный войной вечер в поле, вечер, что пахнет снопами, гулко тарахтит где-то арбой,— так и кажется, вот выйдут из посадки их хлопцы-студенты в майках, чубатые, загорелые, встретят веселыми студенческими шутками да остротами...

«Как вы тут, девчата?»

А там вон уже тракторы пришли с волокушами, разравнивают насыпанные в течение дня валы, растаскивают по полю выброшенный из противотанкового рва грунт. Поле, которое только что было золотым, становится пепельно-серым, темнеет, а женщины-солдатки, глядя, как их труд рассеивается по полю, запевают ту песню, в которой все горы зеленеют, только одна гора черная, только та гора черная, где пахала бедная вдова...

А девчата тем временем уже совсем далеко от рвов; земля, волокуши, лопаты, дневные заботы — все куда-то отступает, и девчата окунаются в недалекое свое прошлое, в чудесный мир студенческой жизни со всеми ее треволнениями, где переплелись и любовь, и ревность, и счастье примирений, и переживания на экзаменах, и мечты об ольвийском лете...

— Жить бы только да жить,— говорит Таня задумчиво.— Небо вот. Степь широкая. Песня. Любовь. Кому же дозволено поднять руку на это извечное право людское, на труд людской, на счастье? Было время,

когда человек был зверем, жил в лесах, в пещерах, добывал себе пищу охотой,— тогда он вынужден был воевать. С примитивными своими орудиями набрасывался на мамонтов... Теперь же стоят перед человеком тысячи книг, в которых собрана мудрость веков, стоят нацеленные в небо трубы телескопов, в которые он рассматривает дальние миры. Он проник на дно океана и научился быстрее птицы летать в воздухе! Он стал всевластным, всемогущим, разум его — это диво дивное! Всем хватило бы и земли, и неба, и песен, если бы люди научились жить без войн, если бы все эти ужасные войны не забирали у народов столько, сколько они забирают,— и ума, и сил, а самое главное, людей, цветущих, одаренных.— Таня разволновалась, душевная боль слышалась в ее голосе.— Достичь того, что достигнуто человечеством, и вот теперь, после всего этого,— назад? К пещерам, к пирамидам из людских черепов? Тот цивилизованный бандит, который пролетел сегодня и швырнул бочку,— чем же он лучше Батыевых башибузуков, хоть и появился не на монгольском коне, а на современном летательном аппарате? Варвар он, фашист проклятый, трижды варвар!

Мглистая синева степных просторов становилась все гуще. Некоторое время девушки шли молча, потом Ольга, будто очнулась от каких-то раздумий, заговорила грустно:

— Может быть, Лев Толстой потому так и бунтовал на старости лет против цивилизации, что предчувствовал, как преступно будут использованы ее достижения, сколько бедствий принесут народам новые, невиданные по размаху разрушительные войны.

— А ведь этого могло и не быть,— сказала Марьяна.— Достаточно было, чтобы в свое время все трудящиеся Германии проголосовали за Эрнста Тельмана!

— Ну, это не так-то просто. А к тому же — никто не мог всего предвидеть,— тихо промолвила Таня.— О, если бы человек мог сквозь годы заглядывать вперед! Многое на свете было бы по-другому...

Стерня кончилась, они вышли на дорогу, и Таня, словно уловив какую-то мелодию, стала вслушиваться в предвечерние сумерки.

— А степь стрекочет и стрекочет,— голос ее зазвучал печально.— Неужели и т а м так же поют кузнечики?

И это «там» девчата понимают: там, где хлопцы, где сейчас вот угасают последние краски заката.

Когда пошли дальше, Таня попросила:

— Оля, спой что-нибудь...

И Ольга, сразу же, будто мелодия уже звучала в ее душе, запела песню, начав ее откуда-то с полуслова, с середины.

Песня незнакомая, девчата знают — это греческая. Ольга рассказывала как-то, что в Приазовье, в Ногайских степях, она училась в греческой школе, такие школы были во многих греческих селах.

Ольга, вся в песне, тревожит степь задушевным своим голосом, а подруги, шагая рядом, думают о ней, о ее нелегкой девичьей доле. Идет с ними, высокая, сухопарая, темнолицая, и темные круги под глазами. Губы, как всегда, сухие, обветренные, будто от внутреннего жара. Она ровесница им, но ее можно было бы принять за молодую женщину, которая уже выкормила ребенка; была в ней какая-то усталость и одновременно ласковость, тихая материнская доброта. Девчата понимали, что усталость эта, видимо, от душевной боли, от неудачной и почти безнадежной ее первой любви. И только когда Ольга поет, она преображается, делается красивее, особенно теперь, когда после прощания со Степурой в лагере перед нею словно бы сверкнул лучик надежды. Степура обещал писать с фронта, и, хотя ничего еще не написал, она ждет, надеется и от одной этой надежды как бы расцвела, помолодела. Но особенно меняется их подруга в эти песенные минуты, от этих вот страстных гортанных песен греческих, которые она поет хотя не часто, зато каждый раз с каким-то особенным подъемом, потому что песни эти — девчата знают — предназначаются прежде всего ему, Степуре. Для него, для души его поэтической льются над степью ее песни вечерами, это ему, далекому любимому, на своем полузабытом языке рассказывает она о безответной любви своей...

На окопах девчата подружились еще больше, стали как сестры; от Тани и Марьяны нет теперь секретов у Ольги. Не таясь, в такие вот вечера, в такие теплые ночи июльские изливает она подругам то, что до сих пор таила в себе.

— Поэт! Ведь он настоящий поэт, поймите вы! — говорит она жарко, когда заходит речь о Степуре.— Я вижу в нем все самое лучшее, что унаследовано им от народа, от родной земли; все в нем чистое, как Ворскла его или Орилька... И сила его. И уравновешенность. И правдивость и внутренняя чистота! А го-

лос? Да у него же речь шелком шелестит, поэзия светится в его глазах!

— Прибавь к этому редкую его неуклюжесть,— подшучивает Марьяна.— Она у него, видать, тоже от национального характера.

— Смейся, но он все-таки характер... Когда все песни твоего народа, слагавшиеся веками, живут в тебе, живут даже забытые... А в нем они живут. Разве это не характер, не проявление сильной, глубокой натуры!

— Прости, Ольга,— тронула гречанку рукой Марьяна,— но только вот неповоротливость и сентиментальность никогда мне в нем не нравились.

— Не тебе, Марьяна, оценить его по-настоящему! — распалившись, возразила Ольга.— Для тебя он только еще один поклонник, и все потому, что для тебя Славик твой — идеал. Ты влюблена в него. Не зря ведь говорят: богатому и черт детей баюкает, так и тебе. А кто знает, если бы не ты, если бы не морочила ты голову Андрею три года, может, и у нас с ним все давно сложилось бы по-иному!

— Чем же я виновата? — лукаво, как цыганочка, повела Марьяна плечом.

— Перестань хоть сейчас-то кокетничать... Хорошо ведь знаешь, что Андрей лишь тобою живет, только о тебе стихи свои пишет, а другие для него... Разве мы с ним не могли быть счастливы?

В порыве откровенности Ольга рассказала подругам в этот вечер то, что в другое время не рассказала бы никому.

— Как-то вечером шла я из библиотеки. Разбитая, усталая — вы же знаете, как нелегко мне наука дается. И вот возле Гиганта вижу вдруг в окне на втором или третьем этаже два силуэта: он и она. Студент какой-то и студентка. Мне видно каждое движение их, распущенные волосы у нее на плечах, изгибы тела, руки, которые сплетались в объятиях... Я видела, как сближаются в поцелуе их лица и, соединившись, надолго замирают. Потом снова отстраняются, смотрят друг на друга, и, казалось, видно даже, как они ласково улыбаются друг другу, те силуэты. Ах, девчата!

Можно было с ума сойти от этой немой сцены любви! Оглянулась и вдруг увидела, что и весна кругом, и вечер чудесный, и все на свете любят, целуются, пьянеют от поцелуев, и только я одна, одна...

— Знаю я такие вечера,— вздохнула Таня.— Из-за мелочи какой-нибудь повздоришь, а потом ходишь, мучаешься, переживаешь, в пору хоть руки на себя наложить!

— Пойду! Сама, думаю, сейчас к нему пойду! — продолжала Ольга.— Как была с книжками, с конспектами, так и повернула в корпус, где жили хлопцы. Набралась храбрости, было ужасно стыдно, и все-таки постучала к нему. Он был один. Сидел у стола, как притомившийся косарь или тракторист, который вернулся с поля после тяжелой работы. Дым стоял облаком, и окурков полная тарелка. Он был для меня как в тумане, был — и будто не был. Даже не удивился, что я пришла, и, кажется, не заметил, в каком я настроении. Поднял голову, смотрит на меня сквозь табачный дым, а мысли его где-то далеко, и видел он кого-то другого в тот миг, не меня. Как мне обидно стало!.. О чем, по-вашему, мечтал он в те минуты? О ком были его стихи в раскрытой тетради, что лежала перед ним на столе? Не подозревая моих чувств, он доверчиво, как ребенок, показал мне только что написанное, сам даже прочел несколько стихотворений... О тебе были эти стихи, Марьяна! Я слушала их, и, боже, каких мне стоило усилий, чтобы сдержаться, чтоб не разреветься...

— Видно, я все-таки виновата перед тобой, Ольга,— обняла ее Марьяна.— Но теперь все пойдет по-другому. Я ведь замужняя, мне своих детей нянчить, а тебя я сама сосватаю за него, пускай только возвращаются скорее. Они же возвратятся — не может быть иначе!

— Вдруг там уже письма есть? — сказала Таня с надеждой.— Давай мы тебя, Марьяна, завтра командируем домой на разведку, а?

— Ой, отпустят ли?

— Отпустят. Мы твою норму возьмем на себя.

— Что ж, я готова.

Девчата невольно стали на ходу поправлять волосы, платья: они приближались к полустанку.

Зачем пришли? Что влечет, манит их сюда каждый вечер? Они и сами боятся себе признаться, что приходят смотреть эшелоны с фронтовиками — ранеными, искалеченными людьми. Вчера в это же время проходил санитарный поезд. Женщины из совхоза, бегая вдоль вагонов, выкрикивали имена, допытывались, нет ли среди раненых кого-нибудь из близких. Девчата, припадая к окнам в напряженном ожидании, тоже спрашивали, нет ли харьковских студентов, не откликнется ли из вагона знакомый голос... Нет. Пограничники были. Летчики. Колхозники. И даже студент один оказался, но ленинградец,— а университетских не было. То ли в боях, то ли их везут другими дорогами, то ли... Приходили сюда каждый день, но за все время только одна весточка дошла до них из уст раненого пожилого командира, с которым разговорились на перроне. Слышал он про студентов, будто действовали они где-то за Днепром на Белоцерковском направлении, дрались честно. Он так и сказал: честно...

— Ваши или не ваши, не скажу,— рассказывал он,— а только добрая слава о тех студентах по фронту прошла, об их батальоне. С бутылками да гранатами бросались на танки и не пропустили врага.

Сегодня оттуда, со стороны Днепра, снова подходил эшелон. «Может, опять раненых везет?» — переглянулись девчата, торопясь к перрону.

Поезд приближался. Паровоз засвистел так тревожно, словно сам был ранен. Без огней — черный, слепой. Подошел и остановился, вытянувшись далеко за полустанок, в вечернюю степь; и на невысокой насыпи между посадками с его приходом будто еще одна выросла посадка: весь эшелон был укрыт ветками. Привядшая густая зелень, которой были замаскированы платформы.

На платформах среди станков, труб и болванок — халабуды какие-то, узлы, женщины с детьми.

Слышен тоскливый, причитающий голос какой-то старушки:

— Ой, де ж це воно, той Урал! Там же, кажуть, і баклажани не ростуть, і ми всі, мабуть, померзнем!..

Не успели девчата приглядеться, расспросить, кто едет и откуда, вдруг с одной платформы послышалось:

— Ей-же-ей, то Таня Криворучко! Таня, это ты?

Таня встрепенулась:

— Я!

— Это же наш завод. Разве не узнала? И мама твоя тут!

Будто током Таню ударило.

— Мама?! Где она?

— Где-то там, в хвосте эшелона! — кричали с платформы женщины.— Беги спрашивай... А отец еще на заводе остался!

Таня помчалась вдоль эшелона.

— Мама, мама! Это я, Таня! Криворучко Таня! — кричала в сумрак, в железо платформ и бежала дальше, а в это время эшелон тронулся, поплыл маскировочными ветками, разлучая Таню с матерью будто навсегда, навеки. Слышала какие-то выкрики, видела платки женщин в потемках на платформах, и все это, казалось, матери, матери...

Эшелон набирал скорость, а Таня все бежала за ним, и, даже когда последний вагон с ветром промчался мимо нее, она и тогда какое-то время летела в степь будто неприкаянная. Споткнувшись, не удержалась, упала на гравий, ободрала колено. Поднялась и, не в силах тронуться с места, стоит, будто в оцепенении. Вот так. Нет дома, нет завода, все на колесах, мама не услышала... Поникнув, стоит, точно беспризорная, за полустанком и только слышит, как удаляется стальной перестук рельсов, как с каждым мгновением все меньше дрожат под ногами шпалы.

Все, что случилось тут, было похоже на сон, тяжкий, невероятный. После разлуки с Богданом для нее это самый страшный удар. Пришла поглядеть раненых, а тебя вот саму ранило, с лету в самое сердце, оглушило, бросило на произвол судьбы. Все собиралась поехать к родителям, откладывала со дня на день, а теперь и ехать некуда, догоняй их теперь... Почему

эшелон не постоял еще немножко? Дура она: нужно было броситься, ухватиться за первую попавшуюся ступеньку платформы, потом бы уж разыскала маму... А девчата, а ее Богдан, а университет, куда только и может прийти от него весточка?

Подруги, подбежав к Тане, схватили ее, потащили в сторону.

— Смотри, вон еще один товарный идет!

Опять задрожала земля — приближается новый эшелон. Этот также затемненный, лишь из трубы паровоза дым вырывается с искрами. На платформах ящики, моторы, станки... Тоже заводской! Может, тато здесь? Или кто из родственников, из соседей? Сядет и поедет с ними! Вот так, как есть! Или хотя сообщит, что она их догонит, разыщет, найдет!

Пролетают платформы, прикрытые ветвями родных заводских акаций, пролетают и... не останавливаются. Будто выстреленный, промчался мимо них эшелон, ударил тугим ветром. Кусая губы, Таня стоит на краю насыпи, смотрит вслед. Красный глазок последнего вагона быстро удаляется, гаснет в степи.

— Пошли.— Марьяна подала Тане руку.

— Одна теперь,— прошептала Таня.— Совсем одна...

— Не одна, будем вместе,— прижалась к ней щекой Ольга.

Спустились с насыпи и, снова обнявшись, побрели в вечернюю тишину, где после грохота эшелона, как и раньше, нежно стрекочет кузнечиками степь.

32

До сих пор, когда Таня думала о войне, когда обсуждали между собой неутешительные вести с фронта, при всей трагичности событий ее все же не покидала надежда на какое-то чудо, упование на то, что в один прекрасный день война закончится так же внезапно, как и началась, что каким-то образом будет остановлено ужасное это бедствие, втягивающее в свой круговорот миллионы и миллионы людей. Те-

перь, после этих эшелонов с днепровскими демонтированными заводами, она поняла окончательно, что то были лишь наивные ее фантазии, что ни о каком замирении не может быть и речи. По всему было видно, что борьба эта надолго, борьба не на жизнь, а на смерть,— ей не видно конца. Война, подступая к каждому порогу, разрушила и ее родное надднепровское гнездо. Что будет с мамой? Всю жизнь она не покидала родного города, часто болеет, а теперь вот в дальнюю дорогу на платформе — куда и насколько? А где тато? Где дидусь? Что подумают о ней?

Разрушается тот привычный мир, в котором прошло ее детство, гаснут мартены, пустеют цехи, а отец, может, вот сейчас собственными руками уничтожает то, что сам всю жизнь строил. Нет дома, нет Днепра, не будет больше погожих рассветов с перекличкой заводских гудков. Оглядываясь в прошлое, Таня видела там жизнь, залитую светом юности, жизнь, которая во всей ценности и красоте предстала перед нею только сейчас. Знала ее, какой та была — вместе с трудностями, с огорчениями,— и все же это была жизнь, которая возводила Днепрогэсы, пробивалась в стратосферу, взламывала арктические льды и всем стремительным ходом своим была нацелена в будущее, в будущее! И словно все было освещено тем будущим... А вот теперь эта черная напасть, истекающие кровью фронты, вой сирен в городах, демонтированные заводы на колесах, и она, оказавшаяся на распутье, еще и сейчас не знает, бросить ли все и догонять эшелон, где была мать, или по-прежнему держаться университетских подруг, с которыми больше, чем где бы то ни было, и больше, чем с кем бы то ни было, она ощущает себя ближе ко всему вчерашнему, к своей первой и последней студенческой любви.

За время разлуки с Богданом чувство, которое она испытывала к нему, заполонило ее всю. Не думала, что можно любить больше, чем она любила, а выходит, можно! И то, что они разминулись с матерью на полустанке, кажется Тане заслуженной карой за невнимание к родным, за то, что не поехала домой сразу, как только началась война, забыла обо всем и обо

всех на свете, кроме него одного. Хотя бы слово услышать о Богдане, ведь писем нет, нет ни единой весточки, и это угнетает, воображение рисует самые мрачные и притом страшно реальные картины. Ранен? Если бы знала, что лежит где-то раненый, бросила бы все и помчалась туда, день и ночь была бы сиделкой при нем. В неволе фашистской? Пошла бы и в неволю, чтоб и там облегчить его страдания. И все-таки даже самые горькие предположения отступили перед непобедимой верой в его удачу, в его судьбу, в то, что он жив. Где-то он есть. Где-то в боях. Рано или поздно отзовется!

Охваченная своими мыслями, Таня сейчас еле слышит разговор девчат, хотя они идут рядом с нею вдоль посадки — мягкая дорожная пыль пыхает под их босыми ногами. Они разговаривают о тетке Хотине, о том, как ждет она своего Трифона, того добряка Трифона, который и курицы не мог убить. «Без рук, без ног будет — все равно заберу...»

— Я иногда спрашиваю себя,— говорит Ольга,— способна ли я на такое? На любовь безоглядную? На поступок по-настоящему добрый? Мне кажется, я не сделала в жизни ничего истинно хорошего, и это меня мучает.

— Не наговаривай на себя, Ольга,— возразила Марьяна.— Уж если кто у нас на факультете и был добрым к товарищам, чутким по сердцу, а не по обязанности, так это, конечно, ты. Ты родилась быть сестрой милосердия, в будущем ты прекрасная мать, и жаль, что этого до сих пор не мог понять твой непутевый Степура...

— О, не нужно об этом, не шути такими вещами, Марьяна... Каждый, кому довелось сделать добро другому, должно быть, пережил радость какую-то особенную, радость, ни с чем не сравнимую. Может, это и есть счастье. Может, таким и будет идеальное общество будущего, где потребностью каждого станет делать другому только хорошее — вплоть до самопожертвования.

— Я иногда думаю: не слишком ли много университет дал нам в дорогу разных иллюзий? — сказала

Марьяна.— Вот ты заговорила про общество будущего. Для нас оно самое прекрасное, за него мы боремся, о нем мечтаем... Но если быть реалистами: не отдалит ли его эта вот война? Отбросило же татарское иго Киевскую Русь на триста лет назад... Порой, как подумаешь, даже жутко становится: в какой тяжелый век мы живем, сколько коварства, жестокости, вероломства на свете. Тысячу лет назад, когда воины на своих пиршествах черпали вино черепами побежденных,— даже тогда перед нападением предупреждали врага честно и открыто: иду на вы! А теперь, в двадцатом столетии, совершают нападение ночью, по-разбойничьи, бомбы с неба сбрасывают на сонных детей, матерей...

— И это после вчерашних уверений в дружбе,— сокрушенно добавила Ольга.

Таня не вмешивалась в разговор, но мысли ее были о том же.

«Век каменный знало человечество, век бронзовый, век железный,— думала она,— а скоро ли будет легендарный век золотой? Ждет ли он нас впереди? Или, может, он уже миновал, отошел, не успев расцвести?»

— Кто это тут ходит так поздно? — послышался внезапно голос из посадки.

Вздрогнув, девчата остановились.

— Хенде хох! — И из зарослей к ним вышел дед Лука. В брыле своем неизменном, с винтовкой в руках.

— Так до смерти испугать можно,— сказала Марьяна.— Непротивленец с винтовкой — чудеса!

— Степь стерегу,— сказал дед Лука.— У нас тут теперь стребительный батальон действует. Днем мы на своей работе, а ночью поля от диверсантов охраняем да железную дорогу.— И, снизив голос до шепота, добавил: — Само енкаведе попросило.

— Толстовец — и вдруг по линии НКВД,— улыбнулась Марьяна.— Да вам же, как толстовцу, оружие не полагается брать в руки!

— Теперь и сам Лев Николаевич взял бы,— сказал старик.— Час такой настал. В этой войне старые и малые будут воевать, землю родную защищать...

— И не страшно вам здесь, в посадках? — спросила Ольга.

— А чего ж страшно? Когда парубком был, черти за мной гонялись, и то не боялся. А один раз, как с гулянки шел, ведьма с версту гналася...

— Ведьма?..— оживилась Марьяна.— Вы видели ведьму?

— Как вот тебя. Только ты вот стоишь, а она клубком, клубком по земле передо мной, под ногами. Я остановлюсь — и она остановится. Я тронусь — и она тронется.

— Вот бы глянуть хоть раз,— засмеялась Марьяна.

— Теперь нет,— убежденно сказал дед.— Все ведьмы и лешие пропали: не стало им житья промеж теперешних людей. Раньше, бывало, подоит молодица корову, нацедит всего-то два стакана, а несет в хату — еще и фартушком прикроет, чтобы соседка не сглазила. А ведьмам, так тем на всю ночь работы хватало: слышишь, у той ночью корову выдоила, той подсобила, ту присушила. А зараз вон моя невестка на ферме дояркой, ведро полное набухает, несет открыто, и никто не сглазит, бо корова из автопоилки воду пьет.

— В нечистую силу, вижу, не верите,— пристает Марьяна.— А в бога?

Дед Лука помолчал, вздохнул.

— Есть бог, нету ли — никто не докажет... А совесть краше бога.

— Совесть краше бога — это хотя записывай,— улыбнулась Ольга Тане.

Пыхает под ногами прохладная пыль, стеной темнеют вдоль дороги заросли-посадки. Марьяна в темноте зацепилась за какую-то колючую ветку юбкой, осторожно стала отцеплять ее.

— Какая тут посадка густая да колючая! А у вас, дедушка, ружье заряжено?

— Все как следует.

— Если бы кто-нибудь — ну, парашютист ихний или еще кто,— сразу и бахнули бы? — спросила Ольга.

— Еще как! Правду сказать, больше двадцати лет винтовки в руках не держал, думал, и не придется. А вот привелось. Словно помолодел с нею.

— Правда, диду, лихость какая-то у вас появилась. Не зря, видать, мальчишки дразнят: «Диду Лука, там Махно вас искал»?

— Дразнят, враженята, смеются... А я, признаться вам, девчата, иногда и правда чую ночью, словно кто-то зовет. Да только знаю, то не бандит Махно зовет, то кличет меня молодость моя, степи широкие, кони, воля революции. Не был уже я тогда толстовцем, а был чертом, дьяволом и под конец войны пошел Сиваш штурмовать. Раскусил я Махно и не пошел с ним в последний рейд, не подался в Румынию, бо правду свою трудовую увидел — она тут, дома, на родной земле.

Отдыхает степь, наливается прохладой после дневного зноя. Небо кое-где в покосах облаков. Луна — щербатое цыганское солнце — выплыла из-за облака и встала над степью с запада; где-то далеко, в той стороне, за балкой, горит стерня, и видно, как огромная багрово-бурая туча дыма, освещенная луной, клубясь, тяжело стелется над долиной.

— Есть что-то зловещее в ночных пожарах,— сказала Ольга, глядя на зарево.— Неужели это все стерня горит?

— Стерня,— спокойно подтвердил дед,— хлеба там поблизости нету... Зерно из-под комбайна прямо на станцию ушло...

— А до нашей скирды не дойдет?

— Нет, там по балке толока, вытоптано скотиной все, нечему гореть...

И хотя горела только стерня и горела далеко, все же и вправду было что-то зловещее в этом прижатом к самой земле, сплошным фронтом наползающем пожаре.

С другого края, откуда-то со стороны села, донесся еле слышный собачий лай, тревожное, разноголосое завывание.

— На луну они там воют, что ли? — спросила Марьяна.

— Собачьи маневры зараз возле совхоза, ночная

учеба,— пояснил дед Лука.— Недавно привели их и теперь дрессируют, чтоб под танки бросались. Глядеть больно, как она, тварь бессловесная, а и та понимает, жить хочет. Пустят танк старый, бросят под него кусок мяса: беги! хватай! А оно, несчастное, хоть и голодное — перед тем целый день не кормят,— и мяса не хочет, удирает от танка куда глаза глядят, бо смерть свою чует.

— Вряд ли думал академик Павлов, что так придется использовать его учение,— сказала Ольга, прислушиваясь к собачьем скулежу.

— А ты забыла,— почему-то раздраженно ответила Марьяна,— еще у ассирийцев были отряды боевых собак, принимавших участие в битвах?

— Ожесточились, ожесточились люди. А все из-за них, фашистов проклятых,— печально бросил дед Лука и, пожелав девчатам спокойной ночи, повернул в сторону села, откуда доносился собачий лай.

Девчата направились через поле к своему табору. Разрытая скирда свежей соломы — это и был их степной табор. Когда подошли к скирде, все уже спали; вскоре и подруги лежали рядышком на своей роскошной соломенной постели. В лунном свете солома поблескивала; она впитала в себя за день потоки солнечных лучей и теперь будто еще дышала солнцем.

Марьяна и Ольга, улегшись поудобнее, быстро уснули, а к Тане еще долго не приходил сон... Слышала, как прокричала какая-то ночная птица в посадке, кто-то кхекал на скирде наверху, где спали мужчины, а Таня, подложив руки под голову, все смотрела на высокую мерцающую звезду в небе. Это были те минуты, когда Таня, как она говорила, «настраивалась на одну волну с Богданом», вела с ним самые сокровенные разговоры, слышала его голос и иногда почти физически ощущала его рядом с собою. Она думала сейчас о том, как ревновала его, как ревность порою делала ее прямо-таки смешной в его глазах, а она, хотя и сама все понимала, была не в силах совладать с собой. Сейчас ей было бесконечно жаль каждого того дня, каждого часа, что уходили у них на ссору и были безвозвратно утрачены. Ведь она ревно-

вала его к каждой улыбке, которой он невзначай обменивался с кем-нибудь, ревновала к каждой девушке, которая, как думала Таня, могла бы ему понравиться. Ей все казалось, что Богдан покинет ее, найдет лучшую — ведь лучших, казалось ей, так много было вокруг! И то, что ревность эта была от громадной к нему любви, не могло сейчас служить ей оправданием. Теперь, когда он пошел на фронт, она перестала наконец ревновать его и поклялась в душе, что никогда, никогда больше не будет,— пусть он только возвратится! Пусть его любят все, пускай всем он нравится, милый ее Богдан, только бы он остался живым, только бы не погиб!

Луна опустилась еще ниже, налилась краснотой, а стерня все еще горела, и жутко было смотреть, как стелется, клубится по долине тяжкий, багрово-красный дым. Вместе со стерней сгорает все дневное — стрекотание кузнечиков, аромат и золото солнца, черно делается там, где прошел пожар...

Какое-то смутное желание подняло Таню с постели. Встала, осторожно пробралась между девчат и побрела в степь.

Так странно, когда ты ночью одна-одинешенька в степи и на тебя ползет у самой земли огромный клубок бурого огня и дыма, а над тобой — пустота небес

да холодное цыганское солнце дотлевает на горизонте бесформенной красной купой...

«Где ты? Что с тобой? Что волнует тебя, что болит у тебя? — остановившись над балкой, взывала Таня через пылающую стерню к Богдану, взывала всем своим сердцем, одиночеством своим девичьим.— Тебе тяжело? Богданчик, серденько, чем я могу помочь тебе? Ничего мне сейчас на свете не надо, только бы помочь тебе, облегчить твою боль, твою долю солдатскую, твои страдания. Все вокруг живет тобою. Для тебя рвы копаю, с тобой небо, звезды делю, и все во мне — твое, и все вокруг наполнено тревогой за тебя. Верно, для родителей своих я плохая дочка, коли дом потеряла, поезда грохочут, мимо меня летят на восток, а я всем существом рвусь к тебе, только к тебе одному! Днями и ночами жду твоего слова, жду весточек от тебя, а их нету. Почему их нету?»

В полузабытьи каком-то возвратилась снова к скирде.

— Это ты все бродишь, лунатик? — спросонья заговорила Марьяна и, поднявшись, словно чем-то встревоженная, села на соломе.— Что это за огонь?

— Да это ж стерня горит.

— А-а, я и забыла.

Когда Таня легла, Марьяна своим упруго-жарким телом плотнее прижалась к ней, обняла.

— А мне, Таня, сон приснился. В эти степные ночи какие дивные сны снятся... Только уснула, как вдруг над самым моим ухом — голос юношеский, такой славный, веселый, слов не разберу, но слышу, как этот голос смеется... Чей он? Да это же Славик! Смеется и что-то шепчет... Силюсь хоть слово из его шепота разобрать, но ничего не пойму, а голос как-то трепещет надо мной и все смеется, и уже чувствую горячие руки Славика на плечах.

33

Домой, в родной город, с окопов мчал поезд Марьяну на следующий день. Еле отпросилась — хорошо, окопницы помогли. Побывает дома, а заодно и в университете; может, там будут письма для девчат. А ей письмо от Славика придет на Тракторный, к родителям. На этот раз оно должно быть непременно — не зря же такие радостные, дивные сны ей снятся... Кажется, прошла целая вечность с того дня, как они расстались со Славиком. Его нежность, его улыбка, свадьба скороспелая, и жар их первой короткой ночи,— было ли все это или только померещилось, пронеслось в жгучем пьянящем забытьи?

Кажется, у нее будет ребенок. Будет сын. Вырастет и будет похож на Славика. Такой же стройный, спокойный и немного насмешливый... Но неужели и тогда, когда он вырастет, будут войны? Нет, их не должно быть больше после этой!.. «Мы не будем рожать детей для войны! — хочется Марьяне крикнуть женщинам-пассажиркам, среди которых она замечает одну, тоже беременную.— Если для войны, то лучше им и не родиться... Для радости, для счастья — вот для чего приходит человек в жизнь, вот для чего только и стоит рожать его!»

В Харькове, когда Марьяна, выйдя из вагона, спешила по перрону вокзала, первое, что она увидела,— это надписи на стенах — черные, угрожающие, со стрелками, показывающими куда-то в землю: *«Бомбоубежище»*.

Санитары несут раненых на носилках. Женщины бегут с тревогой в глазах.

— На пятом пути, на пятом!

— Что там, на пятом?

— Санитарный стоит, раненых сортируют: кого оставляют здесь, кого дальше...

Теперь уже и Марьяна, так же встревоженная, с небрежно заброшенными за спину косами, бежит вдоль санитарного поезда, жадно заглядывает в окна вагонов. В вагонах полно раненых. Одних кормят сестры, другие, уже позавтракав, теснятся у окон с забинто-

ванными головами, с подвешенными на повязках руками, а лица у всех исполнены ожидания, надежды встретить кого-то своего.

— Марьяна!

Степура первым окликнул ее, иначе она могла бы так и пробежать, не узнав его среди раненых заросших,— ведь и он зарос, с бородой. Как она обрадовалась ему! Как встрепенулась вся от этого его окрика! Окно было полуоткрыто, и она, припав к нему, смотрела на Степуру с радостной жадностью и страхом.

— Андрей! Дорогой!..

Его широкое лицо с этой редкой светло-русой бородкой было непривычно бледным, и сам он в белой госпитальной сорочке был какой-то посветлевший.

— Где Славик? Ты видел его?

Степура сделал длинную, глубокую затяжку (он курил «Беломор», пачка «Беломора» лежала перед ним на столике), медленно выпустил дым и почти скрылся за этим дымом. Как-то нехорошо скрылся.

— Чего ж ты молчишь? Ты видел его? Вы же вместе были?

— Вместе,— и умолк.

Она видела, как тяжело ему сказать что-то большее.

— Говори, говори,— настойчиво требовала она.— Всю правду говори!

— Правду?

С трудом выдавливая слово за словом, он заговорил. О чем это было? О бое с танками, о каких-то бутылках с горючим, о том, как потрепало их студбат, как ранены были многие... И Лагутин тоже.

— А потом, потом? Где сейчас он?

Насупившись, он помолчал, будто подыскивал какие-то менее ранящие слова.

— В грузовике на переправу его везли. Он все кричал. Уже у самого Днепра перестал кричать...

— Совсем?

Степура окутался дымом.

— Совсем.

Марьяна чуть не упала. Крепче ухватилась руками за окно вагона, чтобы не упасть.

— Ты врешь! Врешь! Врешь! — вдруг закричала она на весь перрон, и лицо ее перекосилось, глаза налились злостью. Степура никогда не видел у нее столько злости на лице, в глазах. На месте той Марьяны, которая с ясной, радостной улыбкой кинулась несколько минут тому назад к Степуриному окну, перед ним стояла теперь разъяренная волчица, которую он даже не пытался унять.

— Это ты выдумал! Нарочно выдумал! — кричала она, не помня себя.— Из зависти к нашей любви! Выдумал. Ненавижу тебя, обманщик, ревнивец проклятый! — Она заплакала, обливаясь злыми слезами.— Так знай же: у меня ребенок будет от Славика! Слышишь? Славиков сын!

Голос ее слышен был на весь перрон, раненые смотрели на нее как на безумную. Припав к окну, она с плачем и яростью исступленно кричала Степуре что-то оскорбительное, а он с поникшей головой молча принимал на себя удары ее горя и отчаяния.

— Успокойся, Марьяна, успокойся.

Она почувствовала на своем плече чью-то цепкую, суховатую руку и, оглянувшись, увидела Духновича.

Он стоял перед нею заросший, рыжий, некрасивый, на костыле, на ногах ботинки без обмоток, расшнурованные. Штаны заскорузлые от засохшей крови.

— Напрасно ты ругаешь его. Ты бы сперва расспросила. Ведь он,— Духнович кивнул в окно на Степуру,— сам раненый, кровью истекая, под пулями выносил на себе Славика из боя.

Марьяна сразу притихла, обмякла. «Сам выносил, из боя выносил...»

— Прости,— посмотрев на Степуру, сказала она чуть слышно.

Пошатываясь, как пьяная, она пошла от вагона, и, глядя ей вслед, они видели, что это уже пошла вдова. Косы вдовьи, горе вдовье невидимой тяжестью легло на ее опустившиеся плечи.

Добрела до трамвая, и вскоре он со звоном умчал ее по улице в город.

Сидела у окна, смотрела на город своего промелькнувшего счастья и почему-то из головы не выходила, все стучала в помутившемся сознании недавняя ее свадьба: «Долина глибока, калина висока, аж додолу гілля гнеться». Где-то он за Днепром похоронен. Харьков без Славика. Она без Славика. Навсегда без него. На всю жизнь.

Дома сестра Клава, встретив Марьяну во дворе, сообщила, что ее уже третий день ожидает от Славика письмо.

— Не сердись, что мы прочитали: живой, здоровый...

Марьяна молча зашла в дом и сразу увидела на столе в стеклянной вазе треугольничек письма.

— Да ты что, хворая? — спросила мать, глядя, как она слепо разворачивает письмо.

Склонившись и не отвечая матери, стала читать: «Марьянка, родная моя... Обо мне ты не беспокойся... Пришли мне хоть одну свою улыбку, а я тебе шлю свою уверенность в том, что мы бессмертны...» — и дальше шутка какая-то, дальше не могла уже читать. Упала головой на это письмо, забилась в рыданиях.

Мать и Клава ничего не понимали.

— Что с тобой? Чего ты?

— Славика... Славика уже нет. Он убит!

И будто потемнело в комнате, горе на какое-то мгновение сковало женщин. Потом сестра и мать, сами едва сдерживаясь от слез, принялись утешать Марьяну, успокаивать.

— Может, это еще не так?

— Может, ошибка, это же часто бывает...

— Нет, это правда, правда,— повторяла Марьяна, уставившись невидящим взором в окно, и глаза ее черно застыли в тупом оцепенении. Вдова. Вдова. Нет самого дорогого. Нет и никогда уже не будет Славика. А горе только начинается...

Вскоре Клава собралась на работу, во вторую смену,— оказывается, она уже работает.

Когда Клава ушла, мать присела возле Марьяны.

— Знать, вещало мое сердце, когда смотрела я на вашу свадьбу... Но что ж поделаешь... Не у тебя одной сейчас горе такое... Нужно пересилить, доченька...

— Где тато?

— Батько днюет и ночует на заводе,— рассказывала мать,— они теперь танки делают.

— И я пойду на завод.

— Ой, дочка...

— Пойду, пойду! — повторяла она.— День и ночь буду работать. Только больше бы танков! Тысячи, тысячи танков на них!

И, упав головой на стол, она опять зарыдала.

34

«Не нужно было ей об этом говорить. Зачем ей такая правда! — упрекнул себя в ту ночь Степура, продолжая свой путь в санитарном поезде.— Пускай бы лучше не знала или узнала бы от кого-нибудь другого, от Духновича, например, только не от меня».

Ее крик, крик внезапно раненного человека, до сих пор стоял в ушах Степуры. «Выдумал, нарочно выдумал!..» Неужели она хоть на мгновение могла это допустить, подумать о нем такое?

Правда, она знала Степуру только по прошлому, по тяжелой его ревности, и откуда ей было знать о том переломе, который произошел в Степуриной душе в последнее время? Славикова смерть все перевернула в нем. После всего пережитого Степура смотрел на погибшего товарища взором, уже не затемненным безрассудной студенческой ревностью, взором, очищенным и просветленным в горниле общих испытаний. Лагутин, он и только он, был достойным Марьяны, достойным ее любви, только он мог быть ее мужем, веселым спутником ее на всю жизнь. Теперь это было ясно Степуре. Душа Славика, простая и мужественная, его ум, острый и немного насмешливый, его красота, какая-то легкая и светлая,— все это было сотворено природой будто бы для Марьяны, для ее крутоватого нрава, ее диковатой красы... Страшно поду-

мать, но неужели для того, чтобы он, Степура, мог правильно, честно оценить своего соперника,— неужели для этого должна была разразиться катастрофа и должен был погибнуть Лагутин? Вспомнил, как увидел его во время перевязки, увидел прекрасное тело его с ужасной открытой раной... Тело, которое могло бы служить натурой для античных скульпторов, тело Дискобола или молодого Гермеса, таким его знала и любила Марьяна, а тут оно лежало изуродованное, изорванное, в самом своем расцвете обреченное на смерть и тлен. Перемололо в мясорубке войны и выбросило, и не вернется он к Марьяне даже калекой, хотя она и такому, наверное, была бы рада...

Санитарный поезд медленно, но неуклонно отдаляется от фронта. В вагоне уже готовятся ко сну, сейчас здесь только и разговоров об уколах да перевязках — этим живут тут люди, которые еще совсем недавно были здоровыми, знали и любовь и песни и были отважными в бою, а теперь, как птицы с подрезанными крыльями, только злятся на свою беспомощность.

Напротив Степуры лежит колхозник Довгалюк с раздробленной, зажатой в лубки рукой. Он был невольным свидетелем сцены на вокзале и все, кажется, понял по их короткому и такому беспорядочному разговору. Когда соседи уснули, Довгалюк подсел к Степуре на постель, заговорил вполголоса:

— Та, которая прибегала к тебе... Она тоже студентка?

— Студентка.

— По какой же она специальности?

— По истории.

— Не легкая у нее история... Она ему жена была или как?

— Перед самой отправкой на фронт поженились.

— Горячая дивчина, видать, с жаром в сердце, и такое горе постигло... Но пока детей нет, это еще полбеды. Переболеет, перегорит, а там и найдет себе. Вдовье горе такую не согнет, не прибьет. А что ты сказал ей сразу всю правду, это как раз добре, не раскаивайся. Хуже нет, когда люди начинают дурить

голову друг другу. Когда моего земляка убило в первом бою, я в тот же день написал его жене, чтобы знала. Пускай наплачется хорошенько, да и начинает думать, как быть дальше, как детей в люди вывести. Ох, дети, дети! Если б не они, легче солдату было бы и смерть принять.

— Сколько их у вас?

— Тройка. У меньшего еще только зубы молочные выпадают,— всю весну их на чердак забрасывал, чтобы новые покрепче росли. Не знаю, как там моя теперь с ними...

Довгалюк помолчал, прислушиваясь, как стонет во сне артиллерист на верхней полке.

— Не журись, ты еще найдешь свое счастье,— снова заговорил он, обращаясь к Степуре,— только бы живой остался... Не знакомы вот вы мне, ни ты, ни она, ни тот, третий, и не знаю я всех ваших тонкостей, а все-таки вижу, что было все в вас по-хорошему... А ведь бывает и по-иному. Возвращался в прошлом году хлопец из армии в Тарасовку, соседнее с нами село. Финскую прошел, срок отслужил, и вот домой, где мать его ждет и девушка-невеста. Ночь темная, осенняя, дождь проливной, слякоть, говорили ему на станции: «Погоди до утра, пойдешь, как рассветет». Не послушался. Не терпелось — пошел напрямик, на ночь глядя. В поле, недалеко от села, был колодец старый, обвалившийся, ни сруба в нем, ни воды давно уж не было. И — нужно же случиться такому — поскользнулся в темноте и — бух в колодец! Местность запущенная, хуторок когда-то тут был, но давно уже нету, люди редко сюда заходят: кричи — не докричишься. Однако в один из дней забрел сюда охотник, счетовод артельный. Собака нюхом его навела. Чемоданчик лежит у колодца,— солдат, падая, уронил его. «Вытащи!» — просит хлопец. «А кто ты?» — «Я — Андрей Михайлишин, из Тарасовки, демобилизованный». Что же, согласился. «Вытащу, кажет. Бросай сюда свою амуницию, ремни». Попробовал связать те ремешки — не хватило, мол. «Сбегаю за веревкой!» Забрал все имущество солдатское, пошел домой да больше к колодцу и не возвратился. А думаешь

почему? Девушка, невеста того солдата, перед тем приглянулась счетоводу! Не раз подбивал клин, а она все отказывала. И тут вдруг такой случай. К тому же жаднющий был, даже на солдатское добро позарился...

— А с солдатом что ж?

— Погоди, доскажу. Сидит счетовод дома день, и другой, и третий, а у матери и у девушки уже тревога, бо солдат перед тем телеграмму отстукал: еду, мол! Ждут-пождут, а его все нет. Телеграмму в часть — и там не оказалось. Через какое-то время и счетовод не выдержал, пришел в сельсовет да сам все и рассказал. Не все, конечно, как было на самом деле: во время охоты заглянул-де в колодец, обвалившийся, кулацкий, увидел там мертвого человека... Видно, упал, силился выбраться, землю руками царапал, но — где там, глубоко... Пошли всем селом, вытащили беднягу. Мертвый-то он мертвый, босой и без ничего, да только в нагрудном кармане гимнастерки записка, как от живого! А в ней все и рассказано: как шел ночью, как упал в колодец, как такой-то на него наткнулся и, обманув, бросил... Так-то бывает.

Слушая его, Степура воочию представил себе ту ночь, и красноармейца в колодце, и то, как счетовод к нему пришел вслед за собакой, а потом ушел и не вернулся... Оказывается, в жизни случается еще и такое... А разве ты тоже не стоял какое-то мгновение над подобной же бездной, хотя и выглядела она иначе? Но ведь ты победил, ты раздавил в себе того минутного зверя и дал простор человеку, и человек вынес из боя на себе товарища и готов был, рискуя собственной жизнью, под пулями нести его тысячу верст, чтобы положить его к ногам единственной любимой. «Вот тебе твое счастье, Марьяна. Я принес, я добыл его для тебя из огня, тебе отдаю и ничего не требую взамен!.. Нес, но не донес, и не моя в том вина. Вместо счастья весть черную тебе принес, горя столько, что его хватит на всю жизнь». Что она думает там сейчас, в эту первую вдовью ночь? Разве не в такие ночи, не от такого горя становились девчата в песнях тополями в поле, вырастали кустами

красной калины из той земли, где казацкое белое тело лежит?

Всю ночь думал Степура о Марьяне. Что-то братское появилось в его чувстве к ней. Еще ближе становилась она ему в своем несчастье, и нежность чувствовал к ней более глубокую теперь, но одновременно чувствовал и то, что со смертью Славика возникла между ними какая-то непроходимая пропасть, пропасть, которую он, вероятно, уже никогда не сможет переступить.

Час за часом поезд шел ночным неведомым краем, останавливался на каких-то крохотных станциях, и тогда видны были деревья за окном, темные, грузные, словно бы отлитые из чугуна. Порою в просторах ночной степи проплывали причудливые нагромождения, похожие на египетские пирамиды. Что бы это могло быть?

В вагоне все спали. Довгалюк храпел на своей полке, и во сне поддерживал зажатую в лубки руку. Уже перед рассветом, утомленный беспокойными своими думами, задремал и Степура.

То, что представлялось ему загадочным и непонятным ночью — те черные египетские пирамиды по степи,— сейчас, при свете дня, оказались терриконами Донбасса.

Терриконы. Шахты. Трубы заводов — донецкий, суровый, прежде не виданный Степурой край. «Это тоже твоя Украина,— все говорило ему.— Угольная, черная, шахтерская, с терриконами, что высятся в степи, как немые величественные памятники человеческого труда... Этот край достоин твоих песен не меньше, чем родная Ворскла, чем лунные полтавские ночи с вербами да соловьями».

Сейчас, однако, ему было не до песен.

Шахтерские жены встречали солдат на перронах станций, и на их лицах написано было горе, суровость, а глаза искали и искали среди раненых кого-то самого близкого, самого дорогого. Вспомнил Степура, что и мать Павла Дробахи живет где-то в таком вот шахтерском поселке и, может, выходит каждый день высматривать сына, может, и теперь стоит вот тут в

толпе, стоит и ждет, что подойдет к ней кто-то и расскажет о его судьбе...

Шахтерские больницы, даже школы во многих поселках были превращены в госпитали. В один из таких госпиталей положили и Степуру. Когда выгружали их из автобуса на школьном дворе, первое, что он увидел, была гора беспорядочно сваленных под открытым небом школьных парт, а возле высилась куча выброшенных после перевязки грязных окровавленных бинтов.

35

В тот же госпиталь, только двумя днями раньше, с партией раненых прибыл и Спартак Павлущенко. В бессмысленной атаке, предпринятой Девятым, Спартак был легко ранен пулей, а вот на днепровской переправе, во время налета немецкой авиации, он едва не погиб от бомбы. В госпиталь его привезли контуженным, и теперь он только начал поправляться. Ему перекосило скулу, весь он был измят, а что еще хуже — утратил дар речи. Это его больше всего угнетало, представлялось ему самым ужасным: боялся на всю жизнь остаться немым.

Тяжкие думы не оставляли в эти дни Спартака. Слишком большим оказался разрыв между его прежними представлениями о жизни и новой, жестокой наукой, преподанной у Роси. К таким испытаниям, какие свалились на него, он вовсе не был подготовлен. Павлущенке до сих пор легко все давалось в жизни. Как-то получалось, что, начиная со школьной парты, с пионерского отряда, он всюду был впереди, везде его избирали, и даже когда стал студентом, и тут, словно бы по традиции, из года в год он попадал то в факультетское комсомольское бюро, то в члены комсомольского комитета университета и еще более утверждался в уверенности, что жизненное его призвание — руководить, находиться все время на виду, быть во всем инициатором, запевалой.

Та бессмысленная атака на Роси многому научила его. Если на первых порах Девятый своей решитель-

ностью вызывал в Спартаке искренний восторг, то после атаки он готов был плюнуть Девятому в лицо. Он не мог простить ему, что атака была так легкомысленно организована и закончилась лишь напрасными жертвами. Люди, которые шли в атаку, гибли, даже не увидев противника. И это в то время, когда каждый из них при других обстоятельствах способен был совершить подвиг, стать героем, увидеть вокруг себя груды поверженных врагов. Однако и теперь, когда все это отошло в прошлое, Спартак вновь пытался найти какое-то объяснение атаке. «Девятый послал нас под пули, на гибель, но, может быть, так было нужно? Может, жертвы, представляющиеся нам бессмысленными, продиктованы какой-то военной целесообразностью, может, они все же, хотя на миг, задержали продвижение неприятеля?»

Во всем этом Спартаку хотелось сейчас разобраться, доискаться истины.

Милая и добрая девушка, смуглявая шахтерочка Наташа ухаживает за ним в палате. Молоденькая, хоть и рано располневшая, она стала медсестрой после десятилетки и среди других сестер выделяется тем, что как-то по-особенному ласкова и внимательна к раненым. Для Спартака это единственная радость, когда Наташа забежит в палату и глянет в его сторону, а потом они о чем-нибудь побеседуют при помощи бумаги и карандаша. Наташа, как никто, умела подбодрить его в самую тяжелую минуту, и, может, только благодаря ей он не пал духом окончательно. Она была уверена, что он заговорит.

— Все будет в порядке,— улыбалась она, и ему становилось легко от ее улыбки.

Когда Спартак узнал от Наташи, что прибыла новая партия раненых и среди прибывших есть несколько студентов, то сразу попросил ее пойти и разузнать, кто именно эти студенты. Ему очень хотелось все выяснить, он лихорадочно перебирал в памяти друзей и знакомых и чувствовал, что кто бы это ни был, каждому он сейчас будет рад от души.

Наташа возвратилась довольная (видимо, ей приятно было услужить ему), а вслед за нею в палате,

стуча костылем, появился — кто бы мог подумать! — Духнович, казалось, еще более долговязый, стриженый, в грубом каком-то потрепанном халате, он улыбался, как бы говоря: «Погляди, какой я теперь смешной...»

Присев на табуретке возле Спартака и стараясь не смотреть на его перекошенную скулу, Духнович сообщил, что ранение у него пустяковое, и что ему здесь нравится, и что среди прибывших «славный наш поэт Степура», он сейчас на перевязке...

«А Колосовский? Вернулся он из разведки?» — спросил Спартак запиской.

Духнович рассказал все, что знал о Богдане, о том, что разведка закончилась успешно и что в бою с танками Богдан тоже отличился.

— И сейчас немчуру где-то колошматит,— закончил Духнович с гордостью за товарища.

Он посидел недолго, посетовал на то, что не сбежал в Харькове с эшелона, не подался на лечение к родителям, пошутил над своим видом, над халатом, который почему-то казался ему арестантским, но вся эта словоохотливость была какой-то напускной, видно было, что со Спартаком Духнович чувствует себя скованно, к тому же, кажется, ему неприятно было смотреть на перекошенное лицо Спартака и слушать вместо членораздельной речи какое-то бормотание, с которым взволнованный Павлущенко пробовал к нему обратиться.

И все-таки после этого посещения на душе Спартака сделалось как-то легче, спокойнее. Духнович не принадлежал к числу тех, с кем Павлущенко мог скорее всего найти общий язык,— это, конечно, так, но сейчас ему дорог был каждый из студбатовцев, он, кажется, был бы рад и Колосовскому. И разве это не ирония судьбы: именно теперь, когда у него есть что сказать товарищам, появилось в сердце нечто новое, человечное, теплое, чем он хотел бы поделиться с ними,— именно теперь контузия лишила его дара речи.

— Все будет хорошо,— утешала его Наташа, очевидно разгадав самое страстное его желание.— Это скоро пройдет, обязательно пройдет. У нас уже был такой случай.

Ночью он метался на своей койке. Тишина в госпитале, лишь то тут, то там прорвется стон, а ему душно, хочется кричать, сказать всем, на весь мир, что он уже не такой, каким был совсем недавно, что собственное горе сделало его более чутким и к другим. О, если бы к нему только возвратился дар речи, если бы он мог говорить! Вся воля его, все желания были сейчас устремлены к этому.

Измученный, провалился в тревожный, горячечный сон, а проснувшись вскоре, весь в поту, почувствовал вдруг, что и впрямь может заговорить. Вот так — возьмет и заговорит! Добудет, вымолвит любое слово, какое только захочет!

Поднялся, накинул на себя халат и, осторожно, чтобы никого не разбудить, прокравшись на воздух, полный радостного предчувствия, помчался в степь. Там попробует! Там сбросит с себя кандалы контузии. Путаясь в халате, бежал напрямик к ночным терриконам, чтобы там, на воле, убедиться, не обманывает ли его предчувствие, на самом ли деле к нему вновь возвратился материнский дар!

Остановился перед терриконом, запыхавшийся, готовился вымолвить первое слово, и стало вдруг жутко: а что, если не выйдет? Что, если потеряет здесь последнюю свою надежду?

Набрался духу и, замирая от неуверенности, от страха, выдавил из себя, сначала тихонько, еле слышно, а потом смелее:

— Ма-ма... мама!

И, запрокинув голову к небу, ошалев от радости, закричал во всю силу легких:

— Мама!! Я говорю!!!

36

Рассвет, самый чудесный в его жизни рассвет, занимаясь над терриконами, напомнил Спартаку, что пора возвращаться в палату.

В полуосвещенном коридоре госпиталя неожиданно столкнулся с Наташей.

— Откуда вы? Что с вами? — вскрикнула она приглушенно, а этот ночной нарушитель вместо ответа радостно схватил ее в объятия, будто пьяный. И хотя она не сопротивлялась, губы ее сами собой шептали:

— Что вы делаете? Врач увидит!

— Пускай видит... Я же тебя люблю!..

Он говорил. С трудом, с натугой, с запинками, но говорил. Теперь она поняла, что с ним произошло,

поняла, что творилось в его душе. Хоть это было безумием, было против всяких правил — стоять вот так в госпитальном коридоре и обниматься, тем не менее некоторое время она так стояла, отдавшись на волю его внезапно прорвавшейся горячей нежности. Потом осторожно, мягким, ласковым движением отстранила его.

— Иди. Иди в палату.

— Без тебя?

— Я приду.

Он почему-то был уверен, что Наташа придет. И вправду, она пришла, когда Спартак уже лежал в постели. Пробралась в палату, крадучись и не зажигая света, приблизилась к его кровати, тихо, бесшумно села возле него, и он взял ее руку. Он знал и раньше эту руку, полную и шершавую, когда она касалась его, выполняя свои сестринские обязанности. Но теперь эта рука была какая-то иная. Взял и гладил. Первый раз в жизни. «В жизни,— думал он,— много есть редкостного, неповторимого, что бывает только один раз. Первое вымолвленное тобою слово. Первая любовь».

«Вот и мое счастье нашло меня,— думал он радостно.— Явилось в образе этой смуглой кареокой шахтерочки, которая из всей палаты, из всего госпиталя избрала почему-то меня и сидит сейчас вот тут, рядом со мной, в предрассветной полутьме, и я вижу, как взволнованно дышит ее грудь под белым накрахмаленным халатом». До сих пор он отделял девушку от себя некоей служебной неприступностью, а теперь уже не отделяет, рука Наташи в твоей руке, ты чувствуешь ее нежность. И пусть это будет так всегда.

Наташа понравилась ему тотчас же, как только он ее увидел. Ему нравилось, как она входила в палату, как улыбалась, ласково и немного лукаво. Нравилось, как раздавала термометры и терпеливо выслушивала грубости тяжело раненного сержанта, который лежал в противоположном углу. Когда она подходила к кровати Спартака, ему казалось, что она улыбается как-то особенно, вроде бы приберегает для него что-то за своей улыбкой. Чувство, пробуждавшееся в нем к На-

таше, облегчало его страдания, в часы ее дежурств к нему приливали радостные силы, и всякий раз, когда она присаживалась возле него на стульчике, ему хотелось коснуться ее, но тогда он не имел на это права, а сегодня на все имеет право, ведь это она выходила его, подняла, сделала человеком.

— Я знала, что ты поправишься,— тихо, как-то бархатно говорила Наташа,— поправишься и заговоришь.

— Это все ты...

— Ну, что я... Хотя я этого и вправду очень хотела. Мне почему-то было так жаль тебя... Приду, бывало, домой и дома думаю: как там мой студент?

В противоположном конце палаты кто-то закашлял, застонал спросонок, затянул обычное:

— Сестра-а!

Наташа сразу сжалась, быстро нагнулась к Спартаку, коснулась его щеки своей разгоряченной щекой. Он почувствовал, как пахнут ее волосы, ощутил ее дыхание.

Еще миг — и ее уж не было, уже стояла возле того, кто позвал ее,— это был артиллерийский старшина Христенко, которому она несколько дней назад дала свою кровь. Вся палата знала, что Наташа, когда начали привозить тяжелораненых, добровольно согласилась быть донором, и за это в палате ей еще больше симпатизировали, а Спартак знал, что она и не могла поступить иначе, его Наташа, его любовь.

Так это началось. Началось на рассвете, а днем, хотя Наташа и была свободна от дежурств, она несколько раз забегала в палату, будто случайно, будто по какому-то делу, а Спартак знал, что это ради него. Уже от порога ее глаза сверкали прямо ему, ему несла она свою самую ясную, добрую, самую прекрасную в мире улыбку.

Брала у него какую-то книгу, а в той книге между страниц уже лежала для нее записка. «Как я люблю тебя, Наташа, солнышко мое, моя спасительница!.. Как хочу, чтобы мы с тобою были всегда вместе!» А через некоторое время она приносила ему другую книгу, якобы взятую для него из библиотеки, и он находил там записку для себя: «И я тоже. Не видела

тебя час и уже соскучилась. Что это такое с нами? Мы нарушаем госпитальные правила, и, кажется, все уже о нас знают, а я почему-то ничего не боюсь...»

Чувство их, вспыхнувшее столь неожиданно, скоро действительно ни для кого уже не было тайной, да они и сами перестали скрывать его. Чистое, искреннее чувство, сразу сделавшее их богатыми, сильными, счастливыми,— зачем же прятать его? Разве кому-нибудь от него плохо?

Однако на следующий день Спартак встретил Наташу возле операционной в слезах.

— Что с тобой?

— Евдокия Павловна, врач, узнала все и отчитывала меня только что... «Это позорно, это непозволительно, я не потерплю разврата в стенах госпиталя!..»

Спартака бросило в жар.

— Где она?

— Не связывайся с нею, не нужно. Она хороший хирург, золотые руки, только вот беда — старая дева и ничего в этом не смыслит.

— Нет, этого так оставить нельзя.

— Что же ты сделаешь?

— Сегодня мы пойдем к тебе. Наперекор всему. Согласна?

— Хорошо. Пойдем.

После обеда они пошли к Наташе. Через весь шахтерский поселок промаршировал он с нею в своем госпитальном халате, стриженый, чуть ниже ее ростом, беспечный, и чувствовал только гордость, что идет рядом с ней, на виду у всех, как ее будущий муж. Это тоже было нарушение — выйти вот так за ограду госпиталя, идти к сестре домой, но Спартак сейчас способен был и не на такое.

Наташина мать знала о нем и, видно, ждала его в добротном шахтерском доме, откуда двое таких, как он, на этих днях отправились на фронт.

Спартак сидел с Наташей в ее девичьей горенке, где было уютно и тихо, на стене красовались наивные лубочные лебеди, над которыми он раньше только посмеялся бы, а теперь и эти лебеди чем-то были милы ему. Окно открыто в сад, там наливались на

солнце груши, и в горенке тоже пахло грушами: Наташина мать принесла полную тарелку и гостеприимно поставила перед ним.

— Это скороспелки, пробуйте, пожалуйста.

Когда мать вышла, Наташа села на кушетку совсем близко возле него, она уже не была заплаканной, только бледнее обычного — вчера снова давала кровь.

— Ты мой, мой! — блестела она глазенками и сама прижималась к нему.

Вчерашняя десятиклассница, она тем не менее казалась взрослее его; смеясь, призналась вдруг, что еще в школе целовалась с хлопцами, потому что у них в поселке девчата рано начинают целоваться, но все это были шутки, баловство, и только сейчас она почувствовала, как приходит это настоящее...

— Расскажи мне все про себя, про университет, про ваших девчат, про товарищей.

И он рассказывал ей все без утайки, как жил, как порой ошибался, какое чудесное было у них студенческое товарищество, какие славные эти хлопцы из студбата — Степура и Духнович. Еще был у них Колосовский, с которым Спартак нередко ссорился, хотя и не должен был делать этого,— теперь он это видит, и вообще он подчас бывал просто невыносимым и сейчас даже удивляется, как она могла полюбить такого...

— Нет, ты хороший, хороший,— уверяла Наташа.— Если ты так хорошо говоришь о товарищах, то и сам ты хороший... Я сразу угадала, что в тебе есть что-то необыкновенное и что на фронте ты был храбрым... Ведь правда, ты был храбрым, мужественным?

— Не знаю, каким был, но теперь, когда пойду, во сто раз лучше буду воевать, знай это.— С этими словами он прижал девушку к себе и не выпускал, а она вдруг почувствовала: сейчас он думает о том, как скоро им придется расставаться.

— Делаюсь сама не своя, как только подумаю, что тебя в любой день могут выписать. Ты не жалеешь, что так быстро поправился?

— Нет, не жалею.

— Я так и знала... Ведь не все ж такие — в госпитале всякого можно насмотреться: некоторые ведь и рады, что больше не вернутся,— будут работать в тылу, а вы, мол, хоть сто лет воюйте... Ты, я знаю, не такой, не такой!

Она всем сердцем верила в него: она все время видела его гораздо лучшим, чем он был в действительности, но это-то как раз и заставляло его быть лучшим, и сам он чувствовал, что отныне очень многое изменится в его жизни. Уйдет из госпиталя с ее любовью и будет воевать за эту любовь, всего себя отдаст борьбе с ненавистным врагом. Сейчас он не тешит себя, как в первые дни войны, никакими иллюзиями, не преуменьшает угрозы, что опасность смертельна, но знает и то, что борьба только развертывается и враг еще почувствует на себе силу уничтожающих ударов.

— У них техника пока лучше, но они не сломят нас, не завоюют никогда. Не такие наши люди, Наташа, чтобы признать над собой власть завоевателя, не для того революцию делали, чтобы превратиться в рабов...

— Это правда,— положила ему голову на плечо Наташа,— я вот о подругах своих думаю... Ко всему готовы. Если нужно в партизаны — пойдут в партизаны. На фронт — на фронт. Сестрами, санитарками, кем угодно. Ты знаешь, милый, я тоже ведь хочу проситься на фронт.

— Ты и тут нужна.

— Не хочешь, чтобы я была рядом с тобой?

— Я буду воевать за двоих. За тебя и за себя. А ты и тут воюешь — отдаешь раненым свою кровь.

— Это и комиссар мне сказал... А все-таки не удивляйся, когда на поле боя возле тебя вдруг появится твоя хорошая знакомая. В шинели и сапогах кирзовых, с большой санитарной сумкой.

Он прижал ее к себе еще крепче, с нежностью поцеловал карие ее глазенки, а сердце пело без слов: «Ты меня спасла. Ты сделала меня счастливым. И где бы я ни был, в любых боях, никогда тебе не придется краснеть за меня!..»

37

На сваленных во дворе партах сидят Степура и Духнович. У них тут свой укромный излюбленный уголок, где они коротают вечера в тихих и долгих беседах, засиживаясь иногда до глубокой ночи. Когда, выбравшись из палат, пропахших тошнотворными лекарствами, придут сюда и рассядутся вот так, на партах, в своих грубых госпитальных халатах, им становится вдруг странно, что это они успели побывать в боях, что на каждом из них уже затягиваются раны, полученные где-то на далекой Роси, и теплый этот вечер застает их в эвакогоспитале, среди терриконов Донбасса, а не на раскопках исторических мест. Тут звездно и тихо, а там, откуда их привезли,— в дымах Украина, в крови.

Нет для них больше университета, нет больше жизни, к которой привыкли, нарушены планы, которые каждый из них вынашивал, есть лишь страстное желание верить, что все это вернется, что из того свирепого черного урагана, что бушует сейчас за Днепром, родится победа.

Родится, но когда?

Они долго думают над этим. Они еще не знают, что будут снега Подмосковья, будут Сталинград и Курская дуга, им хочется верить, что эта историческая схватка произойдет значительно скорее, и не где-нибудь, а тут, в украинских степях, на Днепре. Живут тем, чем живет в эти дни весь госпиталь, весь шахтерский край: жадно ловят сводки Совинформбюро, с нетерпением ждут радостных известий о том, что там, на фронте, наступил наконец перелом... А добрых вестей нет, вместо них оглушительные удары сообщений о новых фронтовых направлениях, скупые слова о том, что после упорных боев оставлен еще один город, еще один важный рубеж.

Столько событий произошло за это время, и развиваются они с такой бешеной стремительностью, что ребятам кажется: прошло много-много времени с той поры, как они ходили в райком, прощались с университетом и, постигая военную науку, ползали по-пла-

стунски в Чугуевских лагерях. Сгорел их студбат, разбросало, разметало его...

— Инквизиция за все времена своего существования сожгла меньше, чем один какой-нибудь фашистский концлагерь...— размышляет Духнович.— Конечно, много было черного в истории людской, но какую поистине изумительную силу творчества, жажду открытий проявило в те далекие времена человечество! Марко Поло идет через континенты. Колумб плывет через океан. Солдат Сервантес и актер Шекспир творят для всех народов и для всех веков. Бурный рост гуманизма, города-республики... Нет, человек тогда был велик!

— А сейчас разве нет? — слышат Духнович и Степура из вечерних сумерек.

Из-за нагромождения парт появляется Спартак Павлущенко. Наверно, от Наташи. Он улыбается. Он счастлив. Он хмельной от любви.

— Теперь я вижу, что любовь приходит сразу же после контузии,— говорит Духнович.— Жалею, что меня не трахнуло так же, как Спартака, глядишь, и я попробовал бы этого меда... А так остается только поздравлять других. Поздравляем тебя, товарищ влюбленный!

— Она в самом деле славная девушка,— говорит о Наташе Степура.— Знает ведь, как наши хлопцы из окна порой выуживают на веревке пол-литра, знает, что некоторые в одних подштанниках убегают на целую ночь в поселок, но еще ни разу не накапала начальству. По сути она в сговоре с нарушителями порядка, но... Ты женишься на ней? — спрашивает он Спартака.

— Женюсь.

— Сейчас или после войны?

— Обстоятельства покажут.

— Хотелось бы знать,— будто спрашивает кого-то Степура,— много ли нас, студбатовцев, останется после войны?..

— Если останемся, нам нужно будет жить иначе,— говорит Спартак, усаживаясь с ногами на парте.— Совсем иначе, друзья!

— Как, разрешите спросить? — насмешливо поглядывает на него Духнович.

— Ты не иронизируй, Мирон.— Павлущенко, начиная волноваться, заикается.— То, что переживаем сейчас, не должно пройти для нас бесследно. Ж-жить дружнее, к-как-то теплее. С новым, более чутким отношением друг к другу... Так будем ж-жить... Разве это невозможно?

Закурив, Степура хмуро замечает:

— Этого действительно кое-кому из нас частенько не хватало.

— Я знаю, что вы сейчас ду-думаете, хлопцы. Вот, мол, Спартак влюбился и запел по-другому. В сантименты ударился. Но это не только потому, что влюбился... Рось кое-чему научила меня, хлопцы: жил я, вижу, не так, как должен бы жить. Вы имели все основания относиться ко мне пренебрежительно и холодно, а иногда и п-просто ненавидеть меня.

— Ты преувеличиваешь, товарищ комсорг.

— Нет, не преувеличиваю, Мирон. Чувствую, что перед некоторыми своими университетскими товарищами я действительно виноват, сильно виноват. Фронтовой наш университет, хотя и очень кратковременный, на многое открыл мне глаза. Я будто глянул на себя со стороны, глазами товарищей, сравнил себя с вами — с тобой, Духнович, с тобой, Степура, с Колосовским, и сравнение это, скажу вам откровенно, получается не в мою пользу. Вы казались мне людьми ненадежными, каких все время нужно держать в шорах, и я представлял себе, что все это должен делать именно я. А что мне давало на это право? То ли, что чуть не с пеленок начал считать себя непогрешимым? Что сам себе казался безукоризненным?

— Все это в конце концов можно понять,— как бы оправдывая его, тихо сказал Степура.— Мы жили в суровое время. Кругом нас были враги. Капиталистическое окружение... Война показала, что это далеко не пустой звук.

— Но она показала и другое. Лично мне, например, она показала, что, скажем, такой человек, как Богдан Колосовский, который казался мне человеком

ущербным, не колеблясь, берет оружие в руки и идет на подвиг, потому что несет в сердце своем нечто значительно большее, чем личные обиды.

— Ты тоже шел. Роту в атаку водил.

— Водил... Когда стану командиром, никогда не будет у меня таких бездарных атак. Я буду дорожить каждым бойцом, как комиссар Лещенко. Если умирать, так умри с наибольшей пользой для дела,— в этом вся суть, в этом наука войны.

— Лучше бы ее и вовсе никогда не знать, этой науки,— сказал, ковыряя костылем землю, Духнович.— Как это все-таки символично, что первым декретом нашей революции был декрет о мире! Для простых людей, видимо, ничто не может быть более ненавистным, чем война, военщина, милитаризм. Я думаю, рано или поздно человечество в конце концов покончит с войнами, они станут для него черным и постыдным прошлым, как, скажем, работорговля или каннибализм.

— Но чтобы покончить с войнами, нужно сначала покончить с фашизмом,— сказал Степура.— Уничтожить фашистский строй, пеплом развеять их тюрьмы и казематы... Посмотрите, что они несут народам, что делают они с поляками, чехами, с их культурой... Террор, концлагеря, крестьян сгоняют с земли, отдают ее осадникам. Читал сегодня о чехах? В стране запрещены чешские песни, в школах чешские учебники заменяют немецкими...

— Да, они распоясались, на всю Европу справляют свою дьявольскую оргию,— глухо промолвил Духнович.— Они и не думают, видно, что когда-нибудь придет расплата.

— А она придет,— сказал Павлущенко.— Не может не прийти. Они застали нас врасплох — вот почему нам сейчас так тяжело. Но ведь и в гражданскую войну было не легче. Четырнадцать держав против голодного, босого красноармейца... И чем кончилось? У них уже и тогда были танки, а что было у нас? Зато в душе каждого нашего бойца было такое оружие, которое и не снилось врагам революции!

— Оно, это оружие, есть и у нас,— сказал Степура.— Оно не ржавеет.

— А надежное идейное оружие даст нам возможность выковать и могучее оружие материальное,— продолжал дальше Павлущенко.— Пускай есть пока у нас промахи и дают еще о себе знать результаты нашего шапкозакидательства, и порядка надо бы побольше, но я уверен, это скоро пройдет. Вырастут наши армии, еще как вырастут! Не так, как Девятый, будем воевать, ведь и сейчас есть у нас иной, новый стиль. Думаю вот о комиссаре Лещенко. Такими, как он, представляются мне командиры и комиссары наших будущих победоносных полков и дивизий.

— Рядом с тобой поневоле становишься оптимистом,— улыбнулся Духнович, слушая разгоряченного Павлущенку.— Увидеть наступление. Увидеть, как гоним их, проклятых, как вызволяем наши села, наши города. А ведь в самом деле это будет? — глянул он на Степуру.

— Будет,— ответил Степура сурово.— Обязательно будет.

С госпитального крыльца дежурная сестра уже настойчиво звала их в палату.

38

Быстро в это лето заживали солдатские раны.

Не успели хлопцы обжиться в своем уютном госпитале, как их уже выписывали, срочно освобождая место для новой партии раненых, только что привезенных с фронта.

Врачи так и не стали вытаскивать осколков из Степуриных ног. Просветили рентгеном, посоветовались и сошлись на том, что лучше к этому добру не прикасаться.

— Пускай сидят. Кость не повреждена, вытащим после войны.

В иных условиях Степуре в его состоянии, конечно, нужно было остаться в госпитале, как и многим другим раненым, но не такое сейчас было время. От-

правлялись, даже не сняв бинтов, и Наташа, провожая команду выздоравливающих на вокзал, чувствовала себя так, словно бы в чем-то провинилась перед ними, словно бы это она выписала ребят преждевременно.

— Может, в батальоне для выздоравливающих вас дольше продержат,— неловко оправдывалась она, бросая жалостливые взгляды то на Павлущенку, то на Степуру.

Как это ни странно, но сейчас бодрее всех был Духнович. Не беда, что он, как и Степура, малость прихрамывал, он не мог отказать себе в удовольствии посмеяться над своим весьма не воинственным видом.

— Дон-Кихоты без Россинантов, рыцари печального образа в потрепанных обмотках,— дурачился он по дороге к вокзалу.— А вообще это вы хорошо сделали, Наташа, что вовремя спровадили нас, иначе не только Спартак, но и я, грешный, влюбился бы в вас. Отбил бы у Павлущенки.

— Нет, не отбили бы.

— Так крепко сошлись характерами?

Наташа зарделась.

— Крепко.

На ходу она прижалась к Спартаку, влюбленно заглянула ему в лицо своими добрыми, ласковыми глазами.

Степуре Наташа напоминала чем-то Марьяну,— может, этими вот черными косами, которые были закручены тугим узлом и выглядывали сзади из-под белой накрахмаленной косынки. Наташино простодушное сочувствие и это ее ощущение вины, хотя она ни в чем, собственно, не была виновата, как-то растрогали Степуру, вызвали в нем ответное желание утешить эту милую, добросердечную девушку, сказать ей, что виновата во всем только война, которая шлет и шлет сюда искалеченных людей.

На станции — проводы. Женщины-шахтерки толпами провожали своих мужей и сыновей, которых, по слухам, отправляли в Чугуев, в те самые лагеря, которые совсем еще недавно прошли студенты-добровольцы. Новобранцы, видать, только что вылезли из

забоев, вышли из душевых — блестят на солнце мокрые шахтерские чубы. Плач, пение, звуки гармоник по всему привокзалью, повсюду распевают в полную глотку о том, как вышел в степь донецкую парень молодой...

Внимание Степуры привлекла одна компания в пристанционном скверике: сидя под деревом, старательно пиликает на гармошке подросток, серьезный, бесстрастный, как юный Будда, а напротив него среди водочных бутылок, разбросанных по вытоптанной траве, в кругу родственников пляшут двое, похоже, отец и сын. Они такие же серьезные, как их юный гармонист. Отец лишь редко, сосредоточенно притопывает ногой, как бы экономя силы, больше дирижируя руками, а парень весь в буйном отчаянном танце, бьет, прибивает землю, брызгами летят из-под его ног пустые бутылки. Чуб растрепанный, мокрый, пот течет ручьями, а он все отплясывает.

В толпе родственников стоит дородная круглолицая украинка,— видно, мать этой семьи, и, сложив руки на груди, не вытирая слез, что катятся у нее по щекам, все глядит и глядит на эту невеселую пляску отца и сына. Черный суконный пиджак сыновний висит внакидку у нее на плечах, родственники обращаются к ней с какими-то словами, а она, не слыша их, все глядит сквозь слезы на хозяев дома своего, на мужа и сына, на прощальную их пляску...

Распростившись с Наташей, ребята сели в вагон — ехать им на юг, к морю. Из окна вагона они некоторое время еще видели, как неугомонно пляшут те двое шахтеров. Молодой — бледный от солнца и от выпитой водки — по-прежнему упрямо идет по кругу, а старый, еще больше ссутулившись, мрачно дирижирует руками.

На узловой донецкой станции, шумной, многолюдной, переполненной эвакуированными женщинами и детьми, студбатовцы во время остановки стали свидетелями бурной сцены: прямо перед ними, брошенный откуда-то сверху, вдруг трахнулся об асфальт огромный чемоданище, трахнулся, раскрылся, а из него — ворох деньжищ! Полный чемодан денег! Тугие пачки

новеньких червонцев, тридцаток, сотенных лежали у ног людей, и никто их не трогал. А вслед за чемоданом со ступенек вагона женщины-шахтерки с яростным криком волокли уже и хозяина чемодана — какого-то лысого толстяка.

Поставленный женщинами перед своим растерзанным, разбитым чемоданом, он пробовал что-то объяснить им, в чем-то оправдаться, а женщины, не слушая, разъяренные, награждали его щедрыми звонкими пощечинами.

— Паразит! Хапуга! Казнокрад!

— Наши в боях умирают, а он наживается!

— Зарплату чью-то присвоил, не иначе!

И снова на весь перрон слышится сочное: хлясть, хлясть! А толстяк только по-рыбьи вскидывается от пощечин и с каждым разом все шире таращит глаза.

Прибежал милиционер, высокий, с подтянутым животом, и хозяин чемодана тотчас же бросился апеллировать к нему. Однако вывалившиеся из чемодана пачки денег, к которым так никто и не прикоснулся, говорили сами за себя, и милиционер быстро сообразил, что за субъект стоит перед ним.

— Ваши документы!

Оказалось, этого типа волной эвакуации занесло откуда-то из-за Днепра, сам он работник банка, и чемодан, конечно же, набит казенными деньгами, чьей-то зарплатой, которую он не забыл прихватить, пустившись наутек в глубокий тыл.

Милиционер, по-видимому, в душе сам был заодно с женщинами, потому что, когда они, подняв шум, снова стали доставать лысого, представитель власти сдерживал их больше для приличия.

Чем эта сцена закончилась, хлопцы могли только догадываться: поезд их вскоре отошел от перрона.

— Не завидую я этому типу,— заметил Духнович, растянувшись на полке.— Не хотел бы я его чемодана...

— Накипь времени, грязная пена,— буркнул Степура, закуривая.— Меня больше те интересуют, что отплясывали в скверике. Может быть, и сейчас еще пляшут, а? Сколько печали и силы в этой их пляске...

В тот же день они увидели море. Тут, на окраине города, на огромной территории приморских парков расположился батальон выздоравливающих, «выздоровбат».

Когда студбатовцы регистрировались, среди писарской братии им неожиданно встретился знакомый — Лымарь с геофака.

— О, и вы тут,— уткнув острый подбородок в свои длиннющие списки, сказал он так, будто только их тут и не хватало.— Здесь уже есть один ваш историк...

— Кто? — спросил Степура.

— А этот, высокий... Колосовский. Он сегодня из здешнего шахтерского санатория приехал...

Это известие взволновало студентов: Богдан здесь, их полку прибыло!..

— Как нам его найти? — обрадованно спросил Степура.

— До вечера, пожалуй, не найдете — тут на весь день разбредаются кто куда.

Через некоторое время Лымарь, освободившись от своих списков, смог наконец уделить внимание университетским товарищам. Расположились в тени под деревом, и Духнович, рассматривая испачканные чернилами пальцы Лымаря, бросил насмешливо:

— Штык, значит, приравнял к перу?

— Как видишь.

— А не смог бы ты и мне тут протекцию устроить? Писарем аль хотя бы писарчуком?

Лымарь понял издевку.

— А как у тебя с почерком?

— Как курица лапой,— ответил за Духновича Степура.

— Ну, тогда трудновато будет,— сказал Лымарь, улыбаясь как-то не только губами, а даже и своим остреньким носиком.— Писарем — это, брат, надо уметь.

— Верю, верю... А ты надолго застрял? — допытывался Духнович.

— Это как прикажут. Наше дело солдатское.

— Да, брат, ты настоящим солдатом стал...

Лымарь сорвал листик с дерева, пожевал, выплюнул. Судя по его тону, ирония Духновича его не задела. Он продолжал:

— До сих пор мороз по коже пробегает, как вспомню ту рожь... Люди бегают в крови, а сверху свистит, грохает, среди бела дня черно становится — конец света, рев, схватка демонов, безумство стихий! Слышу крик, стон, бегу куда-то, путаюсь во ржи и падаю, и нет стыда — только ужас! — Лымарь рассказывал все это так, будто его собеседники там не были и ничего подобного не испытали. И за словами его стоял животный страх и горькое раскаяние: «Вот твое добровольчество. Жест! И ведь мог бы жить! А теперь умирай! Мина долбанет в спину — и каюк! Над всеми чувствами, над всеми желаниями — одно: выжить, во что бы то ни стало выжить, вырваться из этого адова пекла! Ординарцем, холуем, только бы в тыл! Судна носить! Нужники чистить!..» — И после госпиталя, как видите, повезло: писарь войска приазовского,— закончил Лымарь.

— Жалеешь, значит, что отсрочку сдал?

— Теперь жалей не жалей, а может, и не надо было нам спешить...

— А если бы все так думали? — нахмурился Степура.— Кто бы воевал?

— Вы, хлопцы, идеалисты. Разве не было у вас в госпитале таких, которые температуру себе нагоняли, бередили раны, только бы выиграть день-два? А я честно.

— Это, по-твоему, честно? — резко бросил Спартак.— Ты просто раскис.

— Называйте как хотите. Побыл, кровь пролил, хватит. Пускай другие попробуют. В тылу тоже люди нужны. Кроме того, ходят слухи, студентов скоро вообще будут отзывать с фронта.

— Это почему же? — удивился Степура.

Лымарь с таинственным видом зыркнул туда-сюда.

— Говорят, приказ вот-вот должен прийти насчет студентов, это я вам по-дружески говорю: отзовут всех нас.

— А тех, не студентов, кто в боях гибнет каждый день? — гневно глянул на Лымаря Степура.— Тех, которые уже полегли? Кто их отзовет?

— И чем мы лучше их? — спросил Духнович.— Интеллектуалы?

Лымарь отмолчался, а у хлопцев пропало всякое желание разговаривать с ним.

Колосовского они разыскали под вечер у моря с какими-то моряками и летчиками, похоже, госпитальными его товарищами: Богдан и пятеро или шестеро его спутников шли вдоль берега и смеялись; один из морячков, жестикулируя, рассказывал, видать, что-то очень смешное. На голове у Богдана из-под сдвинутой набекрень пилотки белела марлевая повязка, но рана, вероятно, его уже не беспокоила — он громко, от души хохотал.

Удивленный и обрадованный Богдан весело здоровался с хлопцами, тряс за плечи Духновича, Степуру, и, кажется, более всего его поразило, что вместе с ними увидел Спартака Павлущенку.

— Мы думали, ты и сейчас воеводишь на Роси, грудь в орденах,— пошутил Духнович,— а ты тут разгуливаешь, как и мы, грешные.

— Чиркнуло малость в тот же день, что и вас.— Богдан небрежно коснулся повязки.— А теперь прохлаждаюсь тут вот с ними.— Колосовский стал знакомить хлопцев со своими новыми друзьями.

39

Хотя сам Богдан редко бывал веселым, он любил людей озорных, жизнерадостных, удалых,— с такими-то и свела его судьба в госпитале, а потом он перекочевал с этой шумной ватагой сюда, в батальон для выздоравливающих.

Танкисты без танков, моряки без кораблей, пограничники с бывших застав, летчик, который горел в воздухе над морем,— все они, несмотря на трагичность времени, не теряли уверенности в себе, их дух не был сломлен, и это больше всего привлекало в них Коло-

совского... То были люди высокой пробы, Богдан чувствовал: им можно во всем довериться, дружба с ними крепка и надежна, такие никогда не подведут, такие в самую тяжелую минуту — в бою или даже в неволе — не предадут тебя, не побоятся глянуть смерти прямо в глаза с мужественным презрением. Не искали они укрытий, не искали для себя никаких лазеек в жизни, шагали по земле с открытым сердцем, на виду у всех, держались независимо, гордо, ни о чем не заботясь, ибо все, что нужно, было всегда при них: песня, и шутка, и дружба, и отвага.

Такие не скучают нигде, не скучали они и здесь, в выздоровбате.

Выздоровбат — это скопище людей на берегу моря, людей, прибывающих сюда еще в повязках, с еще не зажившими ранами, одетых в вылинявшие, со следами крови гимнастерки, «бывшие в употреблении», «БУ»,— и сами они — люди «БУ». Стреляные. Горевшие. Контуженые. С осколками в теле. С пулями в груди. Люди с примесью железа, стали.

Они ходят тут на перевязки, и помимо этого — никаких обязанностей. Живут как птицы небесные. В их полном владении парки, беседки, загородные пустыри; по вечерам — наперекор всем смертям — раздаются над морем их песни, а потом всю ночь полная луна льет на них свой призрачный свет, потому что большинство выздоравливающих ночует под открытым небом, в парках.

Утром для укрощения зверского молодого аппетита получают они буханки черствого хлеба да в придачу к нему веселое изречение старшины:

— Плесень — это здоровье. А для моряка — еще и гарантия, что никогда не утонет.

Свободного времени было предостаточно, и пользовался им всяк, как хотел. Степура и Павлущенко, сделав примитивнейшее приспособление, принялись ловить в море бычков; Духнович, хоть сам и не ловил, охотно помогал им в этом почти бесплодном занятии, а Колосовский тем временем с вольницей выздоравливающих отправлялся на далекие промыслы, за город, где можно день прожить на подножном корму,

где перед отощавшими хлопцами открываются плантации огурцов, моркови, помидоров — красных, мясистых, сочных. Добытые в этих походах дары природы доставлялись в лагерь и включались в общий пай — на пропитание тем, кому раны не позволяют участвовать в столь дальних вылазках.

— Тут нашего брата в самом деле, как волка, только ноги и кормят,— рассуждал вечером Духнович, грызя на берегу моря морковку, принесенную Богданом.— Вот скоро и мы со Степурой присоединимся к вам, конкистадоры.

— А ведь правду говорит Духнович. Кабы не эта огородная благодать, туговато бы нам пришлось,— горестно заключил Степура, налегая на помидоры.

— Когда тело отощает — это еще полбеды,— продолжал Духнович.— Вот Лымарь — тот отощал духом. Это гораздо хуже. Душевная дистрофия — болезнь опаснейшая, друзья мои.

Богдану приятно смотреть, как хлопцы с аппетитом уничтожают овощи, а море шелестит у ног, и неподалеку, в группе выздоравливающих, течет тем временем тихая беседа о жизни довоенной: тут любят вспоминать довоенное.

— Морѐ, видишь, какое красивое,— слышится чей-то ласковый голос,— но ничего я так не люблю, как смотреть на весенние ливни, ровно падающие на землю, или на хлеба, когда они созревают... И в тот выходной решил пойти в поле полюбоваться нивами — в райземотделе я работал,— только вышел на площадь, а из громкоговорителя: «Внимание! Внимание! Слушайте важное правительственное сообщение!» Разнос в тот миг промелькнуло в голове — что за сообщение? Война? Но с кем? Мысль прежде всего о войне — потому, видать, что это самое страшное. А уже через какой-нибудь час весь наш районный актив мчался по селам с секретными пакетами для председателей сельских советов. Приезжаю в один сельсовет — председателя нет. Где? На полевом стане! Мчусь туда. Подаю председателю пакет, вскрыл он его: повестки! Таким-то и таким-то собираться возле здания сельсовета. Молча берут повестки, молча разбегаются по

домам. Это молчание почему-то больше всего меня поразило...

— А меня в Севастополе беда эта застала,— повествует другой.— Ночью в небе загудели самолеты, в районе порта ударили вдруг зенитки. В огнях прожекторов видим, как один за другим спускаются над бухтой огромные парашюты,— позже мы узнали, пятисоткилограммовые мины сбрасывали немцы в бухту. Две упали на берег, несколько домов взрывом снесло. Курсанты наши выстроились по тревоге, стоят на линейке и не поймут, что такое: огни, парашюты, взрывы. И страшно и смешно. Только смех наш ненатуральный, нервный какой-то... Чьи самолеты? Турции? Германии? В шесть утра по радио объявляют: были самолеты, один сбит, по обломкам сейчас распознают, какому государству он принадлежал...

Поговорят — и снова молчание.

Море лежит перед ними спокойное, только лунная дорожка, простершись вдаль, тихо трепещет. От берега узенькая, а дальше — широкая, манит куда-то. Те, кому раны позволяют, купаются при луне, и видно, как поблескивают мокрые мускулистые тела, а вдоль берега всюду звучат песни, будто и нет войны, все тут как бы отрицает ее, это тихое море уже одним своим видом протестует против нее: «Я для шепота тополей... я для счастья влюбленных... для рыбацких костров... для мартеновских величественных огней...»

На берегу моря, неподалеку от лагеря выздоравливающих, раскинулся металлургический завод. Он работает с пригашенными огнями, замаскированный, но никакой маскировкой не может скрыть своего зарева, как здоровый человек не в состоянии скрыть своего здоровья, своего полыхающего румянца. Зарево чуть-чуть пробивается над цехами, и его видно далеко, порой в районе завода целую ночь хлопают зенитки, и тогда все небо — над морем и над заводом — в тревожном гудении самолетов, в лучах прожекторов. Сейчас ничего этого нет, лишь где-то далеко, за горизонтом, в море, время от времени слышатся глухие непонятные взрывы; возможно, немец опять бомбит теплоходы, которые везут из Одессы эвакуированных.

В выздоровбате есть такие, что чудом спаслись с тех разбомбленных в море теплоходов.

Когда Богдан сидит вот так на берегу моря, а хлопцы заводят разговор об университете, всякий раз перед ним появляется со своей легкой улыбкой Таня. Босая, припорошенная дорожной пылью, такая, какой он видел ее в последний раз в Чугуеве. Он написал ей уже две открытки, но не уверен, получила ли,— если бы получила, была бы уже здесь, он знает ее нрав. А может, еще приедет, может, еще застанет его перед отправкой на фронт? О, как он хотел бы увидеть ее, хоть на миг встретить тут, возле моря, среди горячих степей приазовских! «Где ты сейчас, хорошая, родная моя? Разве мы с тобой не имеем права на это море, на запахи степи, на шелест парков в эти лунные ночи?»

Сердце томилось тоскою, болью разлуки. Может, Таня уже выехала с родными на восток и письма его лежат в университете, не дойдя до нее? Подхваченная вихрем войны, неумолимо отдаляется она от него, а без нее все не то — и дивная южная ночь, и полная луна над морем, тихим, светлым...

Там, где луна, вдруг тревожно забегали прожекторы, тянутся своими острыми ножницами к далекому, молчаливому, мертвому светилу. Неужели будет налет? Или просто прощупывают небо?

Товарищи беседуют о приказе, согласно которому якобы начнут отзывать студентов, и Богдану в самом деле захотелось вдруг быть отозванным в жизнь иную, где не будет ни свиста авиабомб, ни грохота мин, ни гибели людей — а жизнь с самозабвенным трудом, с любовью, с белым, как мечта, университетом. Но желание это было минутным, он отогнал его прочь от себя, ибо то, что он пережил, что передумал за все эти черные недели войны, указывало ему дорогу в другое товарищество, к людям, которые подчинили себя законам войны. Танкист Вася, и юный летчик Андреев, горевший и не сгоревший в воздухе, и эти моряки, которые разлеглись неподалеку и тихо поют какую-то свою матросскую песню,— разве они ищут для себя облегчений, льгот? Они приготовились к са-

мому тяжелому. Мечтают, конечно, и они, но их мечты особенные: танкист думает о том, чтобы снова сесть в танк, а не оказаться в пехоте, летчик — чтобы поскорее получить самолет и подняться в небо, а сам он, Богдан...

— Не будем мы ждать того приказа,— говорит Колосовский, вмешиваясь в беседу хлопцев.— Если отзывать, то всех, а не избранных. Почему нам такое предпочтение? У нас что, дети? Семьи?

И товарищи согласны с ним. Им только хочется узнать, куда их отсюда направят и когда это произойдет. Не будут же они кочевать по тылам, пока война кончится.

— Может, о нас забыли? — улыбается Духнович, лениво бросая в море камушек за камушком.

Но о них не забыли.

Приходит утро — их уже строят.

— Артиллеристы — шаг вперед!

— Танкисты — два шага вперед!

— Саперы! Повара! Химики! Топографы...

По всему лагерю их собирают, сортируют, а потом писаря целыми днями заносят имена в бесконечные списки, в многочисленные, линейками разбитые графы. И чем скорее заживают, присыхают на выздоровбатовцах раны, тем чаще интересуются ими...

Стали появляться вербовщики из училищ; по случаю их приезда выздоравливающих опять выстраивают, снова звучит на плацу:

— Желающие! Шаг вперед!

Когда объявили о наборе в бронетанковое, Спартак Павлущенко сразу согласился, попробовал было уговорить и хлопцев. Степура и Колосовский наотрез отказались: как начинали пехотинцами, так и останутся ими. Духнович поначалу вроде заколебался:

— Вологда? Владимир? Это заманчиво!

Но потом отказался и он:

— Училище выпускает командиров, а я рожден быть рядовым. И хоть нашему брату, рядовому, достается на фронте, пожалуй, больше всех, зато после войны — разумеется, если к тому времени уцелеешь как мыслящая материя,— будешь вольной птицей. Сно-

ва перед тобой университет, и Николай Ювенальевич будет показывать тебе с кафедры какие-то допотопные разбитые горшки: «Ам-фо-ры! Золотая пыль веков!»

Подражая профессору, Духнович так торжественно, нараспев произносит это «амфоры», что ребята не могут удержаться от смеха.

В день отъезда Павлущенки они пошли провожать его на вокзал.

— Поверьте, друзья, иду в бронетанковое не потому, что, как Лымарь, передовой испугался,— горячо говорил Павлущенко у вагона.— Война надолго, и кадры командиров будут необходимы.

— Маршалом хочешь войну закончить? — съехидничал Духнович.

— Дело не в этом,— спокойно возразил Павлущенко.— Слава? Ордена? Да, я этого хотел. А вы разве нет? Рось отрезвила нас. Я увидел, что война — это не ордена, это горе народное, бедствие самое великое, какое только можно себе представить... И еще понял, что для победы одного желания мало, это я очень хорошо понял теперь. В броню хочу заковаться и пойти на них во всеоружии, а не как там, на Роси... На танках своих в Германию ворваться — вот чего я хочу!

Богдан понимал Спартака, понимал его настроение. В последнее время они сблизились, и то, что их раньше разделяло, теперь обоим казалось мелкими распрями, через которые им давно нужно было перешагнуть, подать друг другу руку с таким же доверием, как вот здесь, при прощании у вагона.

— Скажи, Богдан,— обращаясь к Колосовскому, промолвил Спартак, и в голосе его прозвучала какая-то неожиданная теплота.— За что твой отец был репрессирован?

Этого вопроса Богдан сейчас никак не ожидал.

— Думаю, за усы,— ответил он хмурой шуткой.

— За усы? — Павлущенко, видно, не понял шутки.

— Мой отец любил носить усы, длинные они были у него, черные, приметные. Как-то, помню, мальчишкой тогда был, один из товарищей отца сказал шутя

за столом: «Ох, Дмитро, отпустил ты усы запорожские, дадут когда-нибудь тебе по усам». Так оно и вышло.

— Ну, а кроме усов?

— За связи, возможно,— нахмурился Богдан.— Отец еще с гражданской дружил с Якиром, с Федько, с Блюхером... Вместе воевали...

— За то, что человек в дружбе был... Ну, я, скажем, за это не судил бы,— задумчиво молвил Спартак.— Без дружбы, думаю, отцы наши и революции не совершили бы...

Прозвучала команда, и Спартак торопливо бросился к вагону.

— Ну, бывайте, хлопцы!

— Будь здоров, друг...

Вместе с бойцами, отобранными в бронетанковое училище, Павлущенко вскоре был в вагоне. Его приземистая, коренастая фигура исчезла, скрылась среди других, и только видно, как он старается поглядеть еще раз на хлопцев через чье-то плечо. Было в этом его стремлении нечто такое, что растрогало Богдана.

— Прощай, друг,— крикнул он Спартаку, и ему стало жаль расставаться с ним. Где и когда они встретятся теперь? На поле боя? В госпитале? А может, и вовсе не встретятся?

Едва тронулся эшелон, как вслед за ним в том же направлении, на восток, двинулся другой: длиннющий товарняк, забитый заводским оборудованием.

— Говорят, авиазавод какой-то,— услыхали ребята от пожилого железнодорожника возле ларька, где они остановились выпить газировки.

Эшелон охраняли расставленные на вагонах зенитные пулеметы, все на нем было старательно уложено, укрыто брезентами.

Колосовский не отрывал от эшелона глаз. Тот помчался на восток с будущими курсантами военных училищ, этот — со станками, с моторами — на новые места, где он снова станет заводом. В движении эшелонов и даже в этих брезентах, зенитных установках — во всем чувствовалась властная направляющая рука.

— Целые заводы перебазируются на восток,— сказал Богдан хлопцам, которые тоже внимательно следили за набиравшим скорость эшелоном.— Конечно, оборудование это покамест мертвое, но ведь оно оживет. И как хорошо, что у нас есть сейчас, в самое критическое время, эта крепкая рука, которая все направляет, планирует, готовит в глубоком тылу могучие арсеналы. Иногда, проснувшись ночью, почти наяву вижу, как идут уже на фронты эшелоны нового вооружения, тыл возвращает сторицей то, что грохочет сейчас на восток, и фронты наливаются силой, и мы уже гоним врага назад, гоним быстрее, чем он сейчас наступает...

— Часто и я думаю об этом,— признался Степура.

Со станции студбатовцы вернулись уже под вечер. Еще издали увидели между деревьями парка гору арбузов. Подошли ближе — нет, не арбузы мелитопольские — каски зеленой горой лежат на опушке, молчаливо ждут их буйных головушек. Всюду суета, гомон, бойцы примеряют только что выданные им железные шапки, с озабоченным видом получают винтовки и патроны.

Кроме выздоровбатовцев, здесь вооружаются и недавно мобилизованные, которых накануне доставили сюда пароходом; людям сугубо гражданским, все им в диковинку, у одного это вызывает печаль в глазах, у другого — искреннее любопытство.

— Если пуля с желтеньким кончиком,— допытывался молоденький новобранец у своего сержанта,— это какие?

— Да я ж объяснял: трассирующие!

А другой, держа в руке обойму, приставал со своим:

— А эта — с черным и красным поясочком?

— Бронебойные! Зажигательные! — односложно отвечал занятый раздачей оружия сержант.— Постреляете — сами разберетесь!

Теплое предвечерье окутывало приморские парки. Где-то над самым морем взвилась песня, молодой

красивый голос вел ее легко, задумчиво, и к нему постепенно стал прислушиваться весь выздоровбатовский вавилон.

Із-за гори світ біленький,
Десь поїхав мій миленький...

Бойцы стояли под деревьями, сидели на лавках, на земле, среди своего нового оружия, и слушали бесхитростную эту песенку, как бы прощаясь с нею.

Пожилой красноармеец, видимо из запасников, в очках, похожий на бухгалтера, сидя среди солдат и прислушиваясь к песне, задумчиво вертел и вертел в руках только что полученную гранату-лимонку. То ли она в самом деле интересовала его своим устройством и формой, как может заинтересовать человека яблоко неизвестного ему сорта, то ли, прислушиваясь к песне, он крутил лимонку механически... Крутил до тех пор, пока не случилось ужасное: выдернулась чека, и бойцы, сидевшие рядом, услышав негромкий щелчок, враз шарахнулись от него.

— Бросай! Бросай! — закричали ему.

Судорожно стиснув гранату, красноармеец оторопело глянул по сторонам, ища, куда бы бросить, а бросать было некуда — всюду люди... «Что мне делать? Куда кинуть? Ведь кругом вы?» Растерянный взгляд его повсюду натыкался на лица таких же, как он сам... Он вдруг сорвал с головы каску, накрыл ею гранату и навалился на нее грудью...

Когда развеялся дым, едкий, вонючий, на искромсанной, сразу пропахшей гарью земле валялись лишь клочья — все, что осталось от запасника.

— Доигрался дядька,— вздохнул кто-то в толпе.

— Его же предупреждали! — сердито отозвался другой.

— Чеку невзначай выдернул, вот и все...

— Мог бы кинуть в сторону, но, видишь, пожалел товарищей...

Вскоре санитары убрали останки, молча и торопливо, а там, возле моря, где ничего не знали о том, что случилось здесь, все плыла в предвечерье песня — та самая песня об отъезде милого в далекие края...

Это была последняя песня, которую хлопцы слышали в выздоровбатовском лагере. Ночью их погрузили в эшелон, море и парки остались позади, и только луна, высокая, недостижимая, провожала их в ночные степные просторы.

40

Еще бьется энергетическое сердце Украины — Днепрогэс.

Еще дымит трубами под небом юга степной гигант «Запорожсталь», круглые сутки работают другие заводы, и ходят трамваи от старого до нового Запорожья,— а высоко над городом, как привидения войны, висят до утренней зари аэростаты. Команды девчат-аэростатниц запускают их с вечера, и воздушные часовые ночуют в небе, стерегут ночной город,— заводы тем временем работают на оборону, домны и мартены дают плавку.

Аэростаты в раннем чистом небе над Запорожьем, разбомбленные дома, огромные воронки на улицах, на площадях — вот чем встретил Богдана Колосовского родной город.

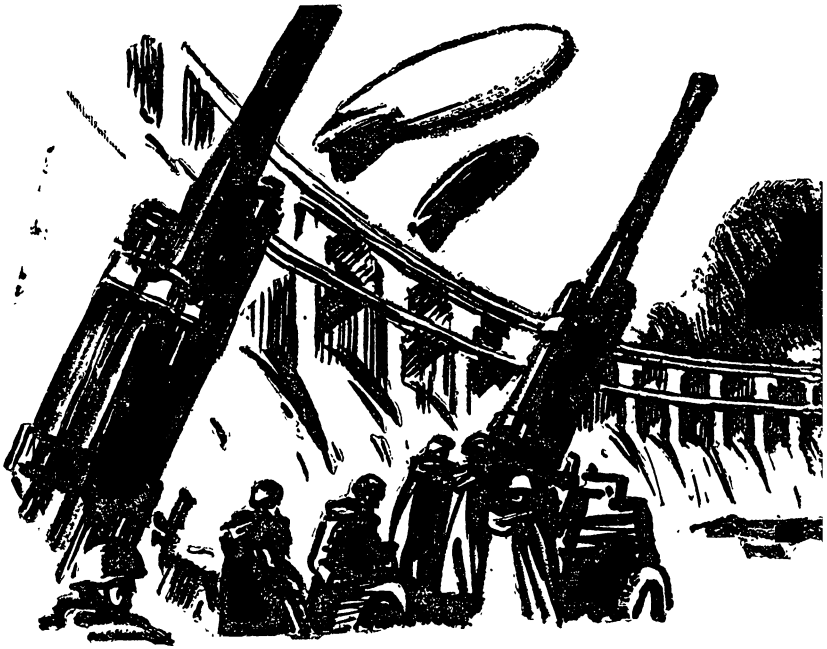
Когда бойцы высыпали из вагонов, кто-то, не разобравшись, даже пальнул в небо по аэростатам: спросонья ему показалось, что это вражеские парашютные десанты спускаются на тихий, повитый утренней дымкою город.

— Куда стреляешь? Своих не узнал? — закричали на него девчата, которые вели по улице на веревках аэростат, стянув его с неба, а он все вырывался у них из рук, будто хотел снова вернуться вверх, в небо, на свой высокий пост.

Выгрузившись из эшелона, бойцы форсированным маршем двинулись через город в сторону Днепра.

— На защиту Днепрогэса! Днепрогэс в опасности! — этим тут наэлектризован воздух.

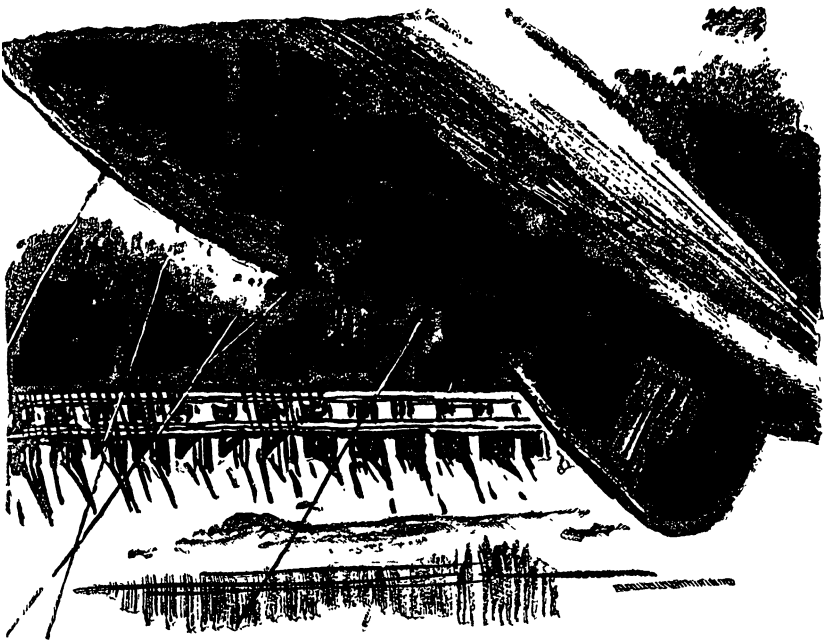
Неужели правда? Неужели опасность так близко? В эшелоне были разговоры, что направляют их куда-то за Днепр, на Кривой Рог, а то и дальше, а вот те-



перь, оказывается, вместе с запорожским народным ополчением они встанут тут защищать Днепрогэс.

Растянувшись по магистральной улице, идут все быстрее, быстрее, почти бегут, тяжело дыша, и гимнастерки темнеют от пота, и из-под касок грязными ручьями стекает пот.

Богдан сурово поторапливает бойцов своего отделения. Побрякивая оружием, спешит он с товарищами через знакомые места Шестого поселка, с болью душевной шагая мимо скверов, где теперь роют окопы, мимо кинотеатров, где не раз бывал, мимо залитых утренним солнцем кварталов, где жили когда-то его друзья и ровесники. Кое-где на местах домов — только кучи развалин, обломки стен, обнаженные комнаты... Так вот куда привела его судьба, вот в какую годину привела! Тут он вырос на его гла-



зах, возникал, ширился, этот новый социалистический город. Отец Богдана считал себя днепрогэсовцем, он служил в полку внутренней охраны, в том любимом запорожцами полку, над которым шефствовали заводы,— полк нес охрану Днепрогэса, и его бойцы выходили на первомайские парады в голубых, как днепровская вода, фуражках. Такая фуражка была мечтой его детства. В отцовском полку было все особенное — и фуражки, и оркестр с огромными сверкающими на весь город трубами, и, когда полк проходил по Запорожью, казалось, голубая река течет по широкой солнечной магистрали Шестого поселка. Впереди полка идет, чеканя шаг, человек мужественной и гордой осанки — то идет со своим почетным оружием черноусый твой отец, герой революционных боев на юге Украины, товарищ Колосовский! И вот теперь вместо

него ты, его сын, побрякивая оружием, спешишь по центральной улице Шестого поселка, только не в голубой фуражке, а в тяжелой зеленой каске, и уже не парад тебя ждет, а война.

Запорожские курсанты на грузовиках, ополченцы в промасленных кепках, в рабочих спецовках, и ты, курсант-студбатовец, вместе с товарищами,— все вы — в одну сторону, все — к Днепру.

У Богдана дух перехватило, когда впереди блеснула родная река...

Днепр! Синяя песня его детства, вот он уже ударил в очи лазурью, могучим разливом света, выгнулся дугою, забелел кружевами пены у высокой плотины... И огромная — через весь Днепр — бетонная гребенка быков, и краны над плотиной, и похожий на сказочный дворец дом электростанции на правом берегу, облицованный темно-розовым армянским туфом,— все это вместе с гранитом берегов, с лазурью Днепра, с зелеными холмами Хортицы, с высоким куполом неба сливается здесь в единое целое, встает как одно гармоничное творение, начатое природой и завершенное человеком. Сила и гармония. Свет и чистота. Кажется, ни пылинки никогда не падало на это сооружение, на все, что сияет тут новизной, какой-то праздничностью. Кажется, эта солнечная картина выхвачена откуда-то из грядущего как образец того, что когда-нибудь восторжествует на всей земле.

Бойцы движутся через плотину, измученные, с мокрыми спинами, нагруженные оружием, разгоряченные бегом. Под плотиной, далеко внизу, видно, как ходит рыба у самых бетонных быков.

— Гляньте, сколько рыбы! — кричит кто-то на ходу.

Рыба кишит под плотиной, чуть ли не уткнувшись в бетон. Вверх ей дальше плыть некуда. Всюду в прозрачных, пронизанных солнцем глубинах, как тени затаившихся торпед, темнеют рыбьи спины.

Ниже Днепрогэса широко раскинулся ослепительный Днепр, по нему то тут, то там выпирают из воды знакомые Богдану с детства камни, рыжеватые, будто прокаленные на солнце. Вот скала Любви. Два Брата. Скала Дурная, на которой, по преданию, запорожцы

дубинами выбивали дурь из тех, кто провинился... Купался не раз там Богдан, прыгая с мальчишками со скалы в ласковую днепровскую воду. Сейчас на камнях, как и в годы его детства, сидят разморенные солнцепеком белые крячки, днепровские чайки и глядят в эту сторону, на плотину, на пробегающих бойцов, на курсанта Колосовского, глядят и словно спрашивают: «Куда это вы? Что случилось? Почему вы все в такой тревоге?»

За скалами, за чайками — зеленая Хортица, славный остров казацкий в объятиях Днепра. Буйные сады по всему острову, над ними семидесятипятиметровые, самые высокие во всей округе мачты. Где-то там железнодорожный полустанок Сечь, на том полустанке Богдан садился в поезд, впервые покидая родной город, пускаясь в широкий мир...

На правом берегу в конце плотины какой-то контрольный пост. Распоряжаются тут военные в зеленых фуражках. Пограничники! Почему они тут? Дожить до того, чтобы государственная граница по плотине Днепрогэса проходила?! Суровые, замкнутые лица у пограничников, в глазах неумолимость. Преградив дорогу на плотину, сдерживают натиск беженцев, проверяют всех: кого — пропустят, кого — в сторону. Особенно насторожены к военным: не беглец ли, не паникер ли? Вот задержали какого-то длинноногого всадника, сидящего на коне без седла:

— Слазь!

Он ругается, кричит, у него на петлицах внушительные знаки различия, но на пограничников это не производит решительно никакого впечатления — стащили с коня, потому что нет уже для них ни чинов, ни знаков различия, есть только Днепрогэс, который нужно защищать.

Высоченные осокори склонились над озером Ленина. Наконец-то тень. Пока командиры что-то там выясняют, пополнение может немного передохнуть. Навалившись грудью на бетонированные парапеты в тени деревьев, бойцы все глядят на полноводное озеро Ленина, на Днепрогэс, о котором так много слышали и раньше.

— Я не думал, что это так величественно,— не отрывая глаз от Днепрогэса, говорит хлопцам Степура.— Какое сооружение! И это на Днепре, где столетиями несмолкаемо грохотали пороги...

— Да, это действительно гордость нашего века,— подхватывает Духнович.— Помните, Наполеон говорил в Египте: «Солдаты, с этих пирамид на вас смотрят сорок веков человеческой истории». Здесь на нас смотрят только пять лет, но зато каких пять лет — пятилетка новой, социалистической цивилизации...

— И нигде ни царапинки,— заметил кто-то из бойцов.— Авиация ихняя еще ни разу, видать, его не бомбила?

— Бомбил, да не попал,— бросил один из местных ополченцев, проходивших мимо.— В скалу шарахнул.

«Все, что так вдохновенно строилось, возводилось миллионами трудовых рук, разве же оно строилось для бомб? — думает Богдан.— На целые столетия мирной жизни было рассчитано это сооружение!»

— Мне кажется, на такую красоту рука не поднимется, будь ты варвар из варваров,— говорит Степура.— Забросать бомбами это изумительное творение человеческое...

«При мне тут укладывали первый бетон»,— думал Колосовский, и мысль его уже убегает в прошлое, в те времена, когда не только днем, но и ночью, при свете прожекторов, устраивались авралы, трудовые штурмы, когда заводские коллективы со знаменами шли к котловану, спасая сооружение от весенних паводков. Знакомые выплывают лица, далекие слышатся голоса...

«Вы, проектировавшие Днепрогэс. Вы, месившие тут бетон. Девчата-бетонщицы, грабари, монтажники, инженеры-энергетики, люди в резиновых сапогах, в комбинезонах, люди, днями и ночами работавшие тут,— вас хотят уничтожить одним ударом, под ноги войне хотят бросить ваш труд, ваш навеки зацементированный здесь пафос, энергию, вашу любовь...»

Резкие слова команды обрывают думы Богдана.

Идут.

Зелень и металл вокруг. Мимо черного железного леса трансформаторов, сквозь утопающие в садах

поселки — на голые, опаленные солнцем кручи Правого берега, где-то между новым Кичкасом и Великим Лугом пройдет по холмам их линия обороны. Чем выше подымаются, удаляясь от Днепра, тем горячее обжигает ветер их лица, ветер степного августа.

Вот они уже на круче. Остановились, придавленные тяжелыми горячими касками и небом, горячим, будто каска. Открытое поле, бурьян да посадки.

— Окопаться!

Достали саперные лопатки, отложили оружие — началась солдатская землекопная работа. Тихо вокруг, войны не слышно, неприятеля и признака нет. А они роют. Земля сухая, твердая, трудно поддается — окопы тянутся вдоль межи. Все тут седое постепному: седые полыни стоят, тысячелистник седой, серебрится неподалеку в посадках седая маслина. Колючая она, терпкие на ней плоды, а бойцы уже пасутся в колючках.

Вперемежку с армейскими подразделениями занимают оборону народные ополчения, бойцы военизированных заводских дружин, которые большими и малыми отрядами прибывают из Запорожья. Среди них немало таких, что еще ночью стояли у мартенов, а узнав об опасности, прямо со смены являлись в парткомы.

— Разбронируйте нас!

Бронированные и разбронированные, в рабочих спецовках, кое-как вооруженные, на ходу вскакивали в трамваи, и девушки-кондуктора впервые не требовали брать билеты: знали, куда люди едут, куда пойдут, соскочив с трамваев. Целыми отрядами появлялись они теперь на правобережных высотах, на выжженных зноем днепровских «кряжах».

Где враг?

А врага не было, был лишь зной и затишье степное под огромной каской неба.

Неожиданно ребята встретили тут среди ополченских политработников одного из своих студбатовцев — Миколу Харцишина с геофака. От него узнали, что остатки студбата влиты в другие части, Лещенко назначен комиссаром полка и продолжает воевать где-то на Киевском направлении.

Разговор с Харцишиным происходил на ходу; увешанный гранатами, запыленный, он спешил со своим отрядом куда-то еще дальше в степь и на вопрос: «Где противник?» — лишь пожал плечами:

— Никто ничего толком не знает. На грузовиках послали разведчиков в сторону Кривого Рога, в сторону Никополя, если вернутся — расскажут.

С Левого берега все время прибывает вооруженный люд, дружинники, ополченцы. Их встречают на высотах жадными расспросами:

— Как там, в городе? Что слышно?

— Всякая погань голову подымает... Муку тащат из пекарен — пыль столбом стоит!

— При мне двух мародеров на улице расстреляли: грабили магазины.

— А у нас — слыхали? — Какой-то белобрысый, запыленный ополченец, рывший окоп неподалеку от Колосовского, бросил лопату, весело огляделся во круг.— У нас ночью возле силового цеха меридиан лопнул!

— Что? Что? Какой меридиан?

— Известно какой: географический. В аккурат возле силового трещину дал. Быть бы аварии, если б не бросились сразу. А тут мигом — электросварщики и бригада с кузнечного,— у нас братва знаете какая! — до утра меридиан снова склепали, сварили, не увидишь, где и лопнул.

— От заливает! — кивнул Богдану пожилой рабочий, который поблизости ломал полынь для маскировки.— А положение-то ведь в самом деле аховское. Окопы уже роем возле ворот Днепрогэса. Не зря же нас подняли, а?

— Конечно,— ответил, хмурясь, Богдан.

— Приехал к нам ночью на завод какой-то высокий чин, чуть не из самого главного штаба,— продолжал рабочий,— ну, сказать, вроде начальника главка. Мы, дружинники, к нему: «Дайте оружие!» — а он нам: «Оружия нет!» — «Ну, а как же быть?» — «Куйте сабли». Думаем — шутит, а он всерьез: «Куйте». Известно, заводы у нас такие, что и черта выкуют, но где же ты вчера был, милый человек? Да и саблей ли

воевать сегодня, если мы и запорожцы? Как же это? А он, начальник тот, пожимает плечами: «Так сложилось». Обозлило меня это его «так сложилось». Не должно, говорю, у нас так складываться!..

Многое из того, что Богдан видел здесь сегодня, было и для него непонятным, не находило оправдания. Чувствовались беспорядок, растерянность, которой не должно бы быть в такое время, да еще возле такого объекта! Он полагал, что самые отборные воинские части, самые лучшие дивизии следовало сейчас бросить именно сюда, на защиту прославленного сооружения и такого промышленного центра,— во всяком случае, если бы это зависело от него, то он распорядился бы именно так.

Запасная дивизия. Курсанты. Заводские военизированные дружины... Они берут на себя сейчас всю тяжесть. «И чем меньше нас, тем больше ответственность ложится на каждого из тех, кто здесь окапывается,— подумалось Богдану.— Вот заводские говорят, что оборудование у них демонтируют, эшелон за эшелоном вывозят. Но ведь Днепрогэс не вывезешь, не вывезешь и Днепр! Его нужно защищать».

Группа рабочих стоит в полный рост на пригорке, они успокоены тишиной, разговаривают, посматривают вокруг. Над ними горячая голубизна неба, родные степи вокруг, а внизу, далеко за Днепром,— родной город с лесом черных заводских труб, растущих будто из земли. Рабочие задумчиво рассматривают все, что их окружает: и небо высокое, и степи, залитые солнцем, и затуманенный, задымленный город за Днепром. Богдан будто слышит их потревоженные мысли: «Это же наш отчий край. То, без чего мы не сможем жить...»

— Как на душе, запорожцы? — выбравшись из окопа, весело окинул взглядом оборону тот белобрысый озорник, что рассказывал о меридиане.— Напоим фашистской поганой кровью нашу землю сухую?

Из города грузовиками подвозят патроны, ручные гранаты. Эти гранаты только что изготовлены на запорожских заводах; они шершавые и будто бы все еще горячие после заводской обработки. Из ближних

колхозов привезли на обед харчи — огромные, густо посоленные пласты свежего сала, которое так и тает на жаре; снимают его с кузовов, расстилают перед бойцами, как белые медвежьи шкуры.

— Делите.

Был хлеб — белый, как солнце; сало — в ладонь толщиной; а воды вот не хватало. Весь Днепр выпили бы, будь он ближе!

Посланные за водой к Днепру приносили ее кто в чем: в ведрах, в котелках, в баклагах, а Степура принес днепровской водицы прямо в каске. Позвал Богдана, Духновича, и они возле его окопа пили из каски вволю.

Это была вкуснейшая в мире вода. Мягкая, сладкая, она пахла летним синим Днепром, и когда Богдан пил, не верилось ему, что будет иначе, что со временем они уже не смогут пить эту воду и только в воспоминаниях будет для них жить ее пресный, сладкий, ни с чем не сравнимый вкус!

41

Возле окопа Степуры — головастый чертополох, татарник, цепкий дикий цикорий да собачья роза цветет. На примятой полыни, раскинувшись, спят Духнович и Колосовский, и пот течет с них, струится грязными ручьями. Степурина каска лежит в ногах у ребят пустая, вода уже из нее выпита вся.

Степура разморенно сидит возле окопа, курит. Эти будяки в малиновых шапках, синие косарики да дикая роза — все это друзья его детства. Будто оттуда, с берегов Ворсклы, пришли и встали вот тут, на запорожских холмах. А ниже — стелется, цепко держится за сухую землю «собачье мыло». Летом, когда, бывало, набегаешься по ранним холодным росам за коровой и ноги твои покроются цыпками, потрескаются, а мать заставит хоть немного отмыть их к воскресенью,— ничем ты их не возьмешь, кроме этого вот шершавого, как наждак, «собачьего мыла». Трешь, пока не сдерешь кожу... Все это было так давно, будто

и не с ним. Все изменяется, и сам он изменился, вырос, только неизменен для него образ матери — встает она сейчас перед ним такой, какой была для него в детстве, какой была все эти годы. Проводила мужа и сыновей на войну и одна теперь дома, только тем и живет небось, что ждет от них весточки. Каждый год приезд его на каникулы — для нее праздник, только и заботы ей тогда, чтоб он получше поел, побольше поспал, чтоб набрался сил для науки. Никак не могла понять, почему он сам рвется к той же работе, что и брат его, комбайнер, хотя в душе гордилась, что рослого, загорелого ее студента колхозники все лето видят то на току, то у штурвала комбайна. И вот вместо золотого лета с мирным стрекотанием комбайнов бросила его судьба в другое лето — лето черных пожаров! Свалилось горе на них на всех; не для урожаев, не для мирного труда живут теперь люди, и жилистый отец его, садовник и огородник, пошел на войну, прихватив свои медали с выставки за капусту, за помидоры... А могли же быть каникулы и этим летом, мог и Андрей, на радость родителям, быть сейчас дома, в родном селе, а не томиться душой тут, на знойных заднепровских рубежах. Вот куда докатилась война! Еще два месяца назад он назвал бы сумасшедшим всякого, кто сказал бы ему, что в августовский этот день он уже будет лежать на холмах под Запорожьем, с винтовкой в руках будет защищать Днепрогэс. И все же, как ни тяжко, как ни горек для них этот август, на душе у Степуры сейчас уже нет того отчаяния, что терзало его под Каневом, когда, раненный, он ждал на берегу переправы. Тогда ему казалось, что все рушится, что нет спасения; в причитаниях матерей на киевских шляхах, по которым надвигалось горе, он на мгновение словно бы увидел в черном видении, как погибает его народ. То было минутное отчаяние, вопль души, потрясенной первыми несчастьями, первой кровью и смертью товарищей. Хотя и нет просвета с тех пор, хотя война, как степной пожар, все быстрее перекидывается во все концы, опаляя своим дыханием уже Днепрогэс, сейчас на сердце у Степуры — уверенность в том, что есть силы, которых не

растопчешь войной, есть вещи, которых не уничтожишь огнем. Непобедим народ, воздвигший своим трудом такие сооружения, такую красоту, какая сегодня встала перед взором Степуры. Вон дымят на горизонте запорожские заводы, живут, хотя их бомбят каждую ночь, а ближе, на гранитных плечах днепровских берегов, возвышается он, Днепрогэс. Символ новой Украины, детище новой, социалистической цивилизации. Электрическим сердцем республики, солнцем электрическим назвал тебя народ, и тобою в самом деле, точно солнцем, был озарен весь край. Первая любовь страны созидающей, ее энергия, ее порыв к счастью воплотились в тебе, гордом первенце пятилетки. Разум и руки, создавшие такое чудо, они сильнее всех разрушителей!

Еще не побывав на Днепрогэсе, Степура писал о нем свои стихи. Это наивное его стихотворство — зачем оно было? Славы хотелось? А что такое слава? И такая ли уж это необходимая вещь для человеческого счастья? Ты считал себя поэтом, вымучивая неуклюжие свои вирши, а поэтом, может быть, ты становишься только сейчас, когда сердце твое наполнено горем народным и бесконечно близкими стали тебе думы народа, его страдания, его великая борьба. Нет, не в стихах дело, не хочет он никакой славы, не надо ему ничего, только бы не было горя материнского, да не багровело бы ночное небо от пожаров над его землей, да вечно красовалось бы над миром это самое лучшее произведение его народа — залитый солнцем Днепрогэс!

Заводские ополченцы, что вместе с красноармейцами занимают оборону по холмам, гомонят, перекликаются, чистят винтовки. Тут много рабочей молодежи, смелой, смекалистой, а еще больше пожилых рабочих, у которых дома семьи, дети, а то и внуки. Рабочие, хотя и с винтовками, мало похожи на воинов, они и тут, на огневых рубежах, остаются больше людьми труда, которые еще ночью стояли у мартенов, и немного для них радости в том, что они вынуждены были бросить станки, домны, краны и взять в руки оружие.

Духнович, проснувшись, лежит на спине, смотрит в небо.

— Тебя не удивляет, что небо голубое? — обращается он к Степуре.

— А каким же ему быть?

— Ну, могло же оно быть... черным, скажем.

— Небо — черное? Брось ты эти свои фантазии.

— Ну, не черное, так бурое или еще какое-нибудь. А то — голубое. Умна, Андрей, умна мать-природа! Самую нежную краску, какая только у нее есть, чистую лазурь эту она дала небу. Именно голубизну — краску, такую приятную для человеческого глаза... Отдала, окрасила ею весь этот свод небесный, под которым человеку положено жить... Живи!

— А что с этим небом делают! — отозвался Богдан; проснувшись, он тоже лежал на спине, подложив руку под голову.— Даже его запоганили.

— Помните, хлопцы, картины Васильковского в харьковской галерее? — снова заговорил Духнович, пристрастие которого к живописи было хорошо известно (все факультетские стенгазеты он оформлял).— Никто так, как Васильковский, не умел передавать цвет неба. «Небесный Васильковский»!.. И тут вот небо точно как у него, на степных его акварелях...

Далеко было сейчас от них все это — Харьков, картинная галерея и Васильковский с его несравненным степным небом... Разбросало, разметало в урагане войны молодой их студбат. Новые люди вокруг, новые номера подразделений, только черные медальоны в карманах еще студбатовские.

— Сколько наших товарищей-студентов уже никогда не вернутся в университетские аудитории! — вздохнул Степура.— Отчислен навеки Мороз. И Славка Лагутин. И Подмогильный.

— И неугомонный наш Дробаха,— добавил в раздумье Духнович,— певун, забияка, разбойник...

Стали припоминать тех, кто остался с комиссаром Лещенко на Роси, заговорили и о самом Лещенко, который теперь уже с новым полком где-то там воюет на Киевском направлении.

— Нам повезло, что мы с ним начинали,— сказал Колосовский.— Не представляю себе лучшего комиссара для нашего студбата... Помните, как он жег наши документы в вагоне?

— Еще бы,— вздохнул Степура.— Огнем паспортов и зачеток освещена наша ночь выпускная...

— А может, хлопцы, мы и вправду идеалисты, как говорит Лымарь? — промолвил вдруг Духнович, словно бы борясь с какими-то своими сомнениями.

— Тогда нужно считать идеалистами всех этих,— поднимаясь, кивнул Богдан на ополченцев, рассыпавшихся по холмам.— Как и мы, они пришли сюда по доброй своей воле, по собственному желанию.

— Потому что все это,— добавил Степура,— им, как и нам, жизненно необходимо, все безмерно дорого — от сооружений Днепрогэса до этого вот татарника...

— И татарник не зря на свете живет,— бросил мимоходом мешковатый дядька-ополченец.— Он в степи, как барометр, погоду предсказывает: колется — будет ведро, не колется — жди дождя...

Духнович потянулся к татарнику:

— Колется. К жаре, значит. К засухе. Эх ты, хороший мой татарничек, хотя некрасивый и колючий...

— Почему некрасивый? — возразил Степура.— Глянь, казак в малиновой шапке...

— Вот вы скажите мне такое, хлопцы,— заговорил серьезным тоном Духнович.— Неужели и в далеком будущем останется у людей эта вот привязанность к своему краю, к определенному месту на планете, то есть к своей земле,— привязанность, которую ты, Степура, так высоко ценишь? Не станет ли все это только предметом таких наук, как, скажем, этнография, краеведение?

— Не знаю, как уж там будет,— проворчал Степура,— но сейчас это человеку дает силы. По-моему, как и любовь к матери, это никогда не исчезнет.

— Да я, собственно, и не хочу, чтобы исчезло, ты не пойми меня так,— сказал Духнович.— Есть вещи, без которых душа человеческая поистине стала бы

бесцветной и нищей. И все же сколько тысячелетий еще будет волновать человека этот татарник? Этот дикий кактус украинских степей?

Неподалеку проходила от Днепра группа бойцов с водой, и Богдан, увидев среди них Васю-танкиста, позвал его:

— Заворачивай к нам!

Этот с обожженною щекою Вася, единственный из госпитальных товарищей Богдана, попал сюда, попал хотя и без танка, но с мыслью о нем.

— Кого напоить, хлопцы? — подойдя к студентам, спросил танкист и протянул Богдану погнутое ведро, в котором плескалась вода.

Ребята стали по очереди пить прямо из ведра.

— Вашего полку прибыло. Этот вот гражданин тоже почти студент,— указал танкист на ополченца в белой вышитой рубашке, который стоял рядом с ним и неловко улыбался.— Учитель здешний, хортицкий. Киевский университет кончал.

— Голобродько,— учтиво представился тот и на вопрос Духновича, какой он предмет преподает, ответил: — Словесник. А вы?

— Мы бывшие историки...

— Почему бывшие?

— Ну, может, и будущие. А сейчас пока что не историки, не словесники, не поэты,— Духнович иронически посмотрел на Степуру,— все мы здесь только активные штыки.

— Это верно,— согласился учитель негромко.

Был он средних лет, с приветливым лицом и одет так, словно бы собрался не в бой, а на учительскую конференцию, одну из тех традиционных конференций, что проходили прежде в эту пору; в новой кепке, в чистой вышитой голубым рубашке, в сером новом костюме, сейчас безжалостно перетянутом патронташем.

— Какие степи! — увлеченно произнес Вася-танкист, присевший сверху на бруствер.— Вот где надо было танкодромы-то делать!

— Когда-то в этих степях дикие туры водились,— мягко заметил учитель.

Танкист удивился.

— Что за туры?

— Это предок домашнего быка, вольный житель степей... Последний тур, как свидетельствуют летописи, погиб еще в начале семнадцатого столетия...

— Славный край, ничего не скажешь,— загляделся в степь Вася-танкист.— Только что же это противник — ни слуху ни духу? Разведка, правда, тут никудышная. У нас, танкистов, за такую разведку по шее дают. И разве ж не стоит, как считаешь, Богдан? Лучше б нам поручили, а?

Богдан глядел на него с улыбкой. Ему нравился этот парень. Маленький, коренастый, летами почти подросток, а уже сутулый, будто от долгого сидения в танке; лицо землистое, с шрамами от ожогов, а глаза светлые, широко посаженные, малость нагловатые, так и жди от него какой-нибудь озорной выходки. Богдан еще в госпитале узнал, что родом Вася саратовский, перед тем как пойти в армию, учился на Урале, в автодорожном техникуме, а службу отбывал на границе и с первых же дней войны принимал участие в танковых боях. Он и сейчас был уверен, что рано или поздно пересядет «с лопаты на танк».

— Это правда, что ваша Хортица,— обратился он к учителю,— была когда-то столицей запорожских казаков?

— Была одно время.

— Вот те воевали так воевали! А у нас что же — другая кость? Пороха, что ли, не осталось в пороховницах — отдать все это... Заводы вон еще работают, Днепрогэс на ходу. По этим проводам ток еще идет,— указал он на стоявшую неподалеку мачту с толстыми проводами.— Высоковольтная?

— У нас тут все высоковольтное,— усмехнулся учитель.— Зайдешь в столовую пообедать, так даже у буфета слышишь: «Прошу сто грамм высоковольтной»,— это значит водки пятидесятишестиградусной.

— Это здорово! — щелкнул языком танкист.— А помнишь, Богдан, казака Дудку, что с нами в палате лежал? На шестой день после операции сто граммов уже попросил, и молодица, говорит, приснилась. Ох,

Дудка, один смех! Как начнет рассказывать свои байки, вся палата гогочет, аж швы на хлопцах лопаются!

В разговорах, в шутках прошел этот день.

Ночью несколько подразделений было снято с холмов, и командиры, торопя, повели их куда-то на новое место. Сперва думали: перебрасывают на Хортицу, потому что на остров, говорят, уже высажен вражеский парашютный десант: там — слышно было — все время бой. Но, кажется, не на Хортицу их ведут.

Шагают селениями Правого берега, где все утопает в садах, только крыши домиков поблескивают под лунным светом красною черепицей. Без дорог, бредут напрямик, и трещат под ногами бойцов поваленные заборы, палисадники, цветники, взращенные рабочими руками кусты винограда, с покрытыми росой лапчатыми листьями, с тяжелыми холодными гроздьями плодов. Время от времени останавливаются в садах, и командир роты, старший лейтенант Лукьянов, подозвав Колосовского, начинает советоваться с ним, и Богдану стыдно, что он не узнает этих мест; чувствует, что знакомы, но не узнает: то ли сильно разрослись запорожские сады за последние годы, да и новые появились поселки, то ли военная эта ночь все сместила, изменила, перепутала. И роса, и блеск яблоневых листьев, и запах цветов ночных — все было каким-то полуфантастическим, незнакомым, тревожным и болью отдавалось в душе.

Пока они там сверяют с картой местность, Степура стоит под ветвистым деревом и слушает, как сочно хрустят яблоки на солдатских зубах, а в ночном небе гудят самолеты. Тревожно гудят, бомбами нависают над этой землей — землей росных садов, гидросооружений, новых рабочих селений, и земля от них, от бомбовых ударов, защититься может лишь своей открытой красотой, лишь яблоками, сверкающими в ветвях, и нежными запахами любиска, мяты, фиалки. «Красота против войны,— думает Степура,— нет, этого недостаточно. Тут еще нужны сталь, беспощадность, нужна неутолимая жажда истребления врага, нужны против них стальные дожди-ураганы, которые могли бы прикрыть, спасти все это».

Ночь светлая, высокая. Затаила шелест садов, настороженно прислушивается к чему-то. Для девичьих песен, для шепотов влюбленных была эта тихая, колдовская ночь приднепровская. Не слышно сейчас песен, война хозяйничает в садах. Кто-то тряхнул поблизости ветку, и яблоки глухо падают на землю, как ядра. Под другим деревом чьи-то руки шарят среди ветвей и второпях срывают яблоки вместе с листьями. А Степура не рвет почему-то, не решается сорвать, стоит и смотрит на облитое лунным сиянием дерево, которое светится вечным, неумирающим светом обильных плодов.

— Рвите,— слышит он возле себя тихий, добрый голос.— Почему вы не рвете?

Это учитель Голобородько.

— А то вот, прошу, возьмите мое, попробуйте.

Достав из-за пазухи яблоко, он подал Степуре, и тот, прежде чем надкусить, понюхал, как оно пахнет. Яблоко пахло всеми садами этого края, всею мирной солнечной довоенной жизнью.

— Как обесценился человеческий труд! — с горечью сказал учитель.— Что вот с этими садами... Знаете, тут же каждый рабочий еще и садовник, и виноградарь, и цветовод.

— У меня отец тоже садовник, огородник.

— Я слышал, вы поэт? Это правда? Когда я учился в Киевском университете, были у меня друзья, чудесные молодые поэты Игнат и Леонид...— И после паузы продолжал: — Кто узнает, сколько наших Шекспиров и Чеховых мы потеряем в это лихолетье, изобретателей, талантов народных... Конечно, никому не хочется умирать, каждому хочется выжить, но если уж выжить, так только для нашей жизни, а не для того, чтобы быть рабом у захватчиков! Вы слыхали, какую они комедию разыграли в Ровно?

— Не слыхал.

— Привезли в своем обозе какого-то Вышиванного — предателя и проходимца, жалкого претендента на пост гетмана...

— Знаем цену таким штукам. Разве на примере чехов, поляков и других народов Европы не видно,

что делает фашизм? То же самое, а может, еще похуже, несет он и нам.

— Да, кукольной комедией нас не обманешь,— согласился учитель.

Опять их ведут куда-то. В домиках селения суета, плач, двери распахнуты настежь, в руках у людей узлы — похоже, собираются в эвакуацию. В одном месте туча какая-то повисает над бойцами, заслонив луну. Туча — это дуб, ветвистый, мощный. Раскинулся кроной во все стороны — несколько взводов бойцов могло бы спрятаться под ним от дождя или от солнцепека.

— Это казацкий дуб,—объясняет учитель Степуре.— Ему свыше семисот лет. Мы еще этой весной были тут на экскурсии со школьниками. Когда-то Тарас Григорьевич в тени этого дуба отдыхал. Сколько тут молодежи по праздникам собиралось! Колхозные собрания летом тоже проводили не в клубе, а под этим дубом.

Стоит великан, не шелохнется. Столетия выстоял, слышал голос битв далеких, слышал гомон Сечи, звон сабель казацких. Из века в век все шумел на ветрах, все тянулся упрямо вверх, разрастался.

Бойцы из-под касок поглядывают на него. Сила, мощь. Такого никаким бурям не сломить, такому и молния не страшна.

И снова идут дальше, петляя по поселку, путаясь в виноградных лозах, скользя и спотыкаясь на твердых ядрах яблок, устилающих эту богатейшую землю.

Неожиданно над садами трепетно вспыхнула ракета, одна, другая, послышалась отдаленная стрельба.

Перебегая табуном через дорогу, встретили группу гражданских, которые, как выяснилось, были работниками местного райкома партии. С ними был также командир истребительного батальона.

— Враг близко,— предупредил он.— Танки только что обстреляли грузовик наших разведчиков, мы посылали их по днепропетровской дороге. Грузовик разбило снарядом, а часть людей вернулась.

Вдоль садов стали торопливо занимать оборону. Степура сразу начал рыть ячейку, разрубая саперной

лопатой мускулистые яблоневые корни. Тяжко было рубить. Степура чувствовал, как больно корням от каждого удара.

Еще не успели окопаться здесь, как бойцов уже подняли и бегом повели в другое место, где тоже сады и виноградники и лопатки снова кромсают живые корни.

Ракеты раз от разу ближе, стрельба громче. Недалеко за садами слышен грохот тревожный, грохот, передвигающийся в сторону Днепра.

— Там уже танки проходят!

— Не танки — танкетки...

— Один черт!

— Курсант Колосовский! — послышался среди деревьев голос командира роты.— Возьмите несколько добровольцев и разведайте, что за гул...

В группе Колосовского — Степура, Вася-танкист учитель и еще несколько бойцов и ополченцев.

Перебежав через двор, через огороды, они оказались в каком-то скверике с подстриженными кустами, с дорожками, посыпанными песком. Ракеты рассыпаются уже совсем близко, цепочки трассирующих пуль прошивают темноту, крошат где-то поблизости стекла окон и черепицу крыш, сбивают листья с деревьев, и листья, как от града, вместе с веточками сыплются на разведчиков.

Колосовский приказал лечь, пробираться дальше ползком, ближе к грохоту, к ракетам. Кусты туи пахли опьяняюще, когда бойцы проползали под ними.

— Кто-то стоит между деревьями,— толкнул Степуру незнакомый боец.

Степура приник к земле.

Действительно, среди деревьев виднелась впереди чья-то фигура. Трассирующие пули, пронзая сквер, летели на одном с нею уровне, а она стояла, не падала.

— Да это же Ленин! — тихо воскликнул учитель, лежавший впереди Степуры.

Они быстро поползли туда, где виднелась фигура. Да, это был Ленин. Бронзовый Ленин на высокой клумбе скверика в рабочем поселке...

Горячо дыша, бойцы подползли к самому монументу и залегли возле него плотным полукругом. Они лежат, отдыхают, а он стоит над ними, как бы защищая их. Ракетами его освещают, а он стоит. Из пулеметов бьют по нему, аж пули плавятся, а он все стоит.

Немного передохнув, бойцы поправили каски, поползли дальше. На гул, на свет ракет, все ближе расплескивающихся перед ними, под ливни пуль, что хлещут, свистят навстречу...

Неподалеку от Степуры кто-то чуть ойкнул, будто вздохнул. Степура подполз к нему. Учитель Голобородько. Горячая кровь проступает на вышитой сорочке. Склонился над ним: дышит ли? Но тот уже не дышал, и только разгоряченным телом да яблоками от него пахло: яблоки были у него, как у мальчишки, за пазухой.

42

Днепрогэс трудится.

Непрерывный равномерный гул стоит в машинном отделении. От работы турбин все помещение слегка дрожит: мощные лопастные генераторы, выстроившиеся один за другим через весь зал, несут свою многолетнюю вахту.

Машинный зал полон солнца. Тут рядом живут зеленые пальмы и серебристо-оливковые богатыри генераторы, среди которых хозяином похаживает человек. С тех пор как была пущена первая турбина и до нынешнего дня, не перестают вертеться валы, не перестает вырабатываться ток. Ритм и разгон тут взяты словно на вечность.

Выше машинного зала — пульт главного управления, просторное полукруглое помещение с огромными окнами на все стороны света.

Как и вчера, как и позавчера, как и год и два назад, стоит на вахте у щитов дежурный инженер-энергетик, привычно следя за работой приборов, поддерживая связь с теми, кто отдален от него степны-

ми просторами и кто на протяжении многих лет получает отсюда по проводам энергию Днепра.

Принимая после ночной смены вахту, инженер нашел, что все в порядке, хотя, расписываясь в вахтенном журнале, он, как и его предшественник, отчетливо слышал пулеметную стрельбу где-то на окраине Четвертого поселка — рукой подать оттуда до Днепрогэса.

Инженер, только что заступивший на вахту — высокий, седой, с худощавым лицом аскета,— был из числа кадровых рабочих Днепрогэса, принадлежал к поколению тех людей, для которых это сооружение на Днепре — их комсомольская молодость, и пора возмужания, и самая большая гордость их жизни. Босым подростком-грабарем пришел он сюда из села, ломал днепровский камень, месил бетон, тут и учился, а теперь вот стоит у пульта, и уже давно его никто не называет Ваньком, давно уже он тут для всех Иван Артемович.

Ночью он отправил семью в эвакуацию. Вместе с семьями других днепрогэсовцев жена его с узлами и детьми теперь уже на Левом берегу, сегодня эшелон их двинется на восток, по неизвестному маршруту — Иван Артемович лишь приблизительно знает, что эшелон пойдет куда-то на Северный Кавказ. Договорились: днепрогэсовки там, где остановятся, будут выходить по очереди на станцию, днем и ночью станут сторожить под станционным колоколом, чтобы не пропустить своих.

Вся ночь прошла в сборах, в суете, никто не спал, дети надрывали душу отчаянным криком, слыша, как пули крошат черепицу домов, видя впервые в жизни жуткий свет чужих ракет за поселком.

Провожая семью, Иван Артемович, вопреки своему обычаю, не успел побриться, чувствует теперь под ладонью колючую щетину на щеке, и это вызывает у него досаду: нехорошо в таком виде являться на вахту.

Монтеры, сбившись возле окон, выходящих на Хортицу, обсуждают кем-то принесенный слух: немцы якобы еще с ночи владеют частью острова, а на-

кануне будто бы неожиданно ворвались в Никополь, с ходу захватили город...

— Кто это может знать? Где тот Никополь? — сердится инженер.

Коммунисту не к лицу поддаваться таким слухам: тревога не должна заползти сюда. Тревога, уже нависшая над Днепрогэсом, над целым краем, она не имеет доступа сюда, на пульт. Человек тут должен быть спокоен, как эти вот приборы, которые не знают отклонений, как те сигналы, что строго и значительно вспыхивают разноцветными огоньками лампочек на черных панелях.

Тут только следи, чтобы не было аварий.

Серьезных аварий Днепрогэс не знал с тех пор, как его построили, с тех пор, как гидростанция выросла на этих надежных гранитах Днепра. Много гидростанций видел Иван Артемович, бывал и за границей, но такой, как эта, нет на свете. Красавица! Среди южной природы, в садах вся, абрикосы встречают тебя своим белым цветеньем, когда идешь весной на смену, и из окон станции тоже повсюду видны сады: бывало, еще и листьев не видать на деревьях, а вишни и абрикосы уже белеют буйным цветом по склонам оврагов, на месте бывших пустырей и свалок. Но сердцу энергетика дороже всего полная силы днепровская вода. Как она здесь поет на разные голоса! Когда пласт воды тонок, она почти беззвучно ниспадает с плотины белоснежным, только что сотканным кружевом, течет ровно, ласково, а когда натиск весенних вод могуч и сотни тонн воды падают одновременно, она летит, как молния, обрушивается тяжело и стремительно, словно расплавленный металл, и внизу взрывается с грохотом грозным, глубинным. Во время паводка, когда сбрасывают лишние воды, все тут ревет львиным ревом, шум могучий стоит окрест, в нижнем бьефе, падая с плотины, бушует белая буря весенних вод, высоко над всей округой в воздух вздымается сияющая метель разбитой в лучистую пыль воды! Будто расщепилась она, вся превратилась в энергию, в свет. Грохот, радужная пыль взбунтовавшейся воды, а ты — над нею, с ощущением, что все

это ты можешь укротить, обратить на пользу людям...

Потом появились черные огромные шторы в помещении пульта, появились шторы и в машинном зале — на всю стеклянную стену эркера, и теми шторами-занавесами они на всю ночь стали отгораживаться от звездного неба, от Днепра, от зловещего гула чужих самолетов в небе. Потом слышали далекие взрывы, похожие на те, что доносятся сюда, когда рвут камень где-то внизу, на далеких карьерах. Но то были не карьеры, то падали бомбы. Одна из них упала в аванкамеру, вторая черканула, будто гигантское кресало, о скалу на Днепре, и воздушной волной так обдало Днепрогэс, что стекло с огромного эркера потекло вниз, точно вода. Исковыряли берег, наглушили рыбы, а теперь бомбят заводы на той стороне реки, налетая почти каждую ночь.

Дней за десять перед этим через плотину отступали войска откуда-то из-под Одессы — те, которым удалось избежать окружения,— прошли, и не стало их, а здесь жизнь продолжается, каждый остается на своем посту, трудится Днепр, и не затихает вечный ветер турбинных валов.

Потом снова хлынули через плотину запыленные войска, подводы с беженцами, стада, тракторы, комбайны. Будто все Правобережье, снявшись с места, двинулось через днепрогэсовскую плотину на восток, и коровы тоскливо ревели, бредя по асфальту мимо блестящих витрин соцгородка...

Лавина эвакуированных теперь прошла, и несколько дней Днепрогэс уже молчаливо изучают минеры во главе со своим полковником, присматриваются; о некоторых вещах полковник расспрашивает рабочих и его, Ивана Артемовича.

— План у нас такой,— говорил ему полковник,— если придется разрушать, то разрушить лишь на время войны. Вывести из строя, а не уничтожать навсегда.— И пояснил: — Испортить частично плотину, сжечь генераторы, выпустить масло из подшипников... Словом, сделать так, чтобы ГЭС не работала приблизительно год. Через год мы вернемся.

«Вернемся и восстановим,— подумал инженер.— Строить и восстанавливать — в этом, видно, наше призвание, наша жизнь».

Однако в голове инженера никак не укладывалось, что может дойти до этого, что события продиктуют такой трагичный исход... И отряд минеров, и стрельба за поселком, и отъезд семьи нынешней ночью — все это кажется Ивану Артемовичу нереальным, призрачным, таким, что не пошатнет Днепрогэса, не нарушит ритма его жизни.

Всякий раз, когда Иван Артемович приходит сюда и заступает на вахту, чувствует себя здесь, в своей электрической крепости, увереннее и безопаснее, чем где бы то ни было. Нигде, наверное, человек не осознает так свою силу, как тут, у пульта. Приняв дежурство, он становится как бы владыкой этого края, ибо его воле на это время покорны и титаническая энергия Днепра, и работа мощных агрегатов, и линии электропередач, что разбегаются отсюда на сотни километров. Те, кто видел Ивана Артемовича скромным рыбаком на Днепре, кто встречал его в выходные где-то в плавнях с удочкой, в одних трусах, кто на реке запросто обгонял его неказистую моторку, не узнали бы его здесь, когда он надевает свою синюю рабочую блузу и становится у щитов. Перед ним — полукругом черные панели с приборами, разноцветно мигают на щитах световые сигналы, автоматические приспособления сами ведут записи на бумажных лентах: одни фиксируют температуру, другие — напряжение, частоту. И все это сходится к нему. Тут стоит совершенно другой Иван Артемович: расписавшись за судьбу Днепрогэса в вахтенном журнале, он начинает жить иной жизнью, всегда волнующей, небудничной. Перед его глазами зримо встают все, кого он снабжает электроэнергией,— рудники Криворожья, и металлургические заводы Приднепровья, и далекие шахты Донбасса, и бесчисленные колхозные гумна в степи,— ночами напролет все они работают на его токе, при его свете. С теми далекими потребителями электричества у днепрогэсовцев всегда контакт, с ними Иван Артемович связан неразрывно, и он не пред-

ставляет себе, что связи эти вдруг могут нарушиться, оборваться и весь край погаснет.

Из глубины поселка все явственнее слышится стрельба, с Хортицы громыхает куда-то в степь артиллерия. Крепко бьет,— может, еще отбросят врага и положение стабилизуется...

— Иван Артемович!

Лида, светленькая, не по летам серьезная девушка-практикантка, зовет его к телефону. Он подходит к столику, берет трубку.

— Дежурный по щиту слушает!

— Мы — Кривой Рог! Нас окружают танки! Отключите нас!

Одна из самых крупных подстанций, которую питает Днепрогэс своим током, просит отключить ее, умертвить одним ударом. Он чувствует, как кровь приливает, бьет в виски: отключите, отключите!.. Чтобы отключить — достаточно повернуть рукоятку. С гулко бьющимся сердцем инженер подходит к щиту, кладет руку на черный эбонитовый ключ. Нужно сделать только одно движение, только одно, но ему тяжко и страшно сделать это движение. Но ведь нужно. Делай!

Лида, подскочив, уставилась на него, как на сумасшедшего.

— Иван Артемович! Что вы?

С посеревшим лицом он резко повернул ключ.

— Что вы делаете? — вскрикивает Лида, метнувшись к нему так, что, казалось, глаза ему сейчас выцарапает.

И в этот миг снова звонок. Кто еще? Инженер приложил трубку к уху.

— Щит слушает.

— Мы — Днепродзержинск! Подстанция в опасности! Отключайте нас! Немедленно!

Взгляд инженера снова на щите — тяжелый, прощальный взгляд.

Он медленно идет, останавливается у панели приборов, и рука его еще ожесточеннее поворачивает ключ.

Практикантка плачет, упав головой на стол, в отчаянии сжимая кулачки.

— Вы отключаете их... И Кривой Рог, и этих... Весь Правый берег отключили...

Он отвечает ей молча: «Да, отключаю. Отключаю заводы, которые питались нашей силой. Отключаю степи, которые мы освещали ночами. Отрезаю от себя всю ту жизнь с нервами, с кровью».

Однако это еще не конец.

Остается еще Левый берег. Левому нужен ток — там на заводах работают краны, идет демонтаж. Ток туда должны подавать до последнего...

Из проходной звонит Поля-уборщица.

— Иван Артемович! Я тут одна! Пропуска на столе, вся документация лежит открытая. В коридоре уже размещаю раненых... Что мне дальше делать, скажите?

— Находись там. Не пускай на территорию никого.

— А раненых?

— Раненых пропускай.

Монтеры и Лида уже теснятся у окна, выходящего на Левый.

— Иван Артемович, сюда! Посмотрите!

На той стороне видны грузовики, подъезжающие к самому выходу из потерны — километрового туннеля, проложенного глубоко под водой в бетонном теле плотины,— и фигуры бойцов, которые, сгибаясь под тяжестью, торопливо носят туда какие-то ящики.

Лида в тревоге следит за ними.

— Что это они носят?

Иван Артемович знает что. Он знает об этом еще со вчерашнего дня. Взрывчатку носят в потерну! Главный инженер и военные-подрывники сейчас уже все там готовят к взрыву. Но что скажешь ей, этой девчонке-практикантке, которая приехала сюда учиться мирному труду, приобретать мирную профессию, а теперь видит, как начиняют Днепрогэс взрывчаткой?

— Неужели это будет, Иван Артемович? Неужели это все?

Девушка смотрит на него с мольбой, щеки ее мокры от слез, слезинки дрожат на ресницах, и он испытывает стыд перед этой юной практиканткой за все происходящее вокруг, за то, что он не в силах спасти ее надежды, мечты, будущее.

— Тебе тут больше нечего делать, Лида. Иди. Отправляйся на Левый.

— А вы?

— Нам еще нужно задержаться.

— Почему — нужно? Почему?

— Почему да почему! — сердится один из монтеров.— Мы — коммунисты, вот почему. Мы уйдем отсюда последними.

— А меня первой? — всхлипнула девушка.— Не пойду, не могу. Я буду с вами.

Инженера злит ее упрямство.

— Тебе сказано: отправляйся!

— Не кричите! Я имею право... Я практикантка!

— Кончилась твоя практика.

И вот крупные слезы побежали по щекам Лиды.

— Для чего же я училась? Для чего старалась? Чтобы увидеть смерть Днепрогэса?

— Молчать! Не увидишь ты его смерти! — крикнул Иван Артемович, теряя самообладание.— Уходи! Вон!

Она пятится от него.

Через дверь из помещения пульта выйти уже нельзя. По двери бьют снайперы.

Схватив девушку за плечо, инженер потянул ее к лифту, сердито втолкнул в клеть, грохнул за нею железной дверью. Сквозь металлическую сетку он еще раз увидел заплаканное, искаженное болью ее лицо, видел до тех пор, пока оно не исчезло, провалившись вниз вместе с клетью лифта.

Когда он вернулся в зал, монтеры ошеломили его известием:

— На Хортице немцы!

Он бросился к южному окну. То, что он увидел, не было плодом больного воображения: вражеские солдаты были совсем рядом; рассыпавшись, будто для облавы, они медленно спускаются по склонам острова вниз, к Днепру, к разбросанным над рекой домикам.

Оттуда им как на ладони виден весь Днепрогэс. Они уже оскверняют его завоевательским взглядом, уже считают Днепрогэс своим богатейшим трофеем. Живой, действующий, родной Днепрогэс, и цепи наступающих фашистов перед ним — от этого можно было сойти с ума! Итак, значит, все то реальность: и прорыв вражеских бронетанковых авангардов, и внезапно захваченный Никополь, и десанты... Были ночи тревог, аэростаты в небе, бомба упала в воду аванкамеры, и жену отправлял, но до самого этого мгновения еще теплилась в сердце надежда: ничего не коснется Днепрогэса, дух разрушения не будет хозяйничать здесь. И вот теперь, глядя на врагов, топчущих сапогами священную землю Хортицы, собственными глазами увидев фашистов из окна Днепрогэса, инженер почувствовал, что в нем пробуждается разрушитель, растет жестокая готовность в один миг поднять на воздух все, что строил своими руками, все, что на протяжении многих лет было гордостью и славой народа. Пусть сгорят генераторы! Пусть развалится плотина! Пусть груда развалин останется тут от всего — только бы им не досталось!

Инженер зовет монтеров, и, отойдя от окна, они советуются, чем закончить эту свою последнюю вахту.

43

Тяжелые железные ворота открыты настежь, кровь запеклась на бетонированной дорожке, ведущей на территорию Днепрогэса. Днепрогэсовская территория — святая святых, куда раньше без разрешения не мог ступить ни один посторонний,— теперь свободно, без всяких пропусков принимает группы раненых. Свежие раны, горячая кровь, бинты — сейчас это единственные пропуска для начальницы проходной тети Поли. Директор сказал: сиди,— вот и сидит, стережет. Пропустит раненых, вглядываясь, нет ли среди них здоровых, крикнет: «Вон там, в садах, располагайтесь!» — а сама снова занимает пост у окна бюро пропусков, где сидели раньше караульные начальники в

низко надвинутых на лбы фуражках. Еще не высохли чернила в чернильнице, еще не заполнены плотные книжки пропусков — лежат на столе с корешками, простроченными, как на швейной машинке. Впервые села она за этот стол. И руки ее, грубые, большие, потрескавшиеся от работы, руки, знавшие только мокрое тряпье, щетки да ведра с помоями, теперь по-хозяйски лежат на столе, на чистых, незаполненных пропусках.

Поля, Поля-уборщица... Назвали ее так, когда была молоденькой, да и осталась для всех на Днепрогэсе с девичьим именем, хотя давно уже прошли лета ее девичества днепрогэсовского, беспокойного... Все до сих пор зовут ее ласково по имени, будто девчонку-днепрогэсовку, хотя она уже мать взрослого сына, студента авиатехникума, которого позавчера проводила в армию. Одинокая теперь. С самого утра в проходной, на посту, с польским карабином, из которого не умеет стрелять, среди бумаг, что бросили хлопцы из секретной части, уходя туда, в поселок, где идет бой, где с ночи не затихает перестрелка.

Волею событий поставлена Поля вот здесь, у ворот Днепрогэса. Сидит с никому не нужными пропусками, прислушивается к отдаленной перестрелке в рабочем поселке. Большие серые глаза, лицо широкое, суровое, нестарое, но в глубоких складках — не очень много улыбок знавало оно, зато от горестей искажалось не раз. Всяко бывало в жизни: были и обиды, были и премии, но все это теперь куда-то отошло, когда ее оставили здесь одну, словно бы на страже Днепрогэса: стой, охраняй. Одна тут теперь и за НКВД и за дирекцию. Хотя и малограмотна, но до чего ж ясно видит она сейчас, что было хорошо в жизни и что неладно. Добре умели строить, даже ночами с музыкой приходили сюда заводские помогать днепростроевцам, и целые ночи при свете прожекторов кипела работа в котлованах. А как спасали стройку от весенних паводков, работали, не боясь никаких простуд, не жалея себя,— и вот он поднялся над дикими скалами, их Днепрогэс. Каждое лето экскурсии шли здесь потоком, люди, словно зачарованные, ходили по этому электрическому царству, где прямо у

трансформаторов яблоки наливаются, где алые розы все лето буйно пылают среди черного леса металлических конструкций. Теперь там уже свищут пули, бродят по садам раненые, которых она туда направляет, бьют снайперы по окнам, по деревьям, и, чтобы попасть на открытую подстанцию, монтерам приходится пробираться подземными ходами. А на той стороне к потерне подвозят взрывчатку грузовики. Лучше, кажется, ей ослепнуть, чем видеть, как начиняют взрывчаткой плотину Днепрогэса, ту плотину, где каждая капля бетона, каждый прутик арматуры будто бы вложен ею самой, где вроде бы не инженеры планировали, а распланировала все она сама...

Вольность какая-то в природе и чистота — это и есть Днепрогэс. Даже птицы его любят. Ласточки в плотине, у шлюза, в недоступных местах под выступами бетона вылепили себе гнезда, целые гроздья, целые колонии гнезд. А этой весной все кукушка куковала. Не в вербах, не где-то в садах, как другие, а на самой плотине, на высоком кране куковала, понравилось ей в его железных ветвях. Много лет накуковала Днепрогэсу за весну. Что ж, выходит, соврала кукушка? Вон какое горе лихое теперь нас постигло! На территории Днепрогэса свищут пули, смертью звякают о бетон. Где же наши самолеты, где наша броня?

Во второй половине дня раненых стало прибывать из поселка еще больше.

Вот двое ведут под руки третьего, почти волочатся его сапоги по асфальту, такой, видать, тяжелый. Каска сползла ему низко на глаза, изо рта — кровь.

— Сюда, сюда его,— командует Поля, проводя их через открытые ворота на территорию, где сады, где тень. В саду недавно скошено сено, оно лежит еще рядками, сушится. Раненого кладут на сено под яблоней, в холодке. Весь в крови: и грудь и живот. Коекак перевязан какой-то простыней, она набухла кровью и стала красной, как материя, которой накрывают столы на собраниях. Ремешок каски, видно, сдавливает ему горло.

— Снимите каску,— просит он.

Сняли.

Те, что привели — один будто подслеповатый, заросший рыжей щетиной, а другой тоже в щетине, но черной, цыганской,— скорбно стоят над товарищем.

Раненый спрашивает слабым голосом:

— Что это пахнет? Сено?

Ему небось странно, что на Днепрогэсе пахнет сеном.

Не только сеном, но еще и яблоками спелыми. Под деревом, где его положили,— торчки от скошенного

бурьяна и множество упавших яблок на стерне. Возле плеча раненого одно — блестящее, краснобокое, накололось на стернину, запенилось соком. Пахучие, теплые, нагретые солнцем яблоки, они здесь наполняют запахами воздух, и раненый, наверное, особенно чувствует их запах после гари и пороха.

— Пить...— тяжело хрипит он.

Поля бросилась к проходной, там у нее еще есть вода, но один из тех, кто привел раненого, худощавый и черный, похожий на осетина, остановил ее:

— Не нужно, тетя Поля. Ему нельзя.

Он назвал ее «тетя Поля»... Она удивленно посмотрела на него.

— Кто же ты? Откуда знаешь меня?

— Колосовского помните? Я его сын.

— Неужели это ты... как же тебя... Богдан? Ни за что бы не узнала.

— А вас я сразу узнал. Вы все такая же.

Сын Колосовского. Да, это он. И сухим блеском карих глаз, и продолговатым лицом, и всей врожденной военной осанкой он и впрямь напоминает отца. Когда тот, бравый, усатый Колосовский, проводил, бывало, учения со своим днепрогэсовским полком, помнится, возле красноармейцев вертелся смуглявый мальчонка, сын командира, который так и рос возле полка. Давно ли пацаненком бегал, а теперь вот стоит перед нею высокий юноша, заросший, до черноты прокопченный на солнце. Гимнастерка вылиняла, весь в пыли, в крови, а рука с крепким волосатым запястьем держит тяжелый автомат — наш уже, такой покамест редко у кого увидишь.

Прежде чем уйти, молодой Колосовский наклонился над раненым, а когда поднялся, глаза его блестели от слез.

— Вы уж тут присмотрите за ним, тетя Поля... Самого лучшего друга вам оставляем.

Не успела она и расспросить Колосовского, что там, в поселке, как он уже зашагал с товарищем назад, к проходной, а дальше бегом помчался, стуча сапогами, в сторону стрельбы, к задымленным пороховой гарью садам.

— Пить, пить,— опять просит раненый и ворочает головой так, будто его все еще душит ремешок каски, хотя каска лежит в стороне, на солнцепеке.

— Нельзя тебе пить, голубок...

— Все уже можно,— хрипит он тяжко.— Огнем все горит во мне...

Богатырского здоровья, видно, хлопец. Кровь хлещет из него, как из вола, жизнь вытекает, а он живет. Внутри у него все искромсано, грудь разорвана, а сердце могучее бьется, не хочет умирать. Хрипит, хватает ртом воздух. Помутневший взор блуж-

дает где-то вверху, где над садами вздымается к небу железо, где звонко цокают пули и белыми брызгами черепков осыпаются вдребезги разбитые чашечки изолятора.

Рука раненого, пошарив, вытащила из окровавленных лохмотьев какую-то закрутку, черный желудь.

— Возьмите вот...

Поля догадалась: это и есть медальон смерти — она слыхала про них; неумело открутила, извлекла крохотную полоску бумаги: «Степура Андрей Минович...»

Она не дочитала. Ее уже настойчиво звал к себе из проходной звонок телефона.

— Ты что, оглохла там? — услышала в трубке голос дежурного инженера.— Немедленно сюда!

— А документация?

— К чертям твою документацию!

— А раненых?

— Направляй к нам.

— К плотине?

— Да ты что там, ничего не видишь? По плотине он уже мины кладет... Через потерну будем отступать. Скорее, ждать не будем!

Она слыхала, как инженер бросил трубку.

— Вот те раз... Враг уже минами бьет по Днепрогэсу, пост приказано оставить.

Кажется, только теперь поняла Поля всю опасность. Скорее схватить узел и бежать! Узел ее в углу. Утром прихватила с собой на работу, чтобы все было под рукой, если придется сниматься в эвакуацию. А как же здесь? А эти бумаги, а кучи незаполненных пропусков? И шкафы в кабинете набиты бумагами, которые начальство называло солидным словом «документация»,— куда все это деть?

Нет, этого она не могла так оставить.

Схватила свой узел — огромный тюфяк со всякими домашними вещами, вытряхнула из него все, даже нарядное одеяло из разноцветных лоскутков, которое сама пошила,— никакие тряпки теперь не дороги. Вместо них торопливо стала запихивать в чехол от перины папки, книжки ордеров, охапки бумаг... Никогда не думала, что бумага такая тяжелая,— еле под-

няла эту перину-канцелярию, а чернильницу, чтобы тем не досталась, смахнула рукой со стола, аж брызги заляпали стену.

В саду раненых уже не было, только Степура Андрей Минович, как и раньше, лежал на прежнем месте, подплывши кровью.

— Что же, голубок, мне делать с тобой? — кинулась она к нему.— Как тебя заберу?

И вдруг отпрянула. Он лежал перед нею успокоенный, бездыханный. Глаза прикрыты, запекшиеся губы уже не просят воды.

Сердце у Поли сжалось: почему она его не напоила водой днепровской хоть напоследок? Кто же похоронит тебя здесь, голубок? Сады наши запорожские будут тебе шелестеть, Днепр будет шуметь, Днепрогэс будет тебе памятником!

44

От поселка приближалась стрельба, надвигался какой-то грохот, и через минуту в садах уже блеснул маслянистым боком танк. Ломая деревья, он продирался в направлении открытой подстанции, подминал под себя клумбы, цветущие розы, оборванные провода.

Запыхавшаяся, сгорбленная под тяжестью перины, Поля бежала вниз, к потерне, и ей уже ничто не было страшно, не кланялась под пулями, защищенная от них лишь бурдюками надвое разделенной перины, которая все сползала ей на голову и словно бы сама подталкивала вниз по крутому склону. Пули бьют, лязгают — свинцовый град стучит по изоляторам, по железу мачт.

Внизу, у входа в потерну, собрались все, кого тут настигла беда: инженер, монтеры, раненые бойцы.

Когда Поля, задыхающаяся, растрепанная, остановилась возле них и сбросила свою ношу, все ахнули, глянув на ее перину: истерзана пулями в клочья, бумаги из дыр вылезают.

Иван Артемович нахмурился.

— На кой черт тащила еще эту канцелярию?

— Не оставлять же им,— сказала Поля и обернулась туда, откуда прибежала.

Там, на огромной территории их Днепрогэса, уже разгуливали вражеские танки, ломали сады, распахивали гусеницами клумбы. Сюда, вниз, пули не долетают. Зато плотину враг обстреливает все сильнее, кладет мины точно по ней, хотя там — ни одной живой души. По плотине для людей уже нет хода. И на Левый берег они будут пробираться через потерну.

Когда, собираясь в путь, Поля снова взялась за свою перину, к ней подошел в окровавленной гимнастерке знакомый лейтенант из спецчасти. Наклонившись над периной, он порылся в ней среди бумаг, потом достал из кармана спички, чиркнул, и через минуту всю Полину документацию, вытряхнутую на землю, охватило жаркое пламя.

Не был предан огню лишь один документ — вахтенный журнал последней смены; его держал сейчас под мышкой дежурный инженер Иван Артемович. Так, с журналом под мышкой, он и вступил в потерну.

Раньше через нее мог пройти даже грузовик, а теперь вход в туннель полузавален мешками с песком.

— Зачем это? — спрашивают раненые.— Для чего здесь эта баррикада?

Инженер молчит. Он знает, что это для направления взрыва.

Сыростью, холодом подземелья дохнуло на людей, когда они стали углубляться в потерну. Вода хлюпает, как в шахте, толстые кабели тянутся по стенам, с потолка свисают известковые сосульки, как сталактиты.

Впереди идут инженер, лейтенант из спецчасти, монтеры, Поля-уборщица, за ними, растянувшись, наполняя туннель стоном, бредут раненые, которым, кажется, нет числа. Одних несут, других поддерживают на ходу, и все они идут еле-еле. Далеко не все еще здесь осознают опасность этого перехода, далеко не все чувствуют титаническую темную силу Днепра, которая нависает сейчас над ними миллионами тонн бушующей воды, бурлит над ними. Идут медленно, чуть-чуть бредут.

«Как медленно! — думает Иван Артемович.— А надо было бы бегом пробежать этот подводный километр!»

Главный инженер, передавая Ивану Артемовичу с того берега по телефону распоряжение немедленно забирать людей и отступать потерной на Левый, не сказал всего, но по его голосу, нервному и тревожному, Иван Артемович понял, что там уже все решено, все готово и осталось только подать команду. Ноги сами спешат, хочется рвануться и бежать, но раненые не побегут, их не бросишь, и он, то и дело оглядываясь, только просит сердито, чтобы они прибавили шаг.

Кто-то из раненых, прихрамывая, бубнит недовольно:

— Некуда теперь спешить.

— Есть куда!

— Может, скажешь куда? — снова ворчит раненый.

Инженеру ничего не остается, как открыть им то, о чем раненые даже и не подозревают.

— Плотина будет вскоре поднята на воздух.

Тревожный гул прокатился по туннелю.

— Не может этого быть!

— Будет!

— Когда?

— Может, через час. Может, через минуту. Живее!

После этого даже раненые жаркой толпой ринулись вперед.

Еще сумрачнее стало теперь в потерне. Углублялись в темную туннельную гулкость, видели известковые сталактиты над головами, слышали хлюпанье воды, фильтрующейся через бетон. С каждым шагом туннель словно бы сужался и, казалось, еще ниже нависал над ними мокрый бетонный потолок в разводах белых известковых пятен, названных гидростроителями «белой смертью». Прошло много лет, но «белая смерть» не размыла, не подточила плотину, зато черная военная смерть теперь нависла над ней, давит на этих шагающих в полутьме людей всей тяжестью обреченного на взрыв бетона. Они чувствуют эту тяжесть, как спустившийся в шахту чувствует вес

земных пластов, но люди были благодарны строителям, которые, закладывая плотину, как бы тогда уже предвидели далекую эту беду, загнавшую их нынче сюда, в днепровский подводный туннель.

Только спасет ли он их? Успеют ли они проскочить на ту сторону, где все свои? Или еще раньше будет подожжен шнур, и взрыв сотрясет туннель, разломает бетон на глыбы, и бездна тонн днепровской воды, нависшей сейчас над ними, закрутится, взревет здесь, где они сейчас идут...

— Скорее, товарищи! Скорее!

Туннелю не было конца. Казалось, сколько ни шагай, не будет конца этой сырости подземелья, известковым сталактитам, гулкой немоте склепа, куда не проникает ни один звук надземного мира. Звонкие шаги. Выстрелы падающих с потолка капель. Тяжелое дыхание торопящихся людей...

— Стой!

— Что случилось?

— Нет дальше хода. Потерна перекрыта!

Да, перекрыта. Гора ящиков поднялась впереди из мрака, преградила путь. Ящики со взрывчаткой. Люди сбились перед ними гурьбой. Мышь не пролезет, так плотно они уложены, эти тяжеленные, начиненные толом ящики. Тупик. Мешок. Лбами в тол! И выхода нет. Живые в могиле! Именно так — живыми в могиле — почувствовали себя.

И в это время голос инженера:

— Товарищи, есть проход!

В одном месте среди нагромождения ящиков — узенький проход, только человеку и протиснуться. Оставлен, видимо, минерами специально для них, для последних отступающих.

Кое-как начали пробираться, перелезать через ящики, протискиваться через щель.

— Раненых вперед!

Это было мукой — протискивать раненых в темноте между ящиками, стоны, ругань, вскрикивания, и казалось, все это длится бесконечно долго, а роковая минута приближалась. Пропуская раненых, Поля и

Иван Артемович ждали, ждали, пока пройдут все, и пробрались последними.

Когда вышли наконец из потемок туннеля, первое, что им ударило в глаза,— наполненные светом высокие красные облака. Красные, яркие, как утром, когда всходит солнце из-за днепровских скал. Но сейчас оно не всходило. Сейчас оно заходило. Там, за плотиной, за кранами Днепрогэса, тонуло в кровавых пожарищах степных.

На берегу возле шлюза расположился штаб какой-то, и Поля сразу набросилась на командиров, плача, стала укорять их за плохую оборону. Они не отвечали ей, но слушали внимательно, и все молча посматривали в бинокли на ту сторону Днепра и на плотину.

Среди военных были и директор Днепрогэса, и главный инженер, и секретарь обкома, и даже нарком электростанций, который находился тут как уполномоченный Ставки. Иван Артемович, подойдя к нему, передал ему вахтенный журнал.

— Товарищ инженер,— взяв журнал, сказал нарком,— через год снова будете принимать вахту.

Из города подошли трамвайщицы (трамваи их остановились), подошли и спрашивают простодушно:

— Когда же будет ток?

Им никто не отвечает.

Солнце зашло. Небо в лохматых красных облаках заката угасает, седые сумерки окутывают все вокруг, а люди, собравшиеся на берегу — и генералы, и рядовые, и обкомовцы, и днепрогэсовцы,— все глядят на плотину, будто хотят наглядеться на нее в последний раз. Повитая сумерками километровая гребенка с десятками бетонных быков, водовыпускных прогонов, щитов — все застыло и словно ждет чего-то...

Взрыв, был он или нет? Это скорее напоминало землетрясение. Содрогнулась земля всеми своими гранитами. Инженеры и рабочие сняли фуражки и напряженно глядели с берега, как медленно, будто при замедленной киносъемке, разламывается плотина...

В пролом сразу ринулась вода, буря ревущей воды, а в небо с огнем, с брызгами поднялась черная туча

взрыва. Властвуя в хаосе пролома, стихия воды довершала начатое взрывом: доламывала, выворачивала бетон, бушуя среди руин, стреляя брызгами в небо.

И вот уже, как голос времен минувших, в сумерках над Днепром раздался грозный порожистый гул, глубинный, клокочущий рев, в котором было что-то первобытное, дикое, мрачное.

Оглушенная этим гулом-ревом, стояла Поля среди молчаливых командиров, бойцов и днепрогэсовцев, столпившихся на берегу возле шлюза. Отчаянно вцепившись руками в бетонный парапет, все смотрела в сгущающиеся сумерки на черную клокочущую рану своего Днепрогэса; то были минуты, когда горючие слезы сами застилают взор, и мир темнеет, и хочется умереть.

45

Ночью подошли танки. Заглушив моторы, остановились в Шестом поселке лбами к Днепру. Нельзя ли как-нибудь перебраться на Правый? Нельзя ли перебросить через пролом в плотине для танков какой-нибудь мост? Это сейчас больше всего волновало танкистов. На плотину была выслана разведка. Разведчики дошли до самого места взрыва. Нет, о перекидном мосте не могло быть и речи. Метров на восемьдесят вырвало живую часть плотины, и в проломе между оскаленных бетонных развалин с дикою силой кипит вода. Пропасть. Бесформенные нагромождения глыб искалеченного бетона. Отдельные глыбы висят на прутьях арматурного железа высоко над водой, а внизу клокочет, ревет водопад, бушует в черной прорве так, что содрогается весь бетон уцелевшей части плотины.

Из помещения гидростанции, из машинного отделения, вымахивает пламя — горит обмотка генераторов, горит все, что сегодня еще действовало.

А на Правом берегу взлетают ракеты и слышна стрельба. Там бой. Там еще сражаются те, кто не успел отступить на Левый.

Среди тех, кто остался на Правом, был и Колосовский.

День боя — это целая жизнь, так много он вмещает в себя. Утром Колосовский был командиром отделения, потом, когда ранило взводного, стал взводным, а часом позже, когда убило командира роты, возглавил роту, вернее ее остатки. В наследство от взводного ему и достался этот отечественный автомат, скосивший сегодня немало фашистов.

Кроме Васи-танкиста, Духновича и еще нескольких бойцов из старого состава роты, были теперь у него и ополченцы из города, и бойцы местного истребительного батальона, и какие-то люди из других разбитых подразделений. Местные мальчишки, еще не знавшие, что такое страх, вызвались ходить в разведку, откуда-то приносили бойцам то гранаты без запалов, то запалы без гранат...

Это был тяжелый, исполненный неимоверного напряжения день. С утра сдерживали на окраине поселка вражескую пехоту, появившуюся на бронетранспортерах. Гитлеровцы, высыпав из них, с пьяными выкриками пошли в атаку на сады. Задрав головы, уперев автоматы в живот, они шли прямо на сады и строчили, как слепые.

Богдан подпускал врага для близкого огня, несколько раз поднимал своих в контратаку. Удивительное состояние души: идешь в контратаку — и ничто не страшно, не боишься умереть, а позже, когда все кончится, не можешь цигарку свернуть — руки дрожат. Даже перед бойцами стыдно. Оттесненные врагом в глубину поселка, вели огонь из Дома культуры, засев на чердаке, отстреливались из кустов скверов, с каких-то веранд; на одной из таких веранд едва не убило и Богдана — немецкая с длинной ручкой граната, упав, завертелась у его ног, в последний миг он успел ударом сапога отбросить ее назад, за угол дома... Потом вели бой с танкетками, которые прорвались на улицу, и в этом бою потеряли Степуру. Бывает, человек идет на подвиг с отчаяния, не имея другого выхода, или в слепом экстазе, Степура же пошел на подвиг сознательно: когда надо было оста-

новить танкетку, он с поднятой в руке тяжелой гранатой бросился из сада ей наперерез и, кинув гранату, подбил танкетку, хотя самого его изрешетило, изранило — выживет ли теперь?.. Видели врага в этот день вблизи, с малых дистанций, стреляли по зеленосерым мундирам, которые ползали по огородам, энергично подбрасывая зады; слышали из-за соседних домов лай команд на чужом языке, а порой сходились и врукопашную — таков был день.

Потом налетели штурмовики. Звенело в ушах от рева их моторов, сплошной дым и пыль стояли там, где они кружились, а когда их крестообразные тени, черкнув по земле, исчезали в уверенности, что все живое тут уничтожено,— из кустов, из ям, из подвалов снова появлялись бойцы, и снова Колосовский собирал, сбивал их в отряд, способный продолжать бой.

В короткие передышки, когда Богдан смотрел на Левый, на высокие корпуса соцгородка, на горячие днепровские скалы того берега, до которых отсюда было так далеко, ему казалось, что живыми отсюда им уже не выйти, что будут они приперты танками к тем вон скалам, будут раздавлены бронированными фашистскими лбами и только кровь и тряпки будут гореть на днепровских гранитах, как у серой стены Пер-Лашеза, где когда-то расстреливали парижских коммунаров.

Ночь застала Богдана с его сводным отрядом все в тех же садах Правого берега. Тут было их много, таких вот летучих отрядов, больших и маленьких, наспех сколоченных из оставшихся, из отбившихся от тех, которые сами теперь решали, как им быть, как дальше вести себя.

Они ждали ночи с намерением пробиваться на ту сторону через плотину. Горит Запорожье. Сегодня несколько раз бомбили район заводов, то и дело над Днепром, над Хортицей завязывались короткие ястребиные воздушные бои. И сейчас слышно, как стреляют над заводами зенитки, стукают в вечернее небо, будто набивают его чем-то. С Хортицы гулко бьют крупнокалиберные пулеметы, после каждой оче-

реди в скалах днепровских далеко раскатывается эхо.

Колосовский уже готовил людей для прорыва на плотину, когда внезапно раздался оттуда мощный взрыв. Неужели поднята в воздух плотина? Им не верилось. Им не хотелось верить. И они не оставили своего намерения прорваться. Лежали в садах, и враг их уже не тревожил, только ракетами то и дело освещал над ними листья деревьев, переплетения металлоконструкций. Ракеты падали рядом, гасли с гадючьим шипением.

Нужно было разведать, какими силами охраняется вход на плотину, и Колосовский решил отправить туда нескольких добровольцев. В числе других в разведку вызвался и Духнович, который в этот день вообще удивлял Богдана выдержкой и умением ориентироваться в сложных ситуациях. Богдан послал и его, поставив во главе группы Васю-танкиста.

Возвращения разведки ждали с нетерпением. Притаившись по кустам, по рвам, вели приглушенные разговоры, высказывали всякие догадки.

— Только вы их и видели, тех разведчиков,— слышал Колосовский неподалеку от себя чей-то сиплый, словно бы пропитой голос.— Ежели можно пробраться, так сами проберутся, а вы тут пропадай. Только черта с два проберутся! Слыхали, как бухнуло? То ж плотина взлетела вверх тормашками. Одно ведь знают: командовать «вперед» да «вперед», а когда снимать-ся — ни у кого язык не поворачивается. Весь день вот тут нас дурачили: будет, будет приказ, отзовут, не забудут,— а чем все кончилось?

— Есть, кажется, приказ, который запрещает отступать,— послышалось в ответ.

— Тем, кто приказы пишет, хорошо: они далеко,— все бубнил тот сиплый голос.— А нас вон бросили на произвол, уже нам и батько Сталин ничем не поможет. Сидим, а что высидим?

— Что ж, по-твоему, сдаваться?

— Не сдаваться, а по домам...

— На печь? Под юбку к жене? Думаешь, там не найдут?

— А коли найдут, так что? Они культурные.

— Культурные? Чего же тогда их культурность на нас танками да бомбами прет?

— Ты меня политграмотой не корми. Накормлен ею, аж тошно...

Богдан не мог больше терпеть. Подполз к бойцам:

— Кто это здесь язык распустил?

— Вот он,— указали бойцы на мордастого, который лежал между ними, опершись на какой-то узел.— Все ноет и ноет...

Колосовский подполз к нему ближе.

— Ты кто?

Узнав командира, толстомордый сделал движение, будто хотел встать, но не встал, лишь присел на корточки.

— Рядовой Храпко.

— Так ты считаешь, лучше по домам?

— А что? — В голосе Храпко зазвучали наглые нотки.— За что гибнуть? Я в жизни своей яйца не съел!

— Бедолага, яйца он не съел! — насмешливо произнес один из ополченцев.— А глянь, какой портрет нажрал.

— И вправду портрет,— засмеялся другой боец.— Кирпича просит...

— Ну, ты, полегче с кирпичом-то! — огрызнулся Храпко.

— Вот что, Храпко,— перебил его Колосовский.— За эти твои разговоры...

Но он не закончил. Вернулись разведчики. Вася-танкист, присев и все еще возбужденно дыша, доложил, что охрану у плотины несет броневик. Возле него — всего несколько немцев, разговаривают, смеются.

— Если их убрать — плотина наша!

— Приготовиться! Идем на прорыв! — скомандовал вполголоса Колосовский. И команда, передаваемая шепотом, побежала от бойца к бойцу.— А вы, Храпко, будете рядом со мной. Граната есть?

— Есть...

— Пойдете первым.

— Почему я? Почему первым? — вскочил тот, держа гранату в руке.— А вы?

— Я-то пойду, но сперва ты.— Колосовский с ненавистью толкнул его вперед.— Иди, гад!

И тот, согнувшись, стал пробираться сквозь кусты, за ним по пятам с гранатой в руке Колосовский.

Тигриной настороженной походкой шел отряд. Немцы не ожидали нападения. Они о чем-то громко галдели возле броневика, когда отряд Колосовского подкрался к ним. Вспышка! Удар! Нескольких гранат оказалось достаточно, чтобы возле броневика остались только трупы.

Сапоги бойцов уже гулко стучали по плотине. Плотина взята! Плотина снова в их руках. Богдан бежал, и сердце его замирало от счастья. Бежал к жизни, которая была на том берегу, к родному Запорожью, что пылало и звало, как маяк, озаривший полнеба. С каждым шагом вперед укреплялась надежда: вот-вот они будут там. А навстречу приближался рев водопада. Этот рев уже сказал им все, но они еще не верили и бежали вперед изо всех сил, бежали так, что, казалось, с ходу перелетят, каким бы широким ни был провал!

С разбегу Богдан чуть не сорвался вниз, в пропасть, так неожиданно разверзлась она перед ним. А кто-то с разгона ахнул туда, в темный бушующий водоворот...

— Кто упал?

Молчат.

— Где Храпко?

Нет Храпка: то ли сам сорвался, то ли кто помог...

Задыхающийся Колосовский стоит у края обрыва. Уцелевшая часть плотины дрожит, вибрирует под ногами от натиска воды, в горячее лицо бьют брызги, словно дождем сечет снизу, из клокочущей черной пропасти...

Прорваться на плотину, увидеть водоворот — и обратно? Это, кажется, было свыше их сил. Но другого выхода не было.

— За мной! — скомандовал Колосовский.— Пробьемся в другом месте. В плавнях переправимся.

И через миг отряд табуном бежал по плотине назад, в темноту Правого берега. Немцы не успели еще толком и опомниться, как бойцы промчались через трупы часовых у плотины и, преследуемые лишь вспышками ракет да беспорядочным огнем трассирующих пуль, уже исчезли в ночных садах, в железных чащах трансформаторного леса.

С Левого еще услышат их.

Еще несколько недель продержится Запорожье. Еще на некоторое время наши части отобьют у врага Хортицу, и секретарь ЦК произнесет ставшую крылатой в войсках фразу: «Чем хвалитесь? Хортицу отбили? Запорожцы и не сдавали ее никогда!» — и это прозвучит как горький укор, о котором будут помнить всю войну. Несколько недель еще будут разрезать на заводах домны, чтобы по частям вывозить их отсюда, десятки тысяч вагонов с заводским оборудованием пойдут из города на восток.

Но рану Днепрогэса уже не закрыть. День и ночь будет клокотать она грозным потопом, пойдут прорвавшиеся воды на всю низовую часть города, а выше — на обмелевшем озере Ленина, когда вода спадет, вынырнет старый Кичкас, один за другим вылезут из воды черные, замшелые, зеленой слизью покрытые пороги, вылезут и заревут на всю Украину.

46

Может быть, кто спросит: зачем это было сделано?

Это была сознательная и тяжелая жертва, с болью принесенная народом, это была баррикада, преграждающая путь врагу. Полностью уничтожить Днепрогэс попытаются фашисты: злобно и бессмысленно они взорвут его, отступая в 1943 году, и если не весь он будет уничтожен, не до последнего камня разрушен, то лишь благодаря мужеству и находчивости советских бойцов, первых днепровских разведчиков, которые успеют кое-где перерезать адские провода, подведенные к сотням тонн взрывчатки.

Но все это еще далеко.

Еще бесконечно далек тот день, когда Хрущев и Ватутин выведут полки на Днепр и укажут им с Вышгородского плацдарма путь на Киев.

Еще враг сам создает плацдармы, неудержимо рвется на Левобережную Украину, чтобы с захваченных плацдармов развить наступление дальше на восток, оставляя позади себя новые пространства, окутанные пожарами, зноем и пылью этого черного лета...

Латвия, Литва, Эстония захвачены врагом. Фашистские дивизии у стен Ленинграда. К тяжким оборонительным сражениям готовится Москва, пылает Смоленщина, в лесах Белоруссии развертывается партизанская борьба. Настанет час — и страшными для врага станут брянские, белорусские и украинские леса, зачернеют вражьими трупами снега Подмосковья, и обмороженные, засопливевшие колонны гитлеровских вояк сгорбившись побредут под нашим конвоем; а покамест он, самонадеянный пришелец, еще полон наглой веры и, даже попав к нам в руки, заученно, по дням рассказывает, когда и какой из наших городов будет взят, когда его армия выйдет на Волгу и на Урал и когда мы погибнем.

Ураган войны бушует над Украиной. Миллионы людей выброшены на дороги — на тяжкие дороги отступления, лишений, муки. Почерневшие от пыли и горя, бредут по дорогам беженцы, а их отход прикрывают такие же почерневшие, изможденные войска. Командиры, комиссары, бойцы в расползающихся, изъеденных потом гимнастерках, неутомимые труженики войны,— они принимают на себя самые тяжелые удары. Отступая на восток, они все время обращены лицом и оружием к западу, к его танкам, минометам, к его моторизованным дивизиям.

Дорого стоила врагу битва на Днепре, битва за левобережные плацдармы, но Гитлер и его генералы не хотели замечать потерь. В середине сентября моторизованные войска врага, перейдя в наступление с Кременчугского плацдарма на север, прорвали нашу оборону на двухсоткилометровом фронте и, соединившись со своими танковыми группами в районе Лохвицы, отрезали многочисленные войска Юго-За-

падного фронта, оборонявшиеся на Левобережье, восточнее Киева. Долго еще днем и ночью будут идти здесь бои, будут пробиваться на восток группы окруженцев, гибнуть в неравных схватках. В числе павших будут и командующий фронтом генерал-полковник Кирпонос, и штабные его офицеры, и писатель Гайдар.

Еще будут звучать выстрелы окруженных, а танковая группа фон Клейста, высвободившись отсюда, устремится на юг, разрезая тылы наших армий, возьмет Орехов, двинется на Мариуполь, и угроза окружения нависнет уже над южными нашими армиями. Неожиданным будет появление вражеских танков в нашем тылу, в запорожских степях. Еще не вывезенный хлеб золотыми горами будет лежать на колхозных гумнах, еще будут двигаться по этим местам обозы эвакуированных, а уже закипит здесь жестокая битва насмерть. Ожесточеннейшие, какие только в окружении бывают, бои завяжутся на этих последних рубежах; разбившись на большие и малые группы, со страстным упорством станут пробиваться на восток окруженцы. Потом настанет день, когда в осенние сумерки в терновом степном буераке генерал, командующий армией, соберет всех оставшихся в живых — ездовых, шоферов, штабных офицеров и даже раненых из полевых госпиталей — всех, кто еще способен держать оружие,— соберет и скажет:

— Товарищи, мы в окружении. Пока живы, останемся бойцами родины. Пробьемся или умрем!

Бросив в балке легковую машину, отказавшись от самолета, на котором он мог еще вырваться отсюда, генерал поведет остатки своей армии на прорыв. Всю ночь продлится неравный бой с вражескими заслонами, ареной схваток станут колхозные дворы, загнанные красноармейцы будут отстреливаться из-за сеялок, из садов, из посадок, а к утру возле полезащитной полосы за селом останутся лежать груды трупов немецких, груды трупов наших, и среди рядовых будет лежать генерал, а возле него — двое бойцов по бокам.

Немцы похоронят его с почестями, даже памятничек поставят ему в степи, отдавая должное храбрости

советского генерала (тогда они еще позволяли себе такие жесты). А после войны это степное селение будет названо его именем, и подымется в центре села высокий обелиск с высеченной на нем надписью: «*Генерал-лейтенант Смирнов Андрей Кириллович (1895—1941)*».

Погружались в мрак города, гибли армии, и, может, кое-кому это уже казалось концом, но это было только начало.

47

В те горькие дни, когда одни гибли, другие, пробиваясь из окружения, шли степями на восток, в этих бескрайних просторах оставались еще места, куда не докатывался грохот войны, где еще мирно поблескивали в степи тихие светлые лиманы и еще не пуганные ни одним выстрелом птицы безмятежно паслись у моря перед осенним отлетом...

Ногайщина, степь и море, и две девушки идут по безлюдному побережью.

— Так это ты здесь вырастала, Ольга?

— Здесь, Таня, здесь. Вон в море выступила коса Белосарайка, маяком белеет — тот маяк светил мне в детстве. Не знаю, как сейчас: погас или все еще мигает. Дождемся вечера — увидим.

В просторной впадине, что тянется вдоль моря, тут и там зеркально светятся спокойные лиманы, а между плесами воды земля в разливе чего-то синего, нежного, сиреневого...

— Это что?

— Кермек цветет. Всю осень синеет, до самых холодов. Это наш бессмертник... А вон, видишь: орлы!

Девчата, остановившись, загляделись в небо на птиц. Это было редкостное зрелище: величаво — именно величаво, иного слова на найти! — делают круги в вышине, в той вышине, откуда весь мир, наверное, кажется иным.

— Настоящие орлы?

— Да, настоящие степные орлы... Все лето вот так кружат в небе над степью и морем.

Стояли, смотрели на орлов в небе, а думали о людях на земле.

Потом тихо тронулись дальше.

— А под осень,— рассказывала подруге Ольга,— столько перепелов, скворцов, дичи всякой тут собирается! Полное побережье птиц...

Они идут, а чайки белые носятся над ними, роняют пискливые крики.

— Этих чаек у нас каганцами и героликами зовут...

— Как тут тихо! Только чайки вскрикивают.

— И на море никого... Помню, еще маленькой, стою как-то на берегу, а далеко где-то у самого горизонта, на тихом спокойном море, в мареве, белые паруса плывут один за другим. Над морем утром дымка голубая, а они сквозь эту дымку — ослепительно белые от солнца, фантастически красивые, словно каравеллы какие-нибудь. Спрашиваю маму, что это? А она: пошли с косы за глиной на Крутенькую... Так просто, буднично... За глиной.

Войны тут еще не было, на этом тихом, забытом побережье. Безлюдно, пустынно. Только фелюги рыбацкие, челны, баркасы да байды просмоленные чернеют на берегу, лежат сиротливо, покинутые, некоторые уже порассыхались, видать, давненько не прикасалась к ним рыбачья рука.

На одной из таких фелюг девчата сели передохнуть. Давно они не ощущали такой тишины, такого покоя, что льется прямо в душу.

Как птиц бросает в воздухе во время бури, так бросало и их в последнее время вихрем событий.

С окопных работ они снова вернулись в Харьков. Город был уже какой-то растревоженный, неприветливый, на улицах металлические противотанковые ежи, мешки с песком. Всюду множество продуктов, на площади возле ДКА продают сливочное масло, красноармейцы берут масло, если не во что, прямо в каски.

В университете, куда они прежде всего забежали, среди других знакомых, которые как раз получали стипендию, встретили и Марьяну. Она была какая-то

чужая, отстраненная от них своим горем. Узнали, что она работает на заводе, но завод скоро должен выехать.

— И ты с ним?

— Там видно будет,— ответила скупо и как-то многозначительно посмотрела на глухую, обитую дерматином дверь спецотдела, возле которой они ее встретили.— Остаться хочу.

— Как остаться?

— А так... Радисткой, диверсанткой, да кем угодно,— добавила она с ожесточением в голосе.

С подругами распростилась без нежностей, почти холодно.

В аудиториях, в коридорах факультетских на узлах с пожитками какие-то незнакомые люди,— оказалось, все это эвакуированные сюда из Киевского университета. Среди них только и разговоров что о боях под Киевом, где в рядах защитников города сражается много студентов, которые тоже пошли добровольцами на фронт. Завтрашний день и киевским и харьковским представляется одинаковым: эвакуация, дорога, Кзыл-Орда, там, где-то в глубине Средней Азии, они должны найти для себя убежище.

Таня и Ольга были далеки от этих планов. После того как они получили письма, которые ждали их на факультете (Таня — от Богдана, Ольга — от Степуры), и узнали, что хлопцы ранены и с ними можно повидаться, никакая сила не могла удержать девчат здесь. В тот же день они выехали в Мариуполь (оттуда писал Богдан), договорившись, что по дороге заедут к Степуре в его донбасский госпиталь.

В госпитале Степуру не застали, однако узнали, что он теперь тоже в Мариуполе, в том диковинном выздоровбате. Поехали туда. Везли хлопцам из университета новость, что война для них почти закончилась, что студентов теперь отзывают и их опять ждет университет, учеба... Уже видели себя вместе с хлопцами, вместе с ними ехали куда-то в азиатские просторы, куда не долетит никакая пуля, не достанет никакая война.

В Мариуполе их ожидало горькое разочарование. От Лымаря, которого девчата встретили среди штабных писарей, они узнали, что хлопцы два дня назад снова отправились на фронт.

Впервые с начала войны Таня тогда разрыдалась. До сих пор за все время разлуки с Богданом она ни разу не плакала — Ольга по крайней мере никогда не видела ее слез,— а тут не удержалась. Зато после этого в ее характере появилось злое упрямство, какое-то ожесточение.

Несколько утешило девчат лишь то, что хлопцы отправлялись, как сказал Лымарь, в хорошем настроении и что уже после их отъезда пришло известие об ордене, которым награжден Богдан.

— Орден Красного Знамени, это же вещь! — восклицал Лымарь.— Такие награды редко дают, а ему дали. Гордись,— сказал он Тане и еще хвалился, что его самого куда-то переводят, отзывают, но Таня его уже не слышала. Она уже не слышала ничего на свете, кроме голоса собственного сердца, которое рвалось вслед Богдану и искало его по всем фронтам.

— Куда теперь? Назад в университет?

Таня сказала:

— Ни за что!

Учиться дальше одной, пока он воюет, никак не помогать ему сейчас, а потом оказаться к тому же на разных курсах с ним? Это было совершенно невозможно. Нет, ждать, ждать, сколько бы ни пришлось. Вместе доучатся когда-нибудь.

Уезжать отсюда не хотелось. Места эти стали дорогими для них: тут ходили хлопцы, тут залечивали свои раны, отсюда писали письма. Это был последний их адрес, место свидания, которое не состоялось; и если девчата останутся здесь, они будут вроде бы поближе к ним, своим любимым...

Таня и Ольга пошли в горком комсомола, попросились на работу. На какую угодно, потому что не было сейчас на свете работы, за которую они не взялись бы. Несколько дней работали на строительстве степного аэродрома, потом устроились в госпитале, стали донорами, убирали в подсобном хозяйстве ово-

щи для раненых, с утра и до вечера собирали помидоры, а мимо них по дороге все время шли на Таганрог обозы эвакуированных, и они видели детей, состарившихся от горя, и женщин, которые рожали прямо на подводах... Никто не мог помочь этим несчастным, и девушки помогали им только тем, что давали помидоры на дорогу.

Потом и овощи были собраны, и госпиталь выехал, и появилось в сводках новое — Мелитопольское — направление.

Тане ничего не оставалось, как принять приглашение Ольги и отправиться с нею к ее родителям. И вот они сидят теперь на черной рассохшейся фелюге. Таня, достав из чемоданчика студенческую фотографию Богдана — в который раз,— всматривается в него. Он. Ее суженый. Самый лучший. И этот полный силы, высоколобый юноша, он может быть убит? Неужели зароют в землю эту ослепительную улыбку? И высокий этот лоб, в котором собрано столько знаний, столько веков человеческой истории — от ассировавилонян до наших дней? Жутко было думать об этом.

— Что будет, если его не станет, Ольга? Я не представляю себя без него, вовсе не представляю. Я была счастлива просто быть с ним, даже и тогда, когда мы были в ссоре и сидели порознь, в разных углах аудитории... Жизнь, в которой не будет его, для меня бессмысленна.

— Гони прочь такие мысли,— посоветовала Ольга.— Почему он обязательно должен быть убитым? Представляй его лучше героем, возмужавшим в боях командиром, с орденом Красного Знамени на груди... Ты же слыхала, его уже награды ищут...

— Хорошо. Так и буду.

Поднявшись, девчата пошли дальше.

Снова кермек цветет, и солонец стелется темно-зеленый, безлистый,— наверно, сродни убогой тундровой растительности или той, что, возможно, произрастает где-то на Марсе.

Впереди огромное село раскинулось по побережью, стайка тополей выбежала почти к самому морю.

— Вон там, где тополя, там мы и живем.

А Таня вспоминает позднюю осень в Харькове, студеный вечер ноября; ветер гонит тополиные листья по аллеям Шевченковского парка, по которым они идут с Богданом с последнего сеанса кино. Листья еще зеленые, но уже подмерзли и звенят по ночному асфальту, словно железные. Будут ли звенеть те листья еще когда-нибудь ей с Богданом, или все то уже навеки миновало и нет ему возврата?

48

Хата Ольгиных родителей полна тревоги. Суета, беспорядок, сборы в дорогу... Мать, статная, смуглая гречанка, которую можно было бы принять за старшую сестру Ольги, в момент появления девчат увязывала пожитки. В первую минуту она растерялась, какое-то время топталась возле своих узлов, потом со слезами бросилась обнимать дочь.

— Я уж не знала, что и думать... Не пишешь, никакой весточки от тебя... А это ж кто? — подошла она к Тане.

— Подруга моя,— сказала Ольга.— Самая близкая подруга.

— Вот и хорошо. Вдвоем-то веселее вам будет.

Она тотчас усадила девчат обедать, словно знала, как они голодны. Продолжая свою работу, рассказывала, что тут творится, какая поднялась сегодня с утра суматоха.

До последних дней жили здесь спокойно. Разговоры об эвакуации расценивались чуть не как проявление малодушия: ведь на западе были еще Днепр, Каховка с оборонительными сооружениями, Мелитополь; тысячи людей, местных и присланных сюда даже из Средней Азии, целыми трудармиями уходили туда на рытье противотанковых рвов; враг где-то там должен был найти себе могилу. И, вопреки всему этому, из района вдруг телефонограмма: уводить тракторы, немедленно гнать за Кальмиус скот, эвакуировать семьи актива.

— А Федорка-то Михайлова поехала на фронт,— рассказывала мать о соседке.— Слух прошел, что Михайло убит, а он на днях объявился, из Захаровки звонит в сельсовет: вызовите мне семью к телефону. Посыльный не верит, говорит: тебя же нет, а он кричит, ругается: это я! Побежали в сельсовет мать и жена, плачут у трубки, а трубку взять боятся. Потом Федорка взяла-таки, переговорила с ним, в тот же день выпросила двуколку у бригадира и метнулась к Михайле в Захаровку — он там в своей части...

В хату вбежал маленький, живой, до черноты загоревший на солнце носатый грек, оказавшийся Ольгиным отцом. Поздоровался с дочерью, потом, окинув быстрым взглядом Таню, мимоходом обнял и ее как свою и сказал почти весело:

— Вы держитесь теперь нашего табора... Вот она будет вами командовать,— кивнул он на жену и добавил: — Двигаться будем порознь. За Кальмиусом встретимся.

Механик МТС, коммунист еще с двадцатых годов, он получил задание сопровождать тракторы. Трактористы с техникой уходили сейчас, а семьи с подводами должны были выезжать рано утром.

— Вот только без этого, без этого,— осторожно оторвал он от себя жену, которая зашлась в плаче.— Мы еще с тобой будем петь, старуха! Слышишь?

Узел с харчами был для него уже приготовлен, и, схватив его, он выскочил из дому. Через минуту девчата видели его уже на одном из тракторов, с грохотом проходивших по улице.

А вскоре после этого — крик на все село. Федорка вернулась с фронта, из окружения на двуколке выскочила!

На подворье у нее, куда побежали и девчата, полно людей, а Федорка — бледная чернявая молодица лет тридцати — стояла перед ними возле запряженной двуколки и взволнованно рассказывала о своем Михайле:

— Набрехали о нем, что убит, а он теперь уже лейтенант, командует взводом артиллерии. Сама видела его пушки и полный боевой припас возле них

в ящиках. Гляди, говорит, Федорка, в какой каше были, а ничего не бросили, наша пушка, хоть и маленькая, а знаешь как танки берет! Где-то они еще за Черниговкой попали в окружение, думали — смерть всем, один лейтенантик с перепугу давай переодеваться в рядового. Подскочил, стал просить моего: отдай, говорит, мне твою гимнастерку! Михайло отдал, а самому-то ведь как быть? Надел лейтенантскую. Потом, когда тревога улеглась, попал мой Михайло на глаза генералу, тот останавливает: «Товарищ лейтенант!», а Михайло ему: «Я не лейтенант, я рядовой, это только форма на мне лейтенантская». И рассказал все как было. А тот выслушал и говорит: «Ну и будешь теперь лейтенантом. Такое тебе звание за то, что ты не растерялся!» И вот он теперь законный командир,— гордо закончила Федорка.

Соседок, однако, интересовало другое.

— А моего ты там случайно не бачила? А моего? А моего? — сыпалось отовсюду.

— Ваших не видела, только Грицка Харченку из Бахтармы встретила, он при Михайловой батарее. Я им еще и ужин варила с той хозяйкой, у которой они в саду стоят. Приготовила им ужин, переночевала, а наутро там такое началось, что не приведи господь. Михайло говорит: «Ну, Федорка, откомандировывайся, двигай домой, бо нам воевать. Только подальше от главных дорог, проселками пробирайся. А как придешь домой, передай там всем: отступление — это еще не смерть, панике не поддаемся, есть пушки, есть снаряды, чего нам их бояться?» Он же у меня знаете какой боевой, да еще и коммунист, он и в Берлине побывает — вот увидите!

Толпа еще не разошлась, когда из степи в село влетел военный грузовик с двумя красноармейцами. Остановились возле двора, стали спрашивать, где больница.

— Перевязочный материал ищем. Только что под Мангушем был бой, там наши раненые лежат, нужно подобрать. Может, из вас кто поедет?

— А отчего же! Я первая поеду,— сразу подала

голос Федорка.— Я уже там была, у меня муж лейтенант!

— И мы тоже поедем,— сказала Таня.

— Мы студентки,— пояснила красноармейцам Ольга,— проходили курсы ГСО...

— Садитесь!

Забрав в опустевшей больнице медикаменты и бинты, помчались в степь.

По дороге узнали от красноармейцев, что танковые части врага, прорвавшись откуда-то из-под Бердянска, устремились по тракту прямо на Мариуполь, минуя эти селения. Все побережье теперь, с десятками колхозов, рыбозаводом, сельсоветами и Белосарайским маяком, оказалось отрезанным, враг отхватил его, как ломоть, и бросил — знал, что все это теперь от него не уйдет.

Пригорюнившиеся и какие-то совсем беззащитные, девчата притихли в кузове. Что же теперь? Еще утром шли вдоль моря, наслаждались тишиной и покоем, не чувствуя близкой опасности, и вдруг эти разбросанные по Приазовью греко-украинские села, что стали для них последним прибежищем, уже и сами оказались под угрозой окружения.

— Не тужите, девчата,— утешает Федорка, поняв их настроение.— Я вот была в окружении, да вырвалась и жива, а ведь там такое было! Всех не окружат! Войско — оно как вода, сквозь пальцы протечет.

— Протечет,— мрачно заговорил насупившийся красноармеец, который все время зорко всматривался в степь.— А вы видали, что под Черниговкой творилось? Видали, как танкисты наши сами сжигали себя в танках, когда кончались снаряды и никакого выхода не было...

— Ты мне не рассказывай, у меня муж там,— гордо твердила Федорка.— И снаряды у него есть, и голова на плечах — выскочит. Такой из ада выскочит. Не нюня, не слюнтяй какой-нибудь — на море шкипером был, теперь командир, лейтенант артиллерии... А я, девчата, теперь, выходит, командирская жена...

Подводы какие-то галопом несутся по степи; грузовики с зенитными пулеметами, нацеленными в небо;

у посадок бродят брошенные кони. Машина с двумя красноармейцами, Федоркой и девушками остановилась возле нескошенной высокой суданки. Раненые красноармейцы, выползая из суданки, встретили их радостно:

— Мы уж и не надеялись, что приедете.

Бойцы все были молодые-молодые. И Таня почувствовала, что невольно ищет среди них знакомое, самое родное лицо. Один чем-то походит на Богдана — молодой, заросший щетиной лейтенант, смугловатый, похоже кавказец. Она бросилась перевязывать его. Лейтенант сам поднял на себе окровавленную, забитую пылищей гимнастерку, показал рваную рану на спине.

— Наверное, легкое пробило,— хрипел он.

— У Горького тоже было пробито легкое,— перевязывая, утешала Таня,— а ведь жил и сколько сделал! Вы тоже будете жить.

Раненый посмотрел на нее с благодарностью.

Набрали раненых полный кузов и уже хотели ехать, когда один из них вдруг задержал:

— Обождите. Там еще бригадный комиссар. Он тоже ранен.

— Где он? — встрепенулась Федорка.

— Вон там, под посадкой.

Завернули к тому месту, где суданка подступала вплотную к густой колючей лесополосе. Группа бойцов занимала тут оборону. Каждый лежал лицом на запад. Бригадный комиссар был среди них за станковым пулеметом. Заросшее, запыленное лицо в ссадинах, глаза ввалились, и только где-то там, в глубине их, еще проглядывал живой упрямый блеск... Голова перевязана пыльным бинтом, командирская фуражка валяется в стороне.

— Мы за вами,— крикнула Федорка комиссару,— садитесь скорее.

Он не шевельнулся. Как лежал у пулемета, так и остался лежать.

— Садитесь, говорю! — требовательно повторила «командирская жена».

— Что же вы? Идите садитесь!

— Езжайте,— услышали они его сухой властный голос.— Мы пока остаемся.

— Вы же ранены!

— Это вас не касается... Мы — прикрытие.

Видно было, что комиссара не уговорить. Они поехали, а он остался с бойцами у колючей степной посадки.

Девчата все время оглядывались с машины туда, где он остался, упрямый этот комиссар. Они уже подъезжали к селу, когда услышали от посадки пулеметный клекот. Словно в пустыне, одиноко проклекотало в огромной степи среди безлюдья, тишины, пылищи...

— Вот это коммунист,— сказала Федорка.— Я почему-то так и думала, что он не поедет.

— Почему? — спросила Ольга.

— Потому что я уже видела таких. Говорил мне мой: «Ты не знаешь, Федорка, что такое солдатский стыд, какой он горький. В глаза не можем глянуть людям за это наше отступление».

Над селом вставал дым. Горела только что подожженная эмтээсовская нефтебаза, по улицам мчались подводы вниз, куда-то к морю.

— На косу давайте, на косу! — крикнул им председатель сельсовета, когда они остановились возле больницы.— Район уже не отвечает.— И в подтверждение своих слов он показал телефонную трубку с оборванным проводом.

На минуту подкатили к Федоркиной хате, чтобы хозяйка могла захватить вещи, остановились и возле Ольгиного двора, но в доме и во дворе было пусто.

На центральной улице догнали Ольгину мать, которая вместе с другими женщинами едва поспевала за подводой.

— Там, на косе, нас ждите! — крикнула она девчатам.

Грузовик помчался вниз, к морю. Кажется, все, что было тут живого, устремилось теперь со всего побережья на косу, видневшуюся далеко своими деревьями, маяком. Бежали к морю с узлами, мчались на конях, на двуколках, на тачанках. Откуда-то тащили туда тракторами даже комбайны.

Когда девчата с ранеными въехали на косу, перед ними открылась страшная картина: вдоль самого моря, сбившись, стояли тракторы, а вооруженные ломами люди — и Ольгин отец, механик, среди них — ходили среди тракторов и ударом лома разбивали моторы. На Мариуполь им не удалось прорваться. Колонна с полпути возвратилась сюда; тут-то и нашли свой конец тракторы, большей частью новенькие, может, только в этом году выпущенные Харьковским тракторным.

А дальше, из глубины косы, где чернеют вдоль берега суда рыболовецкого флота, слышны крики: там толпятся люди — председатели прибрежных сельсоветов на скорую руку заполняют эвакуационные листки, а заполнив их, молча — к колену — прихлопывают печатью.

На фелюги, на баркасы грузили муку, продукты, и слышен был чей-то раскатистый голос:

— Где паруса? Ищите паруса! Они где-то здесь!

Оказалось, паруса на складе, а склад закрыт, дверь на засове и ключей нету.

— Чего вы глядите? — сразу вступила в дело Федорка.— Целовать будете этот замок? А окно?

И, схватив весло, попавшееся под руку, с размаху ударила им в раму окна. Вскоре добрались до брезентов.

Таня с Ольгой тоже волокли к берегу тяжелые эти брезенты, которые должны были вскоре наполниться ветром и превратиться в тугие ветрила их суденышек.

Одни отплывали, другие готовились к отплытию, а они долго возились на своем, ставили парус, и командовала ими Федорка, она все умела. Забрызганная водой, растрепанная, натягивала парус, хвасталась своим молодым помощницам:

— Бо я сама, девчата, рыбачка и родилась на море. Вышли отец с матерью на лов, там и пуповину мне завязали...

Работа приближалась к концу, когда налетел вражеский самолет, начал бросать на косу бомбы. Одна бомба с жутким свистом падала прямо на их фелюгу, и Таня, забившись под парус, видела уголком глаза, как, обезумев от ужаса, учитель-инвалид исступленно рвал на груди рубашку. Ему, видать, так же, как и ей, Тане, показалось, что это уже смерть, что бомба летит прямо на него. Однако бомба, плюхнувшись неподалеку от фелюги, лишь подняла морскую воду тяжелым фонтаном и никого не зацепила. На косе дико ржали кони, кричала не своим голосом какая-то женщина — раненая или, может, от испуга,— а Федорка, только побледнев, решительно распоряжалась:

— Сети давайте! Сети растягивайте!

Девчата, вскочив, принялись таскать с берега на фелюгу порванные рыбацкие неводы; путаясь, развешивали их так, чтобы с самолетов было видно: тут, внизу, мирные люди — авось у воздушных бандитов пробудится, ворохнется что-то человеческое...

После налета погрузили к себе на фелюгу нескольких раненых, которых не успела забрать специально выделенная под лазарет моторка, сюда же сели Ольгина мать, местный кооператор с портфелем и тот учитель-инвалид. Последней прямо с тачанки к ним метнулась запыленная женщина с двумя детьми — семья какого-то работника из района. Муж только помог ей сесть, передал детей, а сам, попрощавшись, снова вскочил на тачанку и помчался в степь: он оставался тут партизанить.

Фелюга отчаливала, когда от берега, прыгая по воде, к ним подбежал еще один пассажир — краснорожий пожарник местной команды. Федорка люто сцепилась с ним. Он лез в фелюгу, а она его не пускала. Он что-то ей бормотал, а она кричала на всю Белосарайку:

— Не пущу! Какой ты, к дьяволу, коммунист?

За пьянку сколько выговоров имеешь? Вот у меня муж коммунист — так он в боях прокипел! Вот политрук — коммунист, так в ранах лежит. Вон тот с пулеметом в посадке прикрывает всю степь — так тот коммунист! А сорняк нам не нужен!

Она ногой столкнула его в воду, и пожарник, поняв, что с Федоркой ему не сладить, устремился к другим фелюгам.

Под вечер вышли в море. Обязанности капитана взяла на себя Федорка, она знала, куда вести.

— На Кубань пойдем. На Должанскую косу.

Таня с Ольгой, расположившись на корме на изодранных рыбацких неводах, не могли оторвать глаз от берега, который все удалялся и удалялся от них.

Побережье было фантастически красиво. Предзакатное солнце утопало в облаках, и весь горизонт

повит молочно-матовым светом: необычайный свет стенами стоит вокруг, а в нем разлито золото, и на стенах тех светящихся покоится небо — высокое, прощальное.

Ближе и дальше на море виднеются суда, большие и маленькие, парусно-моторные и просто на одних парусах, фелюги, байды и едва приметные на воде челны, баркасы — все выходят в открытое море, летят на рыбацких своих крыльях к тебе, далекая, не занятая врагом земля отчизны!

Долго еще им виден был Белосарайский маяк на косе. Когда стемнело, он не замигал им своим огоньком, как мигал тут в море рыбакам на протяжении многих лет. Вместо маяка багрово, тревожно светит им в эту ночь пылающий Мариуполь — горит порт, горит «Азовсталь».

Ночь застала их в открытом море вдали от берегов. Разбрелись друг от друга парусники, исчезли в темноте. А кругом вода и вода.

Таня, окоченевшая на ветру, забралась с Ольгой вниз, расположилась возле раненых под защитой жесткого тяжелого брезента. Холодно. Дрожь пронизывает тело, а душу не покидает тревога. Стонут раненые. Один из них в бреду все выкрикивал, звал какого-то Мартынова, а потом вдруг умолк, притих, и глухо прозвучал из-под брезента голос его соседа:

— Отмучился...

Федорка с помощью Ольгиной матери положила умершего на какую-то доску, потом они приподняли его и по морскому обычаю спустили за борт.

— А документы взяли? — спросил кооператор.

— Все как нужно,— буркнула в ответ Федорка.

Очевидно, желая развеять гнетущее настроение, она опять громко принялась рассказывать кому-то в темноте о своем муже-лейтенанте и его непобедимой артиллерии, а потом перешла на своего удивительного свекра, который умер незадолго до войны.

— Девяносто девять лет прожил и болезней никаких не знал, только узлы на руках вздулись. А в тот

день, когда исполнилось ему девяносто девять, подзывает меня и говорит: «Беги на море и скажи сынам, пускай сюда спешат скорее. Скажи, что уже, мол, я умер».— «Но вы же еще живы!» — «Не твое дело. Скажи — умер». Так и передала на косу, бо перечить ему никак нельзя было. Приезжают под вечер сыновья, а батько... во дворе сено дергает из копнушки. Они набросились на меня: зачем, мол, зря их от работы оторвала, а отец им: «Нет, не зря. Это я ей так велел». Сели обедать. А старик на лавке прилег. «Где же Федорка?» — спрашивает. «Я здесь, тато. Это же я». (Он уже не узнавал меня.) «Дай воды холодной». Я подала, только комнатной. «Нет, принеси из колодца». Принесла, выпил, а мы себе дальше обедаем. Вдруг один из сыновей говорит: «Братцы, а тато уже померли». И мы положили ложки и все встали. Так-то умирали старые люди. Отжил свое — и как уснул. А теперь, глянь, какой смертью умирают. Какого вон молоденького забрала! Не в девяносто девять, а, видать, в девятнадцать.

Возле Тани под брезентом лежит раненый, тот, что похож на Богдана. Потерял крови много и теперь дрожит, замерзает.

Когда другие притихли, начали дремать, она вдруг почувствовала на себе, у самой груди, где только Богдановой руке когда-то разрешалось лежать, боязливую руку раненого. От робкого его прикосновения ей стало больно и приятно. Не отодвигаясь, она некоторое время грела раненого своим телом.

Но руку его потом осторожно отстранила.

— Почему? — еле слышно спросил.

— Нельзя,— тихо ответила ему.

— Почему нельзя?

— Так. Нельзя.

— Ты меня перевязывала днем... Ты так на меня смотрела. Никто в жизни на меня так не смотрел... Скажи... Ты... могла бы меня полюбить когда-нибудь?

— Нет.

— Почему.

— Люблю другого.

Он больше не прикасался к ней.

Все дальше холодное, растревоженное зарево над Мариуполем, а над морем гудят самолеты. Фелюги идут без огней. Словно бы темные тени — над черной поверхностью вод. Многие уже спят, только Федорка не дремлет у паруса — слышен ее голос: рассказывает кому-то, как они доберутся до Кубани на Должанку, где в рыбцехе работает брат ее мужа. Кубань — это уже спасение.

При слове «Кубань» Таня вспомнила, что где-то там мать Богдана. Таня ни разу не видела ее, но мать знает о Тане, как Таня многое знает о ней, о ее характере, привычках, о ее нежной любви к сыну. В каком-то совхозе она учительствует. Как пригодился бы сейчас ее адрес! Разыскала бы, явилась бы к ней: «Я — Таня, я — Богданова невеста...» Попробует разыскать, найдет, вместе будут работать, вместе будут ждать его.

Рядом с Таней, съежившись, лежит Ольга. Она, оказывается, не спит.

— Как это хорошо, что судьба послала нам эти парусники,— говорит она шепотом.— Теперь я почему-то уверена, что непременно встречу Андрея, расскажу ему обо всем, об этой нашей ночи в открытом море...

— А я все думаю о том комиссаре, который остался с пулеметом прикрывать степь. Один на всю степь...— говорит Таня.— Спасется ли он? Сколько их рассыпано в степях...

По тону ее Ольга почувствовала, что она снова думает о Богдане.

— Спасутся... Еще вернемся мы в Белосарайку, Таня... Еще созовет нас университет...

Размечтавшись, девушки мысленно уносятся к тому желанному времени, когда произойдет перелом на фронтах и все будет иначе и рано или поздно хлопцы живыми вернутся к ним с войны.

Было уже за полночь, когда из морской темноты до них долетел истошный крик, надорванный, хриплый:

— Эй, люди, люди! Сюда! Спасите! Помогите!

Оказалось, они плывут мимо маленького островка, каких немало в Азовском море. Песчаная плешь среди морского простора, ободранные рыбацкие курени, и одна-единственная фигура мечется в темноте возле воды, надрываясь от крика. Подплыли ближе, подобрали этого Робинзона. Был он мокрый весь, бежал к ним по воде, падая, а когда, запыхавшегося, тащили его через борт, дохнуло от него водочным перегаром. Федорка признала его: заготовитель из Мелекина. Уплыл он еще с первой моторкой, с вечера у них тут был привал: видать, выпили, он уснул, и его забыли. Даже теперь, оказавшись на судне, он еще не верил своему спасению, отрезвевший, трясся с перепугу. Немного опомнившись, стал рассказывать, как бегал тут и кричал всем парусникам, которые проходили в темноте, но там не слышали, проплывали мимо, и горе-заготовитель уже думал, что так и останется один возле дырявых этих шалашей и крылатых голодных мартынов, которых так много на острове.

Перед рассветом на горизонте появилась полоска кубанского берега.

— Радуйтесь, земля! — объявила, стоя у паруса, Федорка.

Некоторых укачало, а Таня, утомленная, согревшись под брезентом, задремала. В дремотном забытьи отчетливо увидела перед собой Богдана, ощутила на себе его теплую желанную руку. Ей стало так хорошо и приятно, что она проснулась. Но это было чье-то чужое, не его тепло, и оно сразу перестало греть ее. Резко отодвинулась, одиноко сжалась комочком, и ей вдруг так захотелось увидеть хоть на миг того, для кого берегла себя, свою нежность, девичьи свои нерастраченные чувства. «Где ты? Жив ли? Может, лежишь в степи, среди таких вот молодых-молодых, как те, которых мы подбирали у суданки?»

Отчаяние сменялось надеждой, душа была в смятении, не находила покоя. Смертоносной тучей движется враг по родной земле, день за днем отступают по степям на восток почерневшие от горя войска, куда-то под холодными звездами несет Таню ее туго

натянутый парус, и тот, кого она ждет, все отдаляется во мраке ночи вместе с уходящей землей; или, может, его и нет в живых, а ей все слышится на расстоянии голос его и все видится сквозь ураган войны его далекая улыбка...

ПИСЬМА ИЗ НОЧЕЙ ОКРУЖЕНЧЕСКИХ

50

Мы не погибли. Мы живы. Перед нами, как перед скифами, степи стелются пустынные. Только самолеты в небе напоминают: XX век!

Небо огромное, степное. Ночи сухие, звездные, пахучие. Человеческим потом, пылищей, полынью пахнут эти ночи, от зари и до зари сухими травами, евшан-травой шелестят...

Это мы идем, окруженцы. Люди прервавшихся связей, те, кого отовсюду подстерегает смерть.

Всю ночь идем, не отдыхая. Птицы вспархивают у нас из-под ног, и нам самим хочется быть птицами. Хочется поднять в воздух свои тела, свои раны, свои еще не пробитые пулями головы, взлететь над заревами пожарищ по горизонту, над вражьими заслонами и вырваться из этой тяжкой пустыни, что зовется окружением, из этой огромной пустоты, которую мы не в силах заполнить.

Нас мало. Нас горстка. Мы — только одна из тех многочисленных групп, которые пробиваются сейчас через степи на восток после того, как нас разбили, после того, как и штаб нашей армии во главе с генералом Смирновым пал в бою под Черниговкой. Мы вели бои до полного истощения сил, и мы не виноваты, что так случилось.

Бредем по степям, всюду натыкаемся на следы Днепрогэса, точно на останки погибшей цивилизации. Мачты. Пустота вокруг, и в ней — стройные днепрогэсовские мачты. Словно девчата с коромыслами на

плечах, пошли, зашагали на восток прямо степью — через балки, через холмы и пригорки,— чуть заметные, исчезают в дали степной... Оборванные их провода грузно свисают на землю, теряются в полынях. Иногда мы останавливаемся возле такой мачты, и она высоко поднимается над нами, как монумент иной жизни, как напоминание о жизни электрической, трудовой, когда пчелиный гул электромоторов все лето слышен был на колхозных гумнах и «лампочки Ильича» светились в домах степняков. Теперь, отрубленные от Днепрогэса, от востока, мачты одиноко высятся в степях, безотрадно никнут растрепанными косами проводов. Токи, силой своей равные молниям, проносились над степью по этим проводам, а сейчас нет в них ни искры, и свисают они над полынным этим царством бессильно, как жилы, из которых выпущена кровь. Сколько же стоять этим мачтам вот так? Сколько гудеть в неволе на ветрах степных? Покроетесь ржавчиной, и полынь, может, вырастет выше вас, пока мы вернемся сюда.

С каждым днем нам все труднее. Нас мучит жажда. Изнуряет голод. А главное, никто не знает, чем кончится этот окруженческий наш поход: пробьемся ли к своим, или в стычке с врагом погибнем, или — еще хуже — концлагерь, плен. Плен — это страшит больше всего, это горше, чем смерть. Таких, как мы, сейчас вылавливают по степям, набивают нами кошары степные, кровавыми колоннами гонят на запад, за Днепр, откуда возврата нет.

Заградотрядник говорит мне:

— Ежели что — стреляйся!

«А я не хочу стреляться. До последнего дыхания хочу бороться. Разве я не имею права на это? Ползком ползти. Обманывать врага. Притаиться, если нужно. Притвориться мертвым. Чтобы потом вдруг ожить, выпустить когти и вогнать их в горло врага».

Ты скажешь: это на тебя так не похоже, Богдан, когда только ты этому научился, ведь раньше ты был добрым, я тебя знаю нежным, открытым...

Да, были мы добрыми. Книга, наука была нашим знаменем. Этот сеял хлеб. Тот учился. Тот строил

корабли в Николаеве, а Заградотрядник охотился на зверя в далекой тайге. Богаты были мы каждый своим трудом, творчеством, мечтами, думами. Теперь у нас есть только оружие — орудие смерти в руках да сердца, до краев наполненные жгучей ненавистью. Для человека это так мало! Вот у него, у Заградотрядника, я знаю, бритва в противогазной сумке. Он хотел покончить с собой, когда стало известно, что нас окружили. А теперь готов без колебаний перерезать горло первому попавшемуся вражескому часовому, который встанет на нашем пути.

Вчера один от нас отстал. Нарочно отстал, спрятался. Когда мы спали, он отполз от нашей группы и залег в подсолнухах, ожидая, пока мы уйдем. Но прежде чем уйти, мы его разыскали. Как раз зарывал в землю документы. Оглядели: уже нет на его пилотке звездочки. Час назад была, а сейчас нет, только невылинявшее пятнышко на том месте... И будто погасла без этой звездочки пилотка, погас он сам. В кармане — листовка, пожелтевшая, выгоревшая, тайком подобранная где-то в степи. Passierschein. Пропуск в другой мир, не наш: пропуск в лагеря, в те кошары, в бесправие, под палки надзирателей. Стоя перед нами на коленях, выпачканный в пыли, просил пощады у нашего окруженческого суда, нищенски выклянчивал жизнь...

Мы пошли дальше, а он остался у подсолнухов мертвый, на добычу воронью.

Безводье — вот чем мучит нас степь. Когда перед рассветом выпадает роса, мы падаем и по-собачьи слизываем ее с травы языками. Но скупа степная роса. Если бы только напиться! Если бы хоть раз утолить жажду! Мы вспоминаем полные воды Днепра, во сне мы припадаем к ним пересохшими, потрескавшимися губами. Однажды ночью в темноте что-то забелело перед нами в лощинке — озерцо степное, плес или лужица какая-то? Обезумевшие, бросились мы туда. Забыв об осторожности, грохаем сапогами на всю степь и бежим, бежим... И вот оно, озерцо! Ждали, захлюпает водой, а оно звонко застучало у нас под ногами: белое, твердое! Солончак!

Шелестит трава под ногами, шелестят языки в пересохших наших ртах.

Трудно передать всю степень нашего стремления вперед, жажды вырваться из окружения. Вся сила, энергия вся — на прорыв. Вперед, вперед! Только бы вырваться! Только бы пробиться! Любой ценой! Во что бы то ни стало!

В пути встречаем зарю рассветную, но она не радует: перед нею, перед светом ее, как ночные духи, должны мы прятаться, дожидаясь снова темноты.

Днем нас не видно. Днем мы как звери степные. Отлеживаемся в бурьянах, в колючих посадках и подсолнухах, обливаемся потом — солнце немилосердно жжет нас с вышины, и ветер не пробьется к нам в заросли. Проснувшись, видим небо над собой и в нем иногда орлов.

Не знаем, кто из нас останется в живых. Может, все превратимся в прах, ветер, траву... Может, эти орлы выклюют нам глаза в степях. Но, верно, и травою став, почувствуем радость, когда все это кончится, когда покореженными фашистскими танками и ржавыми пушками будут заваливать возрожденные домны «Запорожстали».

Слышишь ли ты меня, Таня? Может, в самом деле существует в природе какой-то таинственный магнетизм, какие-то неисследованные токи, которые передают человеческие мысли от мозга к мозгу на расстоянии?

«Пиши хотя в мыслях...» Об этом ты просила, когда в последний раз мы виделись в чугуевском лагере, и вот я посылаю тебе теперь эти ненаписанные письма, эти мысли свои, которые не пройдут ни через одну полевую почту и неизвестно, дойдут ли когда к адресату.

Сейчас ты от меня на расстоянии звезды, и пусть душа свободно говорит с тобой, со звездой далекой, недоступной. Таня — так будет называться эта звезда моя.

Как часто я сдерживал свои чувства к тебе, скупым был на ласку, стыдился говорить тебе нежные слова, чтобы не казаться сентиментальным. Сейчас я даю себе волю, даю волю всему тому, что клокочет

в моем сердце,— пусть оно говорит само. Сейчас отсюда я еще сильнее люблю тебя, хотя думал, что сильнее нельзя. Руки люблю твои, что меня обнимали, очи, что так солнечно мне смеялись. Капризы твои, и озорство, и ревность — все люблю. Когда еще на Киевщине, в первом боевом нашем крещении, поднявшись живым из-под шквального минометного огня, увидал под хатой чудом уцелевшую среди черного кипения войны высокую, горящую на солнце мальву, ты мне представилась, как она — красивая, чистая, гордо устремленная куда-то ввысь.

Ты для меня самый дорогой человек на свете, но — страшно подумать — иногда мне кажется: было бы, пожалуй, лучше, если бы тебя не было вовсе, если б во мне исчез твой суженый, человек, которого ты ждешь,— тогда б я остался лишь бойцом, который может уже не дорожить собой, солдатом, который несет в сердце своем одну только ненависть. Один на свете, без близких, без родных, как штык. Без любви, возможно, легче было бы нам воевать и умирать в бою.

Но это — минутное, этому не верь. Любовь придает нам силы, помогает переносить все.

Рядом со мною лежит Духнович. Из всего студбата он остался один возле меня. Ты не узнала бы его теперь, нашего Мирона. Зарос рыжей щетиной, в ушах земля, из противогазной сумки торчат гранаты и желтый початок кукурузы. Те, кто не забраковал его в райкоме, могут не краснеть за него: Мирон стал солдатом. В боях на Днепре и позже, на этой стороне, в степной Украине, я видел его бесстрашие. Невероятно быстро война перековывает человека. Еще «Илиада» не отзвучала в нашей памяти, еще сонеты Петрарки дышали на нас любовью, а мы уже готовы были взять оружие в руки и сражаться.

Как давно мы воюем! Как состарила каждого из нас война! Будто не месяцы, а годы, десятилетия отделяют нас от студенческих аудиторий, от библиотек, общежитий, от солнца студенческой юности... Идя по степи окруженческой, где-то в дали недостижимой видим родной университет, и железобетонный небоскреб Госпрома, и ту заветную райкомовскую дверь,

через которую мы вышли в бурный, взбаламученный войною мир. Придут после нас иные поколения, будет у них иная жизнь, иные нравы, и будет их жизнь, наверно, легче, чем наша, но испытают ли они в новых условиях наше горение, изведают ли они когда-нибудь чувства, с которыми мы оставляли райком, уходили на фронт? Отсюда, со скифских степных равнин, гигантское здание Госпрома для нас как маяк. Эти родные небоскребы новой, социалистической Украины, каскады бетона и стекла — они и здесь все время живут для нас за горизонтом, манят и зовут, как символы.

Пора, однако, в путь. Встаем. Заспанные. Злые. Едим гречневую крупу, сухую, соленую,— гречневый концентрат. Когда нас разгромили, мы, блуждая в степном буераке среди разбитых дивизионных обозов, на каждом шагу натыкались на растерзанное, разбросанное на поле боя армейское наше добро. Валялись треснувшие рогожные мешки, из них высыпались на землю сухари. Сахар кучами. Консервы. Концентраты всякие в промасленных бумажных пачках — сухие супы. Тогда ни я, ни Духнович, ни Вася-танкист ничего не брали. Нам казалось все это ненужным, мы не думали, что нам еще придется есть. Только этот вот артиллерист — увалень Гришко, до войны работавший кладовщиком в колхозе, да рядовой Новоселец успели набрать в свои солдатские вещмешки сухих армейских супов и концентратов. Теперь все это стало нашей коллективной собственностью, и, перед тем как трогаться дальше в путь, каждый получает из шершавой ладони Гришко свой рацион — горсть сухой соленой гречки, придуманной мудрыми интендантами для приготовления скороспелых солдатских супов.

Во время переходов тяжелее всего достается грузину Хурцилаве. Толстый, с одышкой, он едва поспевает за нами, мы всю ночь слышим, как он трудно дышит, и нам жаль его. Все дни он мрачен, не обронит слова, только и слышно его прерывистое дыхание да еще это вот хрумканье, когда он жует гречиху, которая должна зарядить его силой на всю ночь перехода.

Насыпая в ладонь порцию черной концентратной гречки, я вижу свое — вижу, как белели перед нами чугуевские гречихи, когда мы отправлялись на фронт.

— Неужели та самая, которая так бело цвела в Чугуеве? — говорю Духновичу.

— Она. Почернела.

Перед тем как тронуться, приподнимаемся, оглядываемся вокруг.

Неистово красное солнце садится над степью. Словно курится оно, словно только что образовалось из тех красных вихрей, раскаленных ураганов, которые окружают его, разлившись на весь запад. Среди просторов степных то там, то тут возвышаются древние курганы. Это та степь, Танюша, которую мы с тобой собирались исследовать. По этим полям отец мой гонялся когда-то за степными пиратами — махновцами.

Век тачанок миновал — танковый век над степью грохочет. Слышим отдаленный тяжелый гул. Идут танки. Из багровой пылищи запада по далекой дороге степной движутся на восток громадной колонной, чтобы где-то там с такой же колонной сойтись стальным клином. Стоя в почерневших сухих подсолнухах, видим, как танки один за другим выныривают башнями из закатного тумана, из океана кровавой мглы, что словно бы надвигается вместе с ними с запада. О Германия миннезингеров, Германия Бетховена, Шиллера и Гете! Погляди на себя сегодня! Прежде шло от тебя на восток мудрое слово философов, поэтов, великих гуманистов, а сегодня идет железный туполобый каннибал в каске, идут молодые арийские бестии, закованные в броню, разрушители и убийцы, идут уничтожить нашу землю, нашу культуру, нас самих.

Молча смотрим, как они проходят. До скрежета стискиваем зубы. Мы не можем их остановить: за Днепром у нас были против них хотя черные, начиненные огнем бутылки, а тут и этого нет.

— Будут и у нас танки,— говорит угрюмо Вася-танкист, стоя возле меня.— Будут, будут! Еще больше будет!

Оборванные, измученные окруженцы, мы предчувствуем: грядут битвы победные. По тысяче ство-

лов выставит армия наша на километр фронта. В несколько этажей нависнет в воздухе наша авиация. Тысячи танков, первоклассных боевых машин, ринутся на запад, и содрогнется от ударов артиллерии Берлин, и, может, кто-то из нас, идущих сейчас в окружении, увидит Гитлера в клетке, увидит поверженный рейхстаг, освобожденные Белград и Прагу, далекую, прекрасную...

Мы трогаемся, и багровые ураганы запада гаснут для нас уже в пути.

51

Этой ночью ведет нас Колумб.

Он только что присоединился к нам. Он единственный среди нас гражданский. Такими мне представляются запорожцы. Плечистый, могучий, из тех, кто двух хлопцев за шиворот поднимет, тихо стукнет лбами и так же тихо снова на землю поставит. А сам смирный, полнолицый, усы красивые, светлые. В фуражке, в вышитой льняной сорочке и дубленом брезентовом плаще поверх нее. Мы почти ничего о нем не знаем. При проверке документов запомнилось, что зовут его Христофор, отсюда и пошло: Колумб да Колумб. Так и идет с нами этот степной мореплаватель.

Встретили мы его, как только миновали поле тех подсолнухов, где дневали и откуда наблюдали за колоннами немецких танков. Еще и не стемнело как следует, когда увидели у лесополосы на стерне табун беспорядочно брошенных тракторов. Будто напуганные кони, свернув с дороги, бросились они кто куда да так, недалеко от посадки, и застыли. Раньше мы видели в степи расстрелянные стада, убитых пастухов, гнавших скот в эвакуацию. Теперь перед нами были расстрелянные тракторы. Мы еще днем слышали, как строчил здесь немецкий самолет, но тогда не придали этому значения. А теперь перед нами результаты дьявольской его работы — железное кладбище тракторов. На ближайшей к нам машине привалился к рулю, будто задремал после утомительной дороги,

юноша, белокурый, чубатый. А под трактором в пыли свежая еще лужа крови и другая лужа — мазута. С другого трактора свалился тракторист, будто в последний миг рванулся, хотел спрятаться под трактор, да не успел: так вот и лежит — вниз головой. И еще, и еще... Мы думали, нет тут никого живого, но возле

лесополосы между тракторами вдруг заметили коренастую фигуру дядьки в картузе и плаще. Стоял, глубоко задумавшись, среди расстрелянных трактористов, среди мертвых тракторов и, кажется, даже не услышал, как мы к нему подошли.

— Ты из этой колонны? — сразу же набросился на него Заградотрядник.

Дядька не шелохнулся.

— Из этой.

— А почему живой?

Тот посмотрел на него долгим усталым взглядом.

— Судьба.

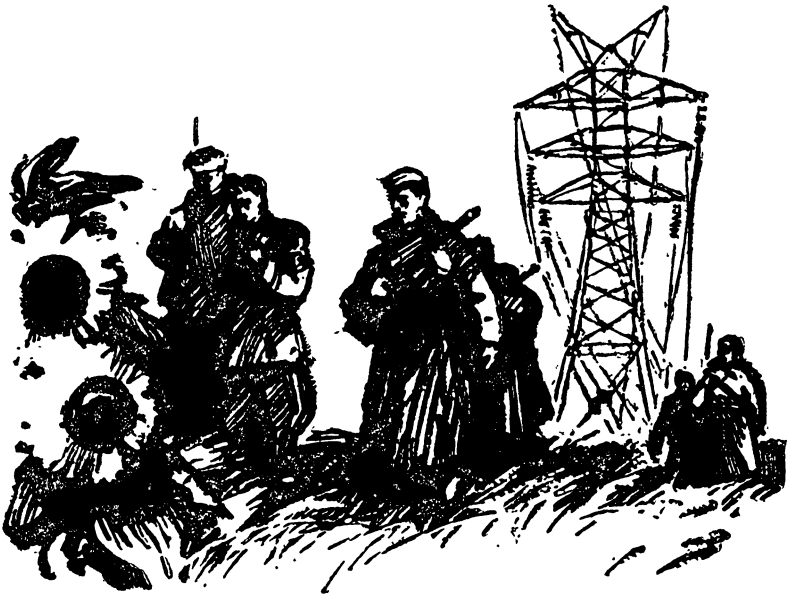
— Один живой среди стольких? Орлы будут клевать твоих трактористов, а ты живой?

Дядька рассердился:

— Да и ты ж почему-то живой!

— Не тебе меня спрашивать... А ну, руки вверх!

Заградотрядник кинулся было к нему, чтобы обыскать, но тот не дался.



— Не подходи! — угрожающе поднял стиснутый кулак.

Пудовый был тот кулак. Размером чуть не с голову Заградотрядника. И на кулаке — следы засохшей крови. Помогал ли кому, своя ли...

Потом дядька сам показал нам эвакуационный лист, из которого мы узнали, что он агроном одной из степных МТС. Был назначен от райкома партии старшим колонны, а теперь вот она... Часть трактористов разбежалась во время обстрела и не вернулась, то ли ранены, то ли просто скрылись, а эти вот здесь — тот повалился вниз головой, тот навсегда уснул на руле...

Вася-танкист, который уже рылся у ближайшего трактора, вдруг закричал:

— В радиаторах есть вода! Вода!

Но и радиаторы, оказалось, были разбиты. Лишь из некоторых удалось нацедить немного теплой, еще не остывшей воды — хватило горло промочить.

Колумб присоединился к нам. У нас есть компас, чтобы ориентироваться, есть звезды в небе, чтобы знать, где восток, где запад, но Колумб, хорошо знакомый с местностью, должен будет вести нас в обход населенных пунктов, где, наверное, уже полно немцев. Он поведет нас глухой степью. Перед тем, испанским, Колумбом были океаны воды, необозримая гладь морская, а перед этим — необозримая суша.

Зарево в степях. Горят эмтээсовские нефтебазы, горят элеваторы на далеких станциях, скирды. Среди этих пожаров и проходит наше окруженческое плавание. Мы не можем идти по прямой. Нам приходится кружить, далеко обходя село, в котором слышен гул танков, приходится держаться подальше от больших дорог. Главные дороги не для нас, мы теперь люди темных дорог, как говорит Гришко. Опасность подстерегает нас на каждом шагу. Всякий миг ждешь, что вспыхнет прямо перед тобой ракета и крикнет кто-то: «Хальт!» — и ударит прямо в лицо автоматная очередь.

Осторожно бредем по какой-то залежи, по высокой трескучей полыни. Ох, уж эта полынь! Мы пропахли, прогоркли насквозь, наши губы горьки от нее, горько во рту, горько на душе.

Кончается жесткая полынь, что-то мирное, хрупкое, легкое, ломкое под ногами.

— Гречиха! — поясняет Колумб.— По гречихе идем,— добавляет он, тяжело ступая по ней своими сапогами.

Где-то недалеко, на дороге, взлетают вверх ракеты, и мы падаем, ползем дальше по-пластунски. Гнутся, ломаются хрупкие стебли, каждый из нас оставляет за собой продавленный след. Гречиха не трава, она не поднимается.

Уже выползали из массивов гречихи, когда где-то

в балке, в стороне, услышали вдруг приглушенный голос Гришко:

— Пасека!

Да, это была настоящая колхозная пасека, привезенная сюда, наверное, еще перед началом войны к гречихам на июньское цветение. Рамочные ульи похожи на миниатюрные домики, в каждом из которых живет пчелиная семья, а вся пасека напоминает игрушечное село, что притаилось у поля гречихи, как на опушке леса. Пчелиное поселение! Весь край разворошен, лежат расстрелянные стада по степям, горят хлеба, и ничто живое не находит себе места, а мирная пчелиная артель спокойно трудится здесь, не замеченная войной, счастливо ею забытая.

Ненадолго забытая. Уже среди ульев в темноте слышна возня, треск — там разламывают рамки. Вытряхивают пчел, ломают, торопливо делят налитые медом соты. Потревоженные пчелы гудят над нами, сердито жалят — за этот ли грабеж, за то ли, что не гречишным медовым духом, а горькой полынью пахнут эти люди, горькие, полынные.

По долгу командира я должен был остановить, запретить, но я знаю, как все мы изнурены голодом и как много нам нужно сил. Мне и самому Татарин уже протягивает кусок сота, и я беру, жадно высасываю сладкую пчелиную добычу, что пахнет летом, солнцем довоенным, цветом степным. Только Колумб не принимает участия в этом недобром деле. Он стоит в стороне как укор, как живая совесть.

— Ешьте, ешьте, сыночки,— слышим вдруг голос, незнакомый, старческий.

Рядом с Колумбом остановился кто-то — похоже, пасечник. Занятые своим промыслом, мы и не заметили, как он подошел. Маленький старичок с палкой в руке; в мохнатой шапке, одетый уже по-зимнему, будто готовится тут и снег встречать, возле этой гречихи, возле пасеки, и зиму с ними зимовать...

— Только у меня же в шалаше вон накачанный есть, а ульи... зачем же их так? Пасека колхозная, может, наши еще приедут за нею; голова сказал: ждите!

— Никто, кроме немцев, сюда не приедет,— глухо и смущенно бурчит Гришко.— Из наших мы — последние.

— Ой, не говорите! Фронт еще может по-всякому обернуться...

И он снова приглашает нас в курень, на готовый мед.

Никто из нас не идет. Горячий воск сотов будто бы забил каждому из нас глотку — молчим. Пристыженные, шаг за шагом отступаем, пятимся от пасечника, от пасеки, от пчел. Очутившись за пределами пасеки, опрометью кидаемся в темноту...

Жгучий стыд опаляет нас.

— Что поделаешь,— как бы отгадав наши душевные терзания, говорит Колумб мрачно.— Все равно тем достанется. Придут, разнесут в щепки. Кончился наш медосбор.

Идем какой-то балкой. Кажется, не совсем туда, куда нам нужно, а туда, куда она нас ведет, эта кривая степная балка. Уже поздно. Небо заволакивается, из-за далекого облака светится ущербный месяц, будто далекое, кровью налитое око из-под насупленной брови сурово следит за нами: «А ну, кто вы? Куда идете среди ночных пожаров? Почему бродите по ночам в степи, исхудавшие, заросшие, как звери? Почему не найдете себе пристанища на этой просторной, еще вчера такой приветливой земле?..»

— Где мы? — спрашиваю Колумба.— Не слишком ли отклоняемся?

— Нет,— спокойно говорит он.— Тут где-то неподалеку должна быть птицеферма колхоза имени Энгельса. Леггорнов разводили.

Вскоре на склоне горы замечаем хату, а в ней — желтовато-бледный, чуть приметный свет. Нигде никого — ни жизни, ни власти, а окошко светится. Кто там светит? Крадучись, пробираясь дальше по дну балки, натыкаемся вдруг на маленький колхозный пруд; забыв об осторожности, бросаемся к нему, припадаем к воде, жадно пьем ее, теплую, густую, пропахшую илом и еще чем-то. Перья густо белеют на берегу пруда — перья леггорнов...

С оружием на изготовку окружаем хату. Вот передо мной уже белеет стена, скупо освещенная ущербной луной из-за туч. А на стене, под самой застрехой, висят, как на выставке, щедрые дары степной природы: золотистые, оставленные, видно, на семена, початки кукурузы, перец красный, стручковый, огромные венки лука...

Венки эти сразу как-то успокаивают нас: значит, война еще тут не была, не было тут, видно, ни врага, ни таких, как мы, окруженцев, иначе не висеть бы вот так спокойно тугим этим золотистым венкам на белой стене.

Бесшумно оцепив дом, приникаем к окнам... Люди в доме! Полная комната девчат... Стоят на коленях на полу, глазами в угол, словно секта какая-то: молятся. Электрическая лампочка свисает перед ними с потолка, но нет в ней света, вместо нее мигает в углу лампадка. Возле печи, опершись на нее плечом, печально стоит женщина, высокая, смуглая, щедрой степной красоты, хотя уже и немолодая. В ушах полумесяцем блестящие сережки. Как птица, которая охраняет свой выводок в степи, так и она стояла над девчатами. Сама не молилась, была только глубокая печаль на ее чистом материнском лице.

Услышав шорох за окном, она тревожно вскинулась, и девчата мгновенно повернулись к окнам, и их сосредоточенные, какие-то светлые перед тем лица вдруг перекосило ужасом. За всеми окнами — приплюснутые стеклом носы, черные запыленные лица каких-то пещерных варваров,— именно такими представлялись им завоеватели. Значит, их уже окружили в этой хате, сейчас будут хватать, мучить, глумиться, убивать.

— Открывай! — Заградотрядник грубо застучал в дверь.

И вот дверь открыта, и мы в хате всей своей окруженческой ватагой, и одна из девушек, испуганно забившаяся в угол, вдруг воскликнула радостно:

— Звездочки! Звездочки на пилотках! Наши!!

И сразу лица девчат осветились улыбками, и стали они такими, будто вся Красная Армия снова вернулась сюда и можно жить, как раньше.

— А вы уже, значит, молитесь? — подошел к девчатам Заградотрядник, опухший, искусанный пчелами.— И не стыдно? А еще, наверно, комсомолки?

— А что же нам остается, хоть и комсомолки? — ответила ему одна из девчат, очень похожая на ту женщину, что стояла у печи, только тоненькая, юная, длиннокосая.— Вы не защитили,— может, бог защитит... если он есть где-то там... в стратосфере.

— Нет его и не будет,— решительно отрезал Васятанкист и обратился к женщине: — Неужели это все ваши дочери?

— Вон моя,— кивнула женщина на тоненькую чернявку.— А это ее школьные подруги, тоже девятиклассницы, из села прибежали. Там уже танки фашистские ревут. Где от них спасаться? Сюда, в степь, на птицеферму...

В углу за лампадой икона, больше похожая на картину: на огромной тарелке отрубленная голова человеческая в терновом венке.

— Это кто? — спрашиваю у женщины.

— То ж голова Иоанна Крестителя... От стариков еще осталась.

— А какими же молитвами вы молитесь? — спрашивает Духнович, умываясь над тазом у порога.

— А мы без молитв,— ответила ему маленькая круглолицая.— Мы стихами.

— Какими стихами?

— Просто что в голову придет... Из «Кобзаря» или из Леси...

— А я сегодня из «Моисея» Франка читала,— призналась хозяйкина дочь.— Вступление к поэме: «Народе мій, замучений, розбитий...»

— Да разве они верующие? — промолвила женщина.— Церкви и знать не знали, все клуб да клуб. А когда вот подкатилось, так и молиться начали.

— За то, чтобы наши вернулись,— смутившись, призналась из угла веснушчатая, тонкобровая.

— Мы ведь знаем, что есть только атомы, материя,— щебетала хозяйкина дочь,— но так вдруг захотелось, чтобы хотя какая-нибудь сила была над нами

там, вверху, чтоб какие-нибудь стратосферные боги там существовали да помогали Красной Армии...

— Это просто смешно,— говорит Новоселец, но ни ему, ни нам не смешно.

Женщина велит девчатам, чтобы они шли резать и ощипывать кур, готовить бойцам на ужин белых своих леггорнов. Но такая роскошь не для нас. Мы не имеем права больше здесь задерживаться. Умылись. Кое-кто на ходу успел даже соскрести щетину своими тупыми бритвами. Подтянулись. Помолодели, снова стали похожи на боевое подразделение.

— Когда же вы вернетесь? Откуда вас выглядать? — обступили нас девчата, когда мы уже стали выходить.— Говорят, они нас эшелонами будут вывозить в Германию, с торгов продавать... Неужели это может быть?

И словно из их будущего ударил нас стон невольничий, стон девчат — черниговок, полтавчанок, киевлянок,— которых эшелонами отправляют на запад, в рабство, а в городе Люблине, на пороге великого рейха, гонят в баню, а перед тем ведьмы-эсэсовки стригут девчат ножницами, косы обрезают. Позже, через много лет, один из нас услышит: «У моей подруги были такие красивые косы, а те схватили — и долой!» Не эти ли, юной этой птичницы, которая молилась сегодня Франковым «Моисеем»?

Скоро и домик и девчата исчезли из виду. Мы уже за другим пригорком. Из головы не выходит у меня «Моисей». Это была любимая поэма Степуры. Помню, отправляясь на фронт, он читал ночью в вагоне:

Все, що мав у життю, він віддав
Для одної ідеї,
І горів, і яснів, і страждав,
І трудився для неї...

И еще это:

І підуть вони в безвість віків,
Повні туги і жаху,
Простувать в ході духові шлях
І вмирати на шляху...

Но мы не хотим умирать! Мы идем для того, чтобы жить. Мы пробьемся, вырвемся из этих степей окруженческих, где чувствуем себя, как под огромным стеклянным колпаком, из-под которого выкачан воздух.

Шумит и шумит высокая стерня под нашими ногами, шелестит бурьян под ударами тяжелого Колумбова плаща.

Еще сильнее пылают на горизонтах пожары.

В небе тесно от туч, беспокойных, клубящихся. Небо и все вокруг потемнело от них, лишь там, где прячется горбушка месяца, светлеет растрепанная прядь, как борода микеланджеловского Моисея, помнишь?

52

Знаем — не одни мы идем. Много таких, как мы, большими и маленькими группами идут в эти ночи степями на восток. Трусов отгоняют. Предателей казнят. Идут, случайно сведенные судьбой, объединенные лишь целью: пробиться! Иногда ночью мы встречаем таких, как мы сами. Сходимся настороженно, недоверчиво. Они остерегаются нас, мы остерегаемся их. Они поднимаются из бурьянов, мы тоже поднимаемся, перекликаемся, как птицы ночные, потом сближаемся, готовые в любой миг пустить в ход оружие. Свои — и легче на сердце. Посовещавшись, обменявшись слухами, предупредив друг друга: «Туда не идите, там засада»,— снова расходимся и продолжаем путь небольшими группами — так легче выходить. Многие из нас погибнут, попадут в неволю, а другие все-таки выйдут, вольются в регулярные войска и не раз потом будут вспоминать эти степные окруженческие блуждания.

Лето отступления, лето тяжких оборонительных боев, окружений, лето скорых и праведных судов на дорогах, упрямых атак, которые кончаются ничем. Вспоминается Рось, что стоила нам столько крови, а теперь давно уже в руках врага. Взорванный Днепрогэс, что ревет сейчас там сильнее Ненасытца, сильнее Волчьего Горла, ревет вместе со всеми девятью своими дикими порогами, как самый большой и грозный

из них. После взрыва плотины — как он бешено разлился в ту ночь, Днепр, затопляя все понизовье! Наши бойцы, оставшиеся в плавнях, спасаясь от наводнения, карабкались в темноте на деревья, мы тоже в поисках переправы, как обезьяны, лазали по деревьям до тех пор, пока не подплыли к нам рыбаки на своих лодках... Что ж, может, все это нужно было пройти? И горечь невозвратимых потерь, и бои до последнего, и эти окружения,— может, все это нужно пережить, чтобы стать другими и победить? И тот взрыв Днепрогэса сделал свое дело, точно так же, как сделали его и наша, пусть неумелая, контратака на Роси и эти последние, на сторонний взгляд, напрасные бои, которые мы вели в окружении. Думаю, как ничто не пропадает в природе, так в конечном счете не пропадут понапрасну никакие, даже самые малые солдатские усилия.

Говорят, в грядущих войнах мужество человека, его доблесть, героизм не будут иметь значения. Все решит, дескать, палец, нажимающий кнопку. Не знаю, как оно там будет, но сейчас дух наших армий, безграничная выдержка нашего солдата — это самое сильное наше оружие. Смотрю вот на своего Новосельца, этого почти подростка с загадочной улыбочкой на устах. Мне нетрудно представить его и в смертном бою, и за проволокой концлагеря, но всюду он, измученный голодом, искалеченный, останется таким, всюду он останется самим собой. Может быть, он способен и на не очень-то благовидные поступки — не способен лишь на одно: жить на положении подневольного у завоевателей.

Когда я думаю о будущей нашей армии, мне почему-то вспоминается седой человек с умными терново-черными глазами, человек, так много сделавший для меня: комиссар Лещенко... Ведь есть же такие люди в нашей армии, их много. Они цементируют ее, благодаря им армия наша выйдет из этих испытаний другой, она будет мужать как армия высокого духа и интеллекта. А такую армию невозможно победить.

Рассвет застает нас в посадке, далеко от дорог. Этот тихий, не потревоженный войною степной рас-

свет — что может сравниться с ним? Что может сравниться с этой мягкостью воздуха, с этим покоем, который наступает в природе с первой осенней серебринкой?.. Туман плавает над степью, а сколько росы в посадке! Мы бредем по ней, как по воде. Крупная, густая, она отливает сединой на кустах перекати-поля, бисером блестит на каждой паутинке, которая опутывает бурьян. В посадке натыкаемся на свежие лежбища, что, видать, оставили такие же, как мы, переднева в здесь. Мы тоже облюбовали тут себе прибежище на день. Колючая степная рощица, раньше защищавшая колхозные хлеба от суховеев, теперь будет защищать нас от вражеского глаза. Дикие голуби — горлинки — глядят на нас с верхушек посадки,— они как наш дозор, и тут, возле них, располагаемся мы.

Сегодня мы можем позавтракать. На шее у Гришко сияет золотистый венок дородного лука-сеянца, достает он из своей сумки еще и буханку белого хлеба. Все это дала ему та женщина с птицефермы. Гришко разрывает венок лука, дает каждому по луковице, а Татарин тем временем делит хлеб. Всем достается по ломтику. Мы едим его осторожно, чтобы не обронить ни крошки. И мы никогда не забудем этот хлеб, эти ломтики.

Степь лежит перед нами ровная, как футбольное поле, до самого горизонта; Колумб, оглядывая ее, рассказывает:

— Урожай в этом году был у нас тут на хлеба — давно такого не видывали. Выйдешь в поле — стеной стоят. Комбайны пустили — ножи ломались.

Любопытным, мудрым человеком оказался этот Колумб. Представляю, как близко сошелся бы с ним Степура, который так любил открывать людей крепкого народного склада. Словно бы не о себе, о ком-то другом рассказывает Колумб, и мы видим: утро воскресное, усадьба МТС; степной агроном, встав с восходом солнца, побрился ради выходного дня, чистую сорочку надел и выходит в поле посмотреть хлеба: скоро их убирать, комбайны и тракторы стоят наготове, тока на полевых станах подметены. Чисто всюду, как перед праздником. Вышел агроном и встал посреди своего

океана: кругом хлеба! Голодную Индию вспомнил, эрозию в каких-то других далеких краях, и как варварски где-то истребляют леса, а тут — разлив хлебов праздничный. Покладистого, доброго характера был этот человек, по призванию земледелец, выращивающий плоды и злаки,— один из тех, которым так любо смотреть, как падают теплые весенние дожди на поля и как буйно после них все растет. Шел агроном в то утро воскресное и еще ничего не знал, душа его тихо пела, и хотелось этому человеку всю землю засеять, всех людей досыта накормить белым пшеничным хлебом...

— Это я выходил в поле,— говорит Колумб,— это я был в степи в то черное воскресенье... Двадцать второе июня — день солнцеворота, самый продолжительный у нас день в году, и ему суждено было стать самым черным днем нашей истории... Какие трактористы были у нас! Какие комбайнеры! А теперь мои трактористы да комбайнеры лежат пострелянные. И степь эта зарастает бурьяном, не принося радости людям.

Когда мы, поставив часового, ложимся спать, Колумб тоже ложится. Ложится, как шел, не снимая своего железного плаща, лишь расстегнув его немного сверху, чтобы не душил.

Первым собирается в дозор Новоселец. Это тихий, дисциплинированный боец, еще совсем молодой, с бледным маленьким лицом, с вечно загадочной улыбочкой ко всем и даже к самой смерти. В серьезном деле на него можно целиком положиться, но в какой-нибудь мелочи не удержится — обманет, легко может что-нибудь стащить, и Гришко со своей торбой все время остерегается его. Это, однако, не мешает им быть друзьями, и сейчас я слышу, как они разговаривают. Гришко — в который уж раз — рассказывает Новосельцу о своем пятилетнем сыне.

— Откусит, бывало, кислое яблоко и мне сует: «На, и ты накисляйся, тато!» А то скажет: «Расскажи, тато, как это ветер в лесу елками ветрит». Шумит то есть!.. Вот оно как, Новоселец, а ты, глупый, не женат...

Засыпая, я все еще вижу горлинку на верхушке акации в посадке. Она зорко посматривает вокруг, умница, она сторожит наш отдых...

Все спят, и я уже сплю, как вдруг меня будит Новоселец.

— Товарищ командир!

— Что случилось?

— Все в порядке,— говорит он успокаивающе.— А такое вот дело...

И зовет меня знаками за собой.

Я иду за ним туда, где в кустах, раскинувшись, храпит агроном.

— Гляньте, что у него такое...

Из-под рубашки на груди Колумба что-то алеет, огнем горит на солнце... Знамя! Так вот почему он не дал себя обыскать, вот почему никогда не снимает с себя плаща!

Мы стоим и смотрим молча на этот жаркий багрянец материи. Кусочек пурпура. Кусочек китайки. Пламенем горел он на баррикадах, и его как вымпел поднимали отважные люди на снежные вершины гор, и, может, где-то уже родились астронавты, люди будущего, которые понесут его в неизведанные дали космических пространств...

Как бы почувствовав наше присутствие, Колумб пошевелил усами, открыл глаза.

— Это ты, вожак? Чего вы? — и, глянув на распахнувшуюся, с оторванной пуговицей сорочку, догадался, и ему вроде бы даже стало неловко.— Переходящее. Этой весной нашей МТС вручили. С моей колонной было, а теперь что же... пусть с нашей группой будет.

Он еще больше вырос в наших глазах. И когда вечером снова трогаемся в путь, даже Заградотрядник, вечно не доверяющий никому, говорит весело:

— Веди нас, Колумб!

Идем, и я слышу, как разговаривают между собой в темноте Колумб и Духнович.

Духнович словно жалуется:

— Такая малая у нас планета, такое, в сущности, немногочисленное на ней человечество, и очень важно, сможет ли оно когда-нибудь объединиться — объединиться для мирного труда, для жизни светлой, счастливой...

— Вот они говорят, жизненного пространства им мало,— гудит Колумб.— А вы знаете, что одна Индия с ее теплом, богатыми осадками могла бы прокормить население всего земного шара, конечно, при лучшем ведении хозяйства, не при колониальных порядках...

Через некоторое время в темноте опять натыкаемся на беспорядочно брошенные тракторы да комбайны, к которым крадемся с особенной осторожностью, потому что поначалу они показались нам танками. Замерли тракторы. А когда-то до поздней осени гудели тут целыми днями и даже ночью при свете фар слышен был их гул.

В другом месте чувствуем, как что-то цепляет нас за ноги, и Духнович говорит взволнованным голосом открывателя:

— Кабель!

Агроном поправляет его:

— Какой кабель. Это арбузные плети, товарищ.

Мы набрели на бахчу. Арбузы на ней частью собраны, большей частью перетоптаны, передавлены. Паслись тут, видать, недавно такие же, как и мы, которые прошли тут раньше нас. Остались нам только корки и гнилье да зеленая завязь с детский кулачок, но это все же влага, хоть губы можно промочить. Ползаем меж упругих плетей, и впрямь похожих на перепутанный кабель, и жадно высасываем сок из раздавленных, растоптанных чьими-то сапожищами арбузят и в душе благословляем тех, кто эту бахчу насадил.

Выбираясь из бахчевых плетей, Духнович вскоре натыкается на обрывок настоящего телефонного кабеля. Откуда он тут? Наши бросили, или, может, это уже не наш, а немецкий? Может, окруженцы, проходя здесь, порвали его вместе с арбузными плетями? Пока мы, сбившись в кучу, высказываем относительно кабеля разные предположения, на дороге, в глубине степи, вдруг сверкнул огонек, застрекотал мотоцикл.

— Связист!

Немецкий линейный надсмотрщик мчится прямо на нас, гулко тарахтя на всю степь, не желая знать, что, кроме него, тут могут быть еще какие-то живые существа.

Мы, конечно, могли бы его подстрелить, но мы не будем стрелять. Колумб подсказывает нам другое: перехватить кабелем дорогу и держать на уровне головы мотоциклиста. Взять его живьем!

Мы не хотели, чтоб он погиб, налетев с разгона на кабель, но случилось именно так. Сидевшему за рулем как бритвой перерезало горло, хотя нам, державшим кабель, содрало руки до крови, зато второй, который оказался в коляске, взят живьем. Он наш пленник. И мы его теперь ведем.

53

Светало, и как-то неожиданно высунулось, взошло солнце, наше безрадостное окруженческое солнце, похожее на какой-то снаряд. Где мы? Что это за земля? Нет тут лесов. Наши леса — подсолнухи.

Бредем, пригибаясь, через огромные поля подсолнухов, среди их шершавых, кое-где и вовсе высохших, черных, точно перегоревших листьев. Шляпы подсолнечников, колючие, жестяные, бьют в лицо. Семя там, где его не поклевали птицы, осыпается само. Гришко и Новоселец вылущивают его на ходу, грызут, плюются шелухой, и пленный смотрит на них с удивлением. Он весьма послушен. Делает все, что и мы. Мы присаживаемся, присаживается и он, мы торопимся, прибавляет шаг и немец, не ожидая, пока кто-нибудь подтолкнет его прикладом.

— Пыль на листьях,— предостерегает Колумб,— значит, дорога.

В такое время, при солнце, дорогу переходить особенно опасно. Отступив немного назад, в глубину подсолнухов, мы остаемся там на весь день. Измученные переходом товарищи садятся, разуваются, блаженно вытягивают уставшие ноги. Немец тоже садится и по примеру других стаскивает с себя офицерские свои, пошитые где-то в Германии сапоги.

Заградотряднику не терпится. Показывая на немца, он спрашивает меня, каково будет распоряжение насчет этого типа.

— Допрашивай,— говорю я Духновичу.

Духнович, который лучше всех нас знает немецкий язык, охотно принимает на себя обязанности переводчика. Во время допроса, а также из отобранных документов выясняем, что это тыловик, офицер химической службы дивизии горных стрелков, которая наступает где-то впереди, развивая удар на Ногайские степи. Что особенно поразило меня и Духновича: наш пленник еще недавно тоже был студентом и так же, как и мы, не закончил курса — во время гитлеровского похода на Францию ему пришлось надеть военную форму.

— Коллега,— кивая на пленного, насмешливо говорит Духнович.— Хоть «Гаудеамус игитур» с ним запевай.

— Однако тут не до пения: ни ему, ни нам. Духнович, став опять серьезным, расспрашивает пленного о разных важных для нас подробностях. Мы с Васей-танкистом кое-что понимаем из ответов немца, нам хорошо знакомы отдельные слова его речи, но какие это слова! Лебенсраум... Блицкриг... Иприт... Люизит... На таком языке он изъясняется сейчас с нами, потомок Гете, потомок немецких гуманистов, современный лейпцигский бурш!

Он охотно говорит о газах:

— Та первая газобаллонная атака двадцать второго апреля тысяча девятьсот пятнадцатого года, когда мы выпустили сто восемьдесят тонн удушливых газов на позиции французов и англичан, вывела из строя всего пятнадцать тысяч человек... Это было детской забавой в сравнении с тем, что мы имеем теперь. Сейчас в наших лабораториях рождается вещество неизмеримо более токсичное. К тому же оно не будет иметь ни цвета, ни запаха, и обнаружить его в воздухе даже в смертельных концентрациях практически будет невозможно. Оно вызовет слепоту, паралич нервной системы, целым армиям оно принесет мгновенную смерть, понимаете,— мгновенную!

Глаза у него становятся блестящими, безумными. Ему, видимо, нравится потрясать наше воображение этой таинственной химической мощью. Он смотрит на противогазные сумки, которые висят через плечо у

некоторых из нас, и скептически качает головой: не уберегут, мол, не спасут.

А в сумках тех и противогазов-то нет, давно выброшены.

Мне вспоминаются резиновые, похожие на скафандры костюмы, в которых мы ходили на военных занятиях в университете дегазировать условно отравленную местность. Оказывается, и скафандры не защита.

— От нового нашего газа мир еще не знает защиты... Будут миллионы отравленных.

— И это говорит человек?

— Гадина, кобра,— хрипит Татарин, замахиваясь прикладом за спиной у пленного, но я останавливаю:

— Приказа не было.

— А что нам с ним цацкаться? — гневно кричит Заградотрядник.— Чего ждать?

— Подожди,— остановил его Духнович.— С твоей стороны, mein lieber Genosse, это было бы не гуманно...

Эти слова разозлили Васю-танкиста.

— Не забывай, Духнович,— перебил он,— если враг не сдается — его уничтожают!

— Но ведь он сдался.

— Сдался? — возмущенно возражает Заградотрядник.— Мы силой, хитростью взяли его. Черта лысого он сдался! Стало быть, «его уничтожают»... А ты, курсант, просто беззубый пацифист...

— Вот видишь, уже и ярлык,— косо улыбается Духнович.— Только меня этим не запугаешь. Беззубый пацифизм не для меня, но и твои методы — будем говорить серьезно — никуда не годятся, когда речь идет не о гусаке, а о жизни какого бы ни было, но все же представителя рода человеческого...

— Ты еще считаешь его человеком?

— А кто он, по-твоему?

— Двуногий зверь! Такой же бесноватый, как его фюрер. Дать бы ему, чтоб и не пикнул!..

Я считаю, однако, что это мы всегда успеем...

— Прекратить дискуссию! День проживет, а там видно будет.

Немец, похоже, понимает, что речь идет о нем,

что решается его судьба. Притихший, внутренне напряженный, он вопросительно смотрит на меня своими голубыми арийскими глазами, пока я не говорю ему:

— Шляфен. Спать.

Духнович и немец ложатся рядом. И вот мы все уже, кроме часового — и окруженцы, и наш пленник,— вповалку лежим в сухих подсолнухах, лежим, как в огромной тюремной камере, где вместо стен каменных, вместо потолка низкого — небо высокое, открытое нашим думам.

Когда мне кажется, что все уже спят, неожиданно подползает Заградотрядник.

— Ну скажи, почему ты не разрешаешь прикончить его? Жалеешь?

— Нет, не жалею.

— Так в чем же дело? Принцип?

— Возможно.

— Ох, Колосовский!

— Охкай за себя, за меня не охкай.

Весь день, пока другие спят, распластавшись в подсолнухах, один из нас по очереди сидит над немцем, стережет, рассматривает его, своего смертельного врага, вблизи. Он молод, как в большинстве и мы. Светловолосый, стриженный под бокс, со свежим румянцем на щеках. Видно, от пережитого нервного потрясения он обливается потом, руки у него липкие, как в солидоле. Когда солнце стало припекать, он снял с себя френч, снял штаны, оставшись в одних трусах, подставив солнцу свои хорошо натренированные мышцы. Он часто переворачивается, ложась то на спину, то на живот,— видно, не спится ему, терзают беспокойные мысли о своей теперешней судьбе.

Когда пришла моя очередь караулить его, немец будто вздремнул, но я заметил потом, он лишь делал вид, что спит: сквозь приспущенные веки неусыпно следили за мной голубые щелки его глаз. О чем он думал? На что надеялся? Может, только и ждал той минуты, когда меня одолеет дремота и он, вскочив, бросится туда, где за горизонтом грохочет война.

Неподалеку от нас по степи проходит железная дорога, и, когда приподнимешься, из подсолнухов

виден переезд с черно-белым шлагбаумом. Кто опустил его, этот шлагбаум? Враг-оккупант или, быть может, последний наш железнодорожник, перед тем как покинуть свою степную будку, напоследок перекрыл за собою дорогу на восток?

Там никакого движения. Время от времени над нами в небе проплывают горбатые самолеты. Никакие шлагбаумы для них не преграда. Грузно идут курсом на восток. Я вижу, что пленный, прищурившись, следит за ними.

— «Юнкерсы»?

Немец утвердительно кивает головой: «юнкерсы». Бомбовозы.

— Руки бы отсохли у того, кто их выдумал! — говорит, проснувшись, Гришко и обращается к Духновичу, который, оказывается, тоже не спит: — Кто его изобрел, первый самолет?

— Тот изобретатель едва ли думал о войне.

— А тот, который изобрел бомбу?

— Тот скажет, тоже не хотел.

— А тот, что газы?

— Это вот у него спроси,— кивнув на немца, говорит Духнович.— Ведь и действительно получается чертовщина какая-то,— говорит он после паузы.— Ученые изобретают динамит и делают это вроде бы с самыми добрыми намерениями; делают бомбу, уверяя, что не хотят уничтожения; конструктор строит самолет тоже как-будто из самых лучших побуждений. Сконструировали, сделали, а потом — на! — передают в руки сумасшедшему, в руки маньяку, который все плоды человеческого гения поворачивает на войну, а ученые, видимо, считают, что они тут ни при чем, что они не соучастники преступления.

Колумб, проснувшись, рассматривает немца в упор.

— Вот интересно, сам-то он хотел войны? Спроси его,— говорит он Духновичу.

Немец, выслушав вопрос, отрицательно качает головой: нет, он не хотел. Отец его, майор, сам задохнулся в газах еще в ту войну...

— А что же его принесло сюда?

— Говорит, его воля ничто в сравнении с волей фюрера!

— Передай ему,— говорю я Духновичу,— фюрер их еще не раз пожалеет, что начал войну. Она обладает свойством бумеранга. Рано или поздно останется от их поганого рейха пепел, скажи ему это.

— О! Это было бы ужасно,— говорит немец, выслушав Духновича.— Увидеть готику родного города в руинах, увидеть в руинах средневековые наши соборы, ратушу, старинные дома, памятники, которые стали известны всему миру по гравюрам прославленных немецких мастеров. Майн гот! Пусть этого никогда не будет. Я видел Варшаву, Львов, видел разрушенное ваше Запорожье, меня искренне поразил ваш Днепрогэс, это сооружение-модерн, которого я не ожидал встретить в скифских просторах... Скажите, это уже Скифия?

Он явно впал в меланхолию. Голос его стал печальным, каким-то надорванным. Поднявшись, пленный сел среди подсолнухов и, боязливо поглядывая на желчного, даже во сне хмурившегося Заградотрядника, начал делиться своими переживаниями, заговорил о том, какое тяжкое впечатление производят на немецкого воина эти безграничные степи, завоеванные и незавоеванные.

— Мы, немцы, привыкли к малым расстояниям, небольшим территориям, а тут у вас все кажется безграничным. Это действует на психику. Мы не привыкли мыслить категориями ваших просторов, и вид этих океанических степей рождает во мне сейчас чувство почти мистическое. Может быть, я слишком интеллигент, но я заметил с некоторых пор, что степь ваша разрушает во мне энергию, убивает воинский задор.

— Это не степь убивает...

— Нам говорили, что мы, немцы, властелины и идем сюда владычествовать. Но когда мы, наступая на Запорожье, еще за Днепром вышли на холмы и увидели перед собой грандиозную панораму Днепрогэса и металлургического завода в степи, я подумал: «Мой фюрер, здесь будет нам трудно!»

— Вот не думал, что молодчиков из «Гитлерюгенда» могут мучить такие сомнения,— заметил Вася-

танкист, проснувшись и растирая в ладонях подсолнечные листья для закурки.

— Вам может показаться, что я вымаливаю себе жизнь,— сказал немец, взглянув на звездочку на рукаве танкиста.— Но, поверьте, эти слова мои искренни. Нам говорили: судьба Германии решится на Украине битвой на Днепре, говорили, что за Днепр мы не выпустим ваших армий, а вы все дальше уходите на восток, а мы — все дальше от рейха.

— Ишь ты, разговорился,— вставая, ворчит Заградотрядник и посматривает на меня с укором.— Почему он еще живой? Ждем, пока удерет?

Собираясь в дорогу, мы начинаем обуваться, немец тоже поднимается. Натянул мундир и теперь сосредоточенно выскабливает расческой из своего арийского чуба пыль и подсолнечную труху. Серьезно, без улыбки следит он, как Гришко раздает каждому из нас паек — уже только по полгорстки сухих наших рационов. Когда получили все, кроме немца, Гришко вопросительно смотрит на меня: давать ли, мол, этому?

Немец понимает: от того, как я сейчас отвечу, зависит его судьба. Если велю дать и ему, значит, он остается жить, если скажу не давать, то это будет означать конец, капут ему здесь на месте. Так и сгинет, не получив нашего окруженческого продаттестата. Глаза его, выпуклые, полные голубизны арийской, глядят на меня с ожиданием и даже с грустью какой-то, будто предсмертной. Дам или не дам?

В самом деле, что же с ним делать? Вести с собой? Так он же выдаст нас при первом удобном случае, погубит всех. Оставшись с нами, он только усложнит, сделает еще более опасным, еще более трудным и без того тяжелый наш поход. Что же делать? Разумеется, не стрелять. Мне уже представляется, как он будет вырываться, отбиваться, когда хлопцы пустят в дело штыки. Не закапывая, мы бросим его тут в пыли, у этого подсолнечного стойбища. Мы способны на это, и нас не будут терзать угрызения совести: ведь он пришел сюда, неся смерть, и голова его нафарширована смертоносными химическими формулами каких-то новых средств уничтожения людей...

Пленный все смотрит на меня — печально, вопросительно, будто выведывая, что его ждет, пока взгляд его вдруг не падает на Заградотрядника, который с мрачным, свирепым выражением на лице надевает на винтовку штык.

— Бум-бум? — тихо спрашивает пленный, ткнув себя пальцем в лоб. «Убьете, мол?»

Мы молчим.

— Бум-бум?

Он ждет решения.

— Как быть с ним? — подчеркнуто обыкновенным голосом, словно речь идет о самых будничных вещах, спрашиваю товарищей.

— Плюнуть и растереть,— отвечает Заградотрядник с показным равнодушием, чтобы не вызвать у немца преждевременного подозрения.

Гришко согласен.

— А что с ним цацкаться? Одним ртом меньше будет... Харчей — кот наплакал.

— Да, но это все-таки «язык»,— говорит Вася-танкист.

Какое, однако, если вдуматься, странное выражение: «язык», «взять языка»... Не человек ценен, не разум его, не человеческая его сущность, а только язык, только сведения, которые он может дать.

— Вот этот «язык» нас и погубит,— стоит на своем Заградотрядник, и я вижу: Татарин и Новоселец в душе тоже согласны с ним.

Пленный весь превратился в слух. Кажется, он понимает все из нашего разговора по интонациям. Понимает и напряженно ждет.

— Духнович, переведи ему,— обращаюсь я к нашему толмачу.— Вот мы слышали от него о каком-то новом, изобретенном их учеными газе. Известна ли ему формула газа?

Духнович спрашивает, и впервые чуть приметная улыбка искривляет немцу рот.

— Он говорит, что это тайна, что формула газа является собственностью немецких вооруженных сил.

— А ему, ему она известна?

Пленный еще больше кривит губы в усмешке — как хотите, мол, так и думайте: либо известна, либо нет, этого я ни за что не скажу вам, потому что заключенная во мне и так интересующая вас тайна сохранит мне жизнь.

— По-моему, никакой он формулы не знает, паршивый этот гитлерюгенд,— презрительно бросает Заградотрядник.— Бац-бац — да и пошли дальше.

— Все формулы вылетят,— говорит Татарин.— Все газы в нем перемешаются.

Они жаждут суда. Все мы ждем суда над ним.

Переглянувшись с танкистом, приказываю Гришко:

— Дай и ему, этому тевтону, сколько полагается.

— Только гречку зря съест... Больно он нам нужен, этот лишний рот,— ворчит Гришко, но все-таки дает.

Получив маслянистые черные зерна гречки, немец начинает старательно поедать их. Жует, как-то по-телячьи подбирая языком.

А я думаю о том, что решил для себя еще раньше: мы не убьем его, мы поведем его дальше с собой. Офицер химслужбы дивизии, он наверняка знает эту важную тайну, тайну нового страшного оружия. Химик, начиненный формулами смерти, он будет идти с нами. Но не только потому я не уничтожу его, что он ценный «язык», и не только потому, что существуют какие-то международные конвенции относительно пленных,— фашисты растоптали эти конвенции, и мы знаем, сколько наших пленных они душат по кошарам, пристреливают по дорогам и зарывают живыми в противотанковых рвах. Принципы гуманности, человечности, справедливости для них не существовали и не существуют, но я не хочу быть похожим на них! Он нам сдался. Оружие выбито из его рук. Над таким учинять расправу?! Ведь этим я себя и товарищей — пусть частично, пусть на один только миг — поставил бы на одну доску с ним, с фашистом, а я не хочу опускаться до их уровня. Голодные, оборванные, окруженные, мы будем такими, как всегда, мы никогда не станем похожими на них — убийц, строителей концлагерей и фабрик смерти, палачей нашей светлой жизни!

Встаем. Дальше — за подсолнухами, за железной дорогой, куда нам идти,— степь ровная, открытая; выйдешь туда — и кажется, увидят тебя на тысячу верст вокруг.

— О, сегодня солнце заходит красное, с ушами,— говорит Колумб.— Видите, какие длинные уши-столбы вверх выставило. Значит, быть ветру.

Вскоре мы уже снова в пути. Шагаем в потемках родною степью, сами почти плененные, ведем пленного врага. Всю ночь он будет идти с нами, голод, и жажду наши изведает, и усталость, и почувствует нашу волю пробиться на восток. Будто невидимыми цепями приковала его судьба к нам, а нас — к нему. Мы не можем его отпустить. Мы не можем его убить. Он будет с нами все время, как проклятье.

54

Ночью, когда из глубин космоса проступают звезды, пробиваются к нам скупым светом, мы чувствуем, что идем не просто по земле — идем по планете. Может быть, простор и открытость степей дают нам это ощущение — идем по планете. Несем с собой удивительную уверенность, что из всех творений природы, из всех миров, которые где-то блуждают в космической беспредельности, нет лучшего, чем наш,— теплая, зеленая планета, созданная для всего живого, для удивительно разумных существ. Воды на ней — океаны. Солнца вдоволь. Идем в земном поясе, где издревле бурно цвела под тем солнцем жизнь. Мамонты когда-то здесь водились. Эллинские мореплаватели стремились к этим берегам и слагали о них свои золотые легенды. Царства степняков, царства скифские, половецкие ржали тут конями, оставив после себя высокие курганы, размытые дождями, разрушаемые ветрами, но не сглаженные временем. В тех курганах, которые мы собирались исследовать с нашим профессором, ждут нас греческие амфоры невероятной красоты, ждут немые свидетели жизни прошедших поколений.

Небо днем огромное, ночью еще больше. Всей темнотой, звездами, глубинами вселенной открывается над нами. Еще недавно в это небо поднимались радуги весенние, светились сочно под солнцем, дымились после дождя необозримые, посеянные человеком хлеба, и он стоял среди них, словно в океане, радуясь трудам своим, плодовитости земли... А нынче пылают по степям элеваторы, наполненные колхозным хлебом, и небо не в радугах, а в прожекторах и ракетах, и лежат расстрелянные в степи пастухи, колхозные механизаторы и дети — фабзавучники из Николаева, на которых мы в одном месте наткнулись. Они, как и мы, тоже отступали степью, и пули «мессершмиттов» настигли их среди незащищенных степных просторов.

Детские тела разбросаны по стерне, за плечами убитых дорожные сумки, к которым мы так и не решились притронуться...

Такой ты стала, земля.

В небе ночном видим далекую красную планету Марс.

— Неужели и там так? — говорит мне Духнович.— Неужели и там это высокоорганизованное существо не имеет покоя, радости, счастья? Как бы хотелось дожить до тех дней, когда человечество вырвется туда, на звездные трассы, пошлет к другим планетам свои космические корабли. Циолковский считал, что это произойдет еще в нашем столетии. Как быстро развивается человечество! Давно ли еще в этой вот степи скрипели деревянными колесами кибитки кочевников, шатры виднелись половецкие, и человек был в возрасте детском, а ныне он полубог, только какой полубог! Возьми тех же немцев: были люди как люди, цивилизованная нация, а теперь их ненавидит весь свет...

— Не за то, что немцы, а за то, что фашисты, что хотят жить разбоем.

— Если верить этому типу, они изобретают или даже уже изобрели новое чудовищное оружие,— говорит Духнович, помолчав.— Мы тоже изобретем его, другие тоже создадут, какая же перспектива? Самоуничтожение? Нет, пока это племя, которое населяет землю и

зовется человечеством, не обуздает безумцев, не осознает себя как единое целое, не видать ему добра!

— Эта война должна быть последней из всех войн, какие были на земле,— размышляет вслух Колумб.— До каких же пор будут изобретать для войны — не пора ли уже изобрести что-нибудь — раз и навсегда — против нее? Земля — не полигон. Земля — это нива, чтобы сеять...

Звездная ночь поднялась над степями, высокая, огромная, и мы идем сквозь нее с верою, что жертвы наши не напрасны, что мы — последнее поколение людей на земле, которое вынуждено взять оружие в руки.

— Даже детей не щадят,— говорит Гришко, видно, вспомнив расстрелянных с самолета фабзавучников.— Орел охотится на зайца, ястреб — на полевую мышь, человеком созданная птица охотится за человеком... Нет, дальше так невозможно.

— И главное, что нет же в этом никакой необходимости в наше время,— вздохнув, говорит Духнович.— Атеист я, безбожник рыжий, но когда смотрел на девчат там, на птицеферме, на их устремленные куда-то вверх, «в стратосферу», светлые лица, как я их понимал! Зачем? Зачем это все?.. Пожары до небес... Страшные эти разрушения, которые чужеземцы несут с собой?..— Некоторое время он помолчал, потом голос его стал мягче, словно бы повеселел.— Если говорить о себе, то я до сих пор был больше объект войны, чем ее субъект. Солдат из меня был, кажется, неважный. «Интеллектуалист», ха! Как всякая букашка, я, разумеется, хочу жить, хочу копошиться на нашей грешной планете еще энное количество лет. Но если бы мне сказали: умри, Духнович, это нужно для того, чтобы на земле никогда больше не было войн... Простите мне высокий стиль, но, ей-же-ей, я не пожалел бы для этого своей маленькой несуразной жизни. По-моему, каждый человек должен хотя бы раз когда-нибудь достигнуть своего зенита...

— Что ты называешь зенитом?

— Умение, когда нужно, пожертвовать собой, вот что.

Час за часом шуршит кукуруза, по которой мы бредем, шуршат подсолнухи, которые так и остались неубранными, брошенными на произвол осенним дождям, зимним метелям да буранам. Плоды работящих человеческих рук, они утратили теперь свою ценность, никого уже не интересуют и становятся лишь укрытием для заросших, пропыленных, как мы, степных окруженцев. В одном месте натыкаемся на противотанковый ров и, перебравшись через него, оглядываемся, не потеряли ли немца в темноте.

— Газуй, газуй,— слышим голос Новосельца, который подгоняет прикладом этого спеца по газам, и вот пленный уже встряхивает перед нами своим соломенным арийским чубом. О том, чтобы вырваться, ускользнуть, удрать, он, кажется, и не помышляет. Держится послушно. И хоть непривычен к таким переходам, старается не отставать, держится ближе ко мне — потому ли, что тут его меньше толкают, или хочет, чтобы я видел его: вот, мол, он, не убежал.

— Что ни говорите,— ворчит Заградотрядник,— не нравится мне его лошадиная арийская физиономия. Не терплю.

— По-моему, у него винтиков не хватает,— слышу позади голос Гришко.— Рехнулся с перепугу. Вы видели днем, какие у него глаза? Глаза сумасшедшего, а на уме — все газы, газы. Он будто угорел от них.

— Может, этот угар когда-нибудь выйдет из него, и он еще станет человеком,— говорит Колумб.

— Этот угар, видно, никогда из него не выйдет. Он ему уже и разум помутил...

— Ничего себе будет «язык»,— ядовито подхватывает Заградотрядник.— Пока приведем, он от страха совсем с ума спятит. Из тихопомешанного буйным станет... Нате, радуйтесь, сумасшедшего вам привели. Только смирительную рубашку поскорее на него!

Однако пленный, кажется, еще при своем уме, потому что, услышав во время разговора слово «Колумб», он засмеялся мелким смешком,— его позабавило, что среди нас есть Колумб. Но на его смешок Колумб так ощетинился своими усами, что немец сразу умолк.

А в самом деле, не горькая ли ирония судьбы в том, что среди нас Колумб? Море, разбушевавшееся море войны подхватило нас и бросает из одной опасности в другую. Родные берега, которые по-нашему называются линией фронта, все время перемещаются в пространстве и, несмотря на усиленную, изнурительную нашу ходьбу, кажется, не приближаются, а, напротив, неумолимо отдаляются от нас на восток. Линия фронта где-то там, в глубине ночи, где с вечера и до утра висят по горизонту, между звездами, огромные осветительные ракеты, которые противник развешивает на парашютах. Мы зовем их «паникадилами» и торопимся к ним, потому что там, где их зажигают, надо полагать, как раз и проходит в эту ночь линия боев.

Немец понимает наше положение, понимает, куда и зачем мы так спешим, и когда мы на ходу посматриваем на далекие неподвижные ракеты на востоке, за которыми так упорно гонимся, он, кажется, в душе смеется над нами: «Гонитесь! Никогда вам их не догнать!»

«Но ведь и ты в наших руках,— думаю я с ненавистью,— и сколько бы мы ни шли, ты будешь идти вместе с нами, и жить тебе не больше, чем нам».

— Коммунист? — вдруг спрашивает меня пленный.

— Коммунист,— говорю.— А что?

Помолчав, пленный указывает на Колумба:

— А этот?

— Тоже коммунист.

— И тот? — спрашивает о Васе-танкисте.

— И он коммунист.

— Скажи ему,— слышим неожиданно хриплый, прерывистый голос молчуна Хурцилавы,— скажи, что все мы коммунисты с двадцать второго июня сорок первого года.

— И еще скажи,— говорит Заградотрядник,— что будет им крышка. Что б там ни было, а мы выиграем эту войну.

— Выиграем,— добавляет Колумб,— но никогда не перестанем ее ненавидеть. Так и скажи.

Какое-то время идем молча.

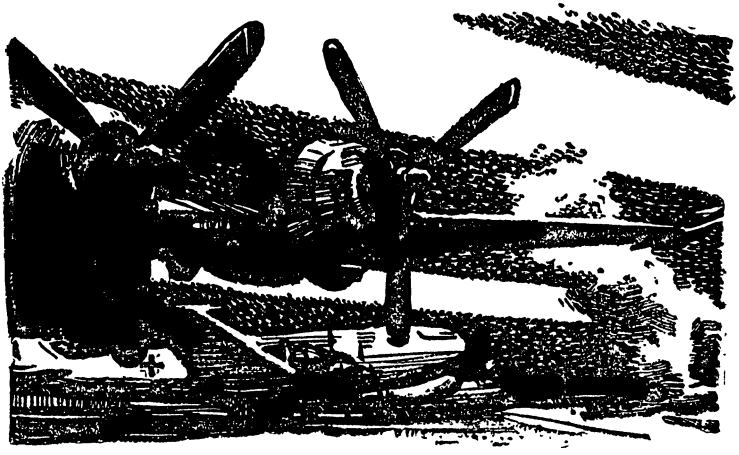
— Представь себе, Богдан,— слышу потом возле себя голос Духновича,— какими глазами посмотрел бы на нас человек далекого будущего... Солнечные, чудесные города. Свободные люди. Жизнь, где войны стали уже только достоянием археологов. И вот оттуда, из тех солнечных городов, смотрят на нас чьи-то глаза: кто они, эти оборванные, изможденные существа, которые в темноте бредут по планете? И сколько им еще надо пройти, пока достигнут своей заветной цели?

Бредем через какие-то заросли, высокие, как бамбук. Это сорго, красное просо, у степняков оно на веники идет. Только стали осторожно выходить из проса, как вдруг — что такое? Музыка где-то поблизости, радио говорит. Не по-нашему говорит. Присев, видим из зарослей, как по открытому полю, которое раскинулось перед нами, перемещается какой-то огонек, в другом месте виднеется палатка — возле нее радио. Слышен смех, музыка, веселый гомон. А дальше в степи темнеет что-то.

— Самолеты! Аэродром!

От неожиданности внутри похолодело.

Да, это самолеты. Мы с ходу напоролись прямо на немецкий полевой, может быть, только сегодня освоенный аэродром. Огонек — это, видно, часовой фонари-



ком посвечивал, а в палатке вовсю горит свет, никакой маскировки... Радио слушают, ужинают, жируют в завоевательской своей палатке. Им весело, им спокойно, выставили к самолетам одного-двух часовых и могут не тревожиться за этот степной аэродром, на который, возможно, только сегодня посадили свои победоносные машины.

— Эх, сюда бы мою машину,— шепчет идущий рядом со мной Вася-танкист. С каким наслаждением походил бы я гусеницами по ихним «хейнкелям».— И вдруг поднимается.— Знаешь, я пойду. У меня есть гранаты. Я подкрадусь, подползу...

Мы накоротке совещаемся и решаем: да, нападать! В помощь танкисту вызывается Татарин. На поясе у него кинжал-штык, и я знаю, как он умеет им орудовать. Пойдут двое, остальные будут прикрывать их отсюда.

По борозде они быстро отползают от нас в ту сторону, где ходит часовой.

— А как же с этим? — тихо говорит возле меня Заградотрядник. Это он о немце, который неподвижно лежит между нами.— Я, правда, заткнул ему кляпом рот, чтобы и не пикнул, но ведь он же длинноногий, гад! Как сиганет, разве его удержишь, в два прыжка будет у своих!

Пленный лежит, не шевельнется. Я чувствую локтем напряжение его тела. Все мышцы его напружинились, он весь подобрался, как перед прыжком, а глаза уже там, где музыка, где спасение... Но пусть только попробует. Вот он шевельнулся на локтях, и в то же мгновение чей-то штык уже снова прижал его к земле.

Впереди веселье в самом разгаре, все громче ржет-хохочет проклятый этот завоевательских шатер, так нагло

разбитый в нашей степи. Сейчас там отводят душу фашистские ассы.

Мы берем ее на прицел, всю палатку вместе с ее наглым смехом, чужой музыкой. Напрягая зрение, ждем. Мы отлично сознаем всю опасность, мы впервые, находясь в окружении, обнаруживаем себя, но ведь такой случай, и мы не безоружны, мы готовы к этому бою, чем бы он ни кончился для нас. Товарищи растаяли в темноте, а часовой ходит. И вдруг его не стало: упал, даже не вскрикнув.

— Укокошили,— шепчет Заградотрядник.

Когда первая граната рванула самолет, мы залпом открыли огонь по палатке. Одним духом я разрядил весь диск. Пока вставлял второй, между темными силуэтами самолетов снова вспыхнуло пламя, громыхнуло два взрыва — один за другим. Панические выкрики, стрельба, ракеты тут и там рвут темноту. Мы ведем огонь по самолетам, по палатке. Мы не сойдем с места, пока товарищи не вернутся.

Неподалеку слышим из темноты стон, и я с Духновичем бросаюсь туда. Это танкист.

— Я ранен... Возьмите меня.

Мы тянем его в нашу бамбуковую чащу.

— А где Татарин?

— Татарина нет. Он убит.

Через несколько минут мы уже торопливо отступаем в глубину степи через просо, через подсолнечники. Оглянувшись, видим, как зарево встает над аэродромом: горят самолеты! Горят!

Слышим за собой шум тревоги. В небе разливается мертвенный свет ракет, прошивают темноту пунктиры трассирующих пуль... Наэлектризованные боем, с лихорадочным чувством отходим все дальше, а немцы выпускают и выпускают вслед нам ракеты, но до нас они не долетают.

Танкиста мы несем на плащ-палатке, несем вчетвером, и немец несет, тяжело дыша, крепко ухватившись за один из концов.

Раненый стонет все сильнее, он истекает кровью, его нужно немедленно перевязать. На пригорке возле скирды мы останавливаемся. Отсюда хорошо видны

костры пылающего аэродрома. Стрельба там все еще не прекращается, ракеты взвиваются в небо.

— У кого есть индивидуальные пакеты?

Торопливо разрывая пакеты один за другим, принимаемся с Духновичем перевязывать Васю-танкиста. Сейчас это делаем кое-как, днем разглядим, перевяжем лучше. Раны на спине, на ногах... Мы уже заканчиваем перевязку, как Гришко, возившийся у скирды, вдруг оглушает нас новостью:

— Бомбы! Целая скирда авиабомб!

Взволнованный, он рассказывает, как выдернул из скирды сноп и как рука его наткнулась на какой-то решетчатый ящик, и под ним еще и еще ящики, а в ящиках — бомбы. Мы бросаемся к скирде, раскидываем солому и видим: бомбы, бомбы, бомбы. Целая гора авиабомб!

— Наши, наша маркировка,— присмотревшись, говорит Новоселец.— Точно такие штуки наш завод вырабатывал, я еще этой весной сопровождал их по железной дороге в разные пункты назначения.

Похоже, завезли их сюда для степного аэродрома совсем недавно, торопливо свалили ночью, замаскировали снопами... Так наши и не успели ими воспользоваться. Теперь воспользуются другие, как только обнаружат. А обнаружат непременно. От аэродрома все взлетают и взлетают ракеты, мне уже кажется, что они падают все ближе и ближе. Нужно уходить!

— Взять раненого!

Команда касается и Духновича, но он не трогается с места. Упрямо стоит у скирды и вдруг говорит глухо:

— Это нужно уничтожить.

Это он о бомбах. Об этом складе черных, начиненных смертью бомб, что не сегодня-завтра, если их так оставим, будут пущены в ход. Полетят... На войска, на станции, на эшелоны эвакуированных! Конечно же, нужно уничтожить, но как?

— Как ты их уничтожишь, курсант? — спрашивает Заградотрядник.— Чтобы их подобрать, нужен патрон с детонатором, несколько метров бикфордова шнура...

— У меня есть граната,— говорит Духнович настойчиво, с каким-то даже раздражением.

Я знаю, в противогазной сумке у него в самом деле есть граната — последняя граната, которая осталась у нас на всех. Да, граната может начать, и тогда пойдет само... Но кто бросит? И что будет с тем, кто бросит? Не успеет отбежать. Будь он даже птицей, не успеет отлететь...

Вдруг в лощинке, где все чаще взвиваются ракеты, явственно слышим собачий лай. Погоня! Лай овчарок. Это нас травят, преследуют.

Духнович неожиданно делает рукой резкий жест.

— Уходите, я прикрою! — В руке у него уже сверкнула выхваченная из противотанковой сумки граната.

Я подхожу к нему:

— Дай сюда гранату!

— Не дам. Ты иди. Тебе вести людей... Я догоню! Идите! — кричит он всем. И чтобы вывести нас из оцепенения, прямо при нас резко выдергивает предохранительную чеку. Теперь только стиснутыми пальцами он сдерживает слепую силу взрыва.

Ракеты падают уже у холма, собачий лай нарастает. Кажется, не собаки, сами враги лают, гонясь за нами...

— Взять раненого!

Снова вчетвером мы подхватываем его и, отдаляясь, видим возле темной скирды бомб темную одинокую фигуру человека. Он сказал: «Догоню». Зачем он сказал: «Догоню»? Ведь он хорошо все понимает. Некоторое время я вижу в полумраке сутулую, совсем не воинственную фигуру Духновича. Эта сутуловатость оттого, что много дней и ночей гнулся он над книгами в библиотеках.

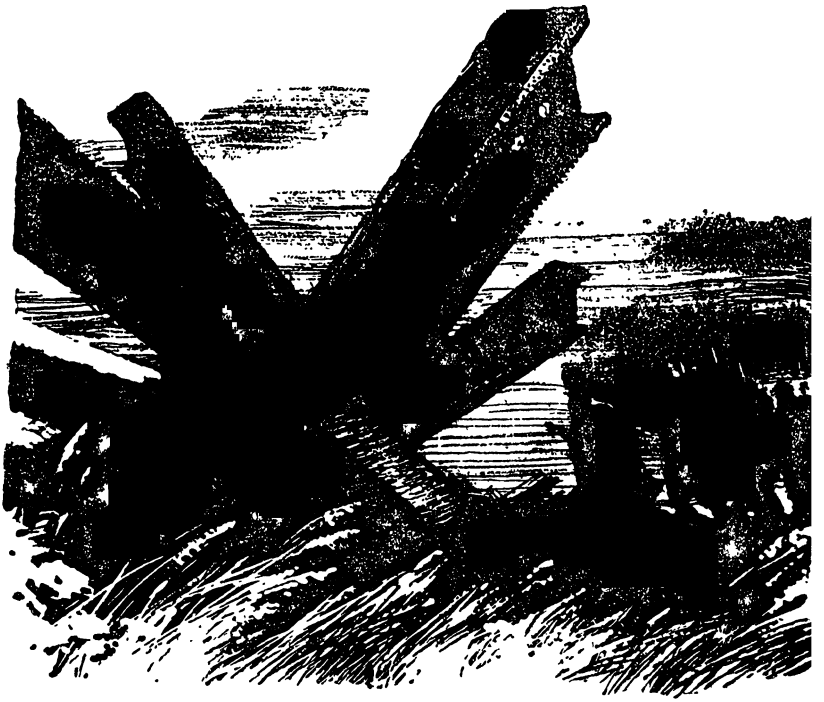
Спустившись с пригорка в заросшую густой полынью долину, кладем раненого, останавливаемся передохнуть. Ждем взрыва, но его все нет. Отсюда нам хорошо видны на пригорке скирда, то и дело освещаемая ракетами, и сутуловатая фигура человека, застывшего против нее. Ракеты и приближающийся лай собачий будто вовсе не касаются Духновича, он, как изваяние, стоит против той огромной скирды, в которой вместо снопов золотых, колосистых бомбы

на бомбах лежат — словно бы вся война собралась в ней со всею своей смертоносной силой...

— Боже, какой хлопец! — тихо говорит Колумб, стоя возле меня, и я так же думаю о Духновиче: какой он прекрасный! Как много мне хочется сказать ему! Такого друга, видно, уже не будет никогда у меня в жизни...

И в это мгновение там, где была скирда, земля взметнулась в небо огнем и грохот потряс земные недра. Ни ракет уже, ни лая, только пламя и удары, удары...

Упав в бурьян, на эту горькую, полынную планету, стискивая зубы, чтобы не разрыдаться, мы все ждем чуда — ждем, что из того грохота, из того бушующего огня появится перед нами знакомая фигура, ждем, хотя знаем, что Духнович никогда не появится больше.



55

И снова идем.

Боль утрат, и дух степей полынный, и Днепра синеву, и чистые, как юность, рассветы — все забрали с собой и все несем на восток.

Думаю о тебе, далекая моя любовь. Была ли ты на самом деле? Или я выдумал тебя? Нет, ты была, ты и сейчас есть по ту сторону всего этого ужаса, который нас разделяет. Жди, мы выйдем. У каждого из нас в сердце такой заряд любви и нежности, который выведет нас из этого ада.

Сильные духом, помнишь ты такое выражение? Тогда мы как-то по-книжному представляли себе таких людей, а за это время скольких я видел их, вижу ря-

дом с собой и сейчас. На вражеские танки они бросались за Днепром с зажигательными бутылками, грудью вставали на защиту Днепрогэса, держали рубежи, которые, казалось, удержать невозможно. Но, может быть, ярче всего эта сила духа человеческого

раскрывается для меня вот здесь, когда мы, отрезанные от своих, в далеком окружении, идем полями под ничейным небом, не подвластные никому, кроме самих себя. Словно вне времени идем, не зная, что делается на других фронтах. Цель наша — где-то в тумане, за мраком ночи, но мы готовы всю жизнь идти, лишь бы достичь ее. Мало у нас оружия, но самое верное, закаленное оружие в нас самих, в нашей воле, в наших сердцах.

Ветер ночной шелестит в посадках и впервые после стольких ночей доносит до нас отдаленный гул. Это гул фронта. Тревожное, в сполохах, небо алеет на горизонте, и на его фоне явственно проступают —

ближе и дальше — скирды, разбросанные по степи, и все они нам кажутся теперь складами замаскированных авиабомб. На севере шуршат под ветром без конца и без края темные поля кукурузы. И вдруг замечаем там силуэты людей! Множество людей в кукурузе, на стерне. Только мы их увидели, тотчас они исчезли. Залегли. Залегли и мы.

— Эй, кто там?

— Свои.

— Что за люди?

— С окопов люди. А вы? Вы — наши?

— Наши.

И лес людей встал. Мы сходимся все ближе. Все они с лопатами. Насколько проникает глаз в темноту — люди и лопаты. Бороды, сумки, шапки, картузы... Целая армия землекопов окружает нас. Наперебой рассказывают, как копали противотанковые рвы, сооружали полевой аэродром, работая до последнего дня, а потом была им команда отправляться в ближайшие военкоматы; пошли, а военкоматов уже нет — снялись и выехали; гнались за последним военкоматом от села к селу; они туда, а его уже нет, они дальше, а он еще дальше...

— Сколько вас?

— Много. Возьмите с собой. У вас ведь компас...— Передние глядят на светлячок компаса, который фосфоресцирует у меня на руке.— Возьмете?

Они ждут нашего ответа.

А я думаю, что без них выходить нам будет легче — мелкими группами пробираться безопаснее. Так что же, бросить их в беде? Бросить тех, которые, быть может, завтра станут солдатами наступления, бойцами победных битв?

— Хорошо,— говорю я им.— Мы вас берем. Только у нас — дисциплина.

— Дисциплина нам не страшна. Лишь бы выйти!

Когда трогаемся, все поле за нами шелестит. Уже не разберешь, где ветер ночной шелестит, а где люди, которые идут за нами в темноте, лавиной идут.

Гул фронта приближается, пожары растут. Нигде я не видел таких пожаров, как в эту ночь. Кажется,

сама земля горит на горизонте, тревожным багряным светом наполняя всю эту гудящую ветрами степную ночь. Пылающие степи, пылающие города, тревожно-багровое небо над нами,— может, все это видно даже жителям других планет? Может, и оттуда видно в сверхмощные телескопы это колоссальное опустошение, что охватило нашу родную землю в 41-й год XX столетия?

Сквозь просветы в тучах — звезда далекая, планета красная Марс. Кровавый тот Марс, который видел столько войн, сколько он еще их увидит?

А может, эта все-таки последняя? Когда-нибудь должно же это кончиться? Может, рождается уже то счастливое поколение, которое не будет гибнуть в войнах, ступит на поверхность иных планет и там утвердит вот это знамя, что сейчас несет Колумб под железным своим плащом.

Идем, идем. Как торпеды, пройдем сквозь эту степь, сквозь вражеские аэродромы, засады, сквозь все опасности, что встретятся на нашем пути. Кажется, стоит только выйти — и уже не будет войны. Кажется, стоит только пробиться, и перед нами, как с высокого перевала, откроются далекие коммунистические века. Кто из нас пробьется? Кто из нас погибнет в этих окруженческих, заревами охваченных степях? Может, всех нас ждет за тем вон бугром смерть? Или не в одних еще будем боях, и будем пропадать без вести, и будем пить воду из болот, и будем гибнуть в концлагерях, оставаясь и там твоими солдатами, Отчизна.

Но, даже погибая, будем твердо верить, что после нас станет иначе и все это больше не повторится, и счастливый человек, разряжая в солнечный день победы последнюю бомбу, скажет: это был последний кошмар на земле!

1958—1959

ЗНАМЕНОСЦЫ СОРОК ПЕРВОГО ГОДА

Произведения Олеся Гончара об Отечественной войне — это достоверные документы о событиях, которым суждена непреходяще долгая жизнь и на страницах истории, и в человеческих сердцах. И одновременно — это откровенная исповедь того поколения советских людей, которое перед всеми последующими может гордиться тем, что оно старше их удивительно намного — «на Отечественную войну»!

В самом деле, как не изумляться, как не гордиться этому поколению, если им сломлена самая темная сила истории — фашизм! Писатель не застывает плакучей ивой над памятью погибших... В сложном переплетении чувств — боли, восхищения, горечи — у О. Гончара рождается желание еще раз обратиться к своей фронтовой биографии, к биографии народа, чтобы выделить главное нравственное завоевание сражавшегося народа, присоединить это главное — героический опыт победителей — к сегодняшнему самосознанию современников, укрепить его мужество, готовность к подвигу. Быть старше на Отечественную войну — быть мудрее, прозорливее, нести людям лишь самые важные истины, те, которые выдержали проверку в огне войны.

Эта внутренняя логика творческого пути Олеся Гончара — стремление передать эстафету подвига, героизма — позволяет понять и ту эволюцию темы Отечественной войны, которая наблюдается в творчестве писателя.

Шестнадцать лет назад Олесь Гончар завершил свою трилогию «Знаменосцы». «Альпы», «Голубой Дунай», «Злата Прага» — вехи той нелегкой дороги, которую прошла батарея молодого офицера Брянского и сменившего его Черныша, вся Советская Армия — освободительница народов от фашизма.

Это было яркое, романтическое слово о войне, слово, вынесенное из самой гущи событий. Уже тогда читатель, в том числе и читатель-фронтовик, увидел в молодом писателе человека, который не просто много знает о войне — этим тогда трудно было удивить! — но человека, который поднялся до философских мыслей о своем времени. И эти мысли позволяли ему совместить на своей картине нежность и жестокость, движение и покой, небудничный свет побед и горечь утрат.

«Какая жажда жизни, какое упоение ее великолепным разнообразием, ее бурями и грозами, ее цветами, травами, ветрами, солнечными далями, какая головокружительная любовь к свободе, к Родине, к людям!» — эти слова М. Рыльского хочется поставить эпиграфом к замечательной трилогии Гончара. Любовь к Родине усилена во много крат подвигом ради нее; привязанность к жизни проверена в смертельных боях; солнце сияет после трагических потрясений. И именно «золотой нитью любви» связаны воедино бойцы О. Гончара, Родина, природа и народ. Писатель отнюдь не забыл, что «война — это чудовищная, сверхъестественная усталость» (А. Барбюс), родная земля, о которой герои не раз вспоминают, лежала за их плечами, дымящаяся, истерзанная, оскорбленная нашествием. Но смысл народного подвига, душевный подъем народа требовал сильного, масштабного выражения, ярких красок романтики.

Олесь Гончар почувствовал уже тогда, что жестокие впечатления войны не убили в людях мирный, созидательный по своей сути склад мышления. Война не затмила исторических горизонтов для солдата Советской Армии. «Победить фашизм — это главное в данное время. Но мы есть народ, которому дано еще более высокое жизненное, историческое предназначение — продолжить работу созидания нового мира». Так думают многие герои «Знаменосцев»: и Роман Блаженко, и Хома Хаецкий, и молоденький телефонист Маковей.

И это была правда, та правда, которую народ в историческом пути своем поставил превыше всех правд на свете не для того, чтобы усомниться в ней перед лицом временных трудностей. Она и оправдывала «своеволие» писательских домыслов и гипербол. О. Гончар постоянно раздвигает границы реально видимого, просвечивает время светом высшей, героической правды, проверяет настоящее прошлым, усиливая этим оптимистический смысл происходящего.

Шли годы, стирая постепенно следы войны. И, однако, Олесь Гончар, несомненно, ощущал, что правда о Родине, о народе-знаменосце идей коммунизма была сказана им, как, впрочем, и всей нашей литературой, еще не вся.

Да, наше родное советское знамя победно реяло над колоннами воинов-победителей, над поверженным рейхстагом, взнесенное на эту далеко видимую «трибуну» советским солдатом-героем. Об этом надо было сказать, громко напомнить тем, кто склонен в своей политике упускать из виду или преуменьшать этот факт. Но писатель помнил, что это знамя вело советский народ и в ночах окруженческих его, пропитанное кровью и потом, отстаивали безвестные подвижники пылающего сорок первого года, партизаны, рабочие отряды, колхозники. И, всматриваясь в жизнь современного молодого поколения, писатель невольно спрашивал себя подобно одному из героев романа «Человек и оружие»: «Придут после нас иные поколения, будет у них иная жизнь, иные нравы, и будет их жизнь, наверно, легче, чем наша, но испытают ли они в новых условиях наше горение, изведают ли они когда-нибудь чувства, с которыми мы оставляли райком, уходили на фронт?» В «Знаменосцах» об этом, о начальном периоде войны, говорилось очень мало. События войны в трилогии протекают в тот период, когда «русская земля уже за холмом», а война близится к победному завершению. А ведь были и бои на границе, и борьба за Киев, и блокада Ленинграда и Севастополя.

Писатель не мог забыть впечатлений первых, самых тяжелых дней войны. Они жили в сердце, волновали, жгли неостывающим огнем его и через много лет. Знаменосцам сорок первого года, которые в самый трудный для родной страны час, как прометееву искру будущей победы, пронесли алые знамена, и посвящен роман «Человек и оружие». Эти безымянные герои сберегли чистоту и святость нашей цели; их кровь загорелась и на торжественном стяге, увенчавшем день нашей победы, и на вымпеле, доставленном в глубины космоса. В этом смысле, в плане всестороннего раскрытия пути, пройденного народом-воином, богатств души его, обретенных в этом пути, роман «Человек и оружие» является своеобразным эпическим прологом к «Знаменосцам», хотя место действия и герои их совершенно различны. В художественную ткань его к тому же влились и нравственный опыт пережитых десятилетий, значительно расши-

ривший и углубивший наши представления о героизме и величии советского человека, и художественный опыт О. Гончара, создавшего за эти годы целый ряд эпических произведений, в том числе романы «Таврия» и «Перекоп».

«Все это было на земле...» В подобном обращении к страницам 1941 года, к мужеству народа, проявленному в самый трудный для Родины час, есть своя закономерность, свой смысл. Воздействие этой закономерности испытали и К. Симонов, также обратившийся в романе «Живые и мертвые» к начальному этапу Отечественной войны, и Ю. Бондарев («Последние залпы», «Батальоны просят огня»), воскресивший в своей памяти трагическую коллизию,— разве их было мало в великом четырехлетнем поединке с фашизмом! — и белорусский писатель В. Быков в повестях «Журавлиный крик» и «Третья ракета», и эстонец П. Куусберг в романе «Два «я» Энны Кальма». Всем этим произведениям, ставшим новым словом о подвиге народа, сильным своим пафосом борьбы за мир,— в их ряду следует видеть и роман О. Гончара,— присущи и другие общие особенности. Крупный план событий, размещение их, как на карте генерального штаба, взгляд с птичьего полета сменяется крупным планом человеческого лица (будь то шолоховский Андрей Соколов, симоновский Синцов, герой киноэпопеи А. Довженко «Повесть пламенных лет» Иван Орлюк). К нему, герою, стягиваются все нити событий, через него раскрываются они, мерой его подвига измеряется грандиозность событий. Растянутое хроникальное описание в с е г о пути армии сменяется теперь «замедленной съемкой» одного драматического эпизода войны, полным испытанием сил героя в нем. В связи с этим батальная эпичность и панорамность, основанная на подавляющем воображение читателей количестве дивизий, танков, самолетов, собранных на полотне, сменяется подлинной эпичностью — величественным духовным миром человека-бойца, изображением духовных побед нашего воина над фашизмом. В конце концов в Отечественную войну, в известном смысле, не железо победило железо, не одни самолеты победили другие самолеты — этого у нас в 1941 году было даже меньше, чем у врага,— а победил народ, вооруженный бессмертной ленинской правдой, мечтой о коммунизме.

Значение этих высоких принципов нашей жизни, морального кодекса советского человека как раз и раскрывают современные произведения об Отечественной войне, они как бы вливают в сегодняшнее самосознание народа, строителя коммунизма, герои-

ческий опыт, пламенную любовь к Родине, которые жили в сражающемся поколении. Это и заставляет еще раз всмотреться в недавнее прошлое, воскресить портрет народа, человека-воина во всей незаурядности его дел, переживаний, в небудничном свете победы.

И это вполне естественно. Чем выше поднимаемся мы в глубины космоса, тем пристальнее вглядываемся в нашу родную землю и дорожим ею как колыбелью нашей мечты. И чем ближе мы подходим к счастливому будущему — к коммунизму,— все острее наша любовь к тем, кто отстоял это будущее в самые опасные для него дни.

Но эта общность современного подхода к теме Отечественной войны не сглаживает творческой индивидуальности писателей. Роман О. Гончара выделяется среди других горячим волнением, с которым автор прикасается к страницам пережитого, романтическим характером повествования, всем художественным строем, идущим от лучших традиций украинской классики. Биение мысли и «пожар чувств» М. Коцюбинского, «взор, омытый слезами» Л. Украинки и мужество красок великого Франко — все это, как и лучшее в собственном творчестве, использовал О. Гончар, создавая роман-думу о героях 1941 года.

Многое, что звучало в «Знаменосцах» лирично, просветленно — в том числе тема Родины, подвига,— здесь звучит драматичнее, острее. Роман и по форме очень своеобразен: это рапсодия с финалом, интродукцией, развернутыми лирическими отступлениями.

Июнь 1941 года. Украина, солнечная, трудовая, цветущая...

«Еще никто ничего не знает.

Еще бестревожно ходят по городу те, которым суждено биться на боевых рубежах, вырываться из окружения, гореть в кремационных печах концлагерей, насмерть стоять у Сталинграда и штурмовать Берлин...»

Так с картин весеннего Харькова начинается роман.

Мы впервые знакомимся с героями романа — студентами-историками Харьковского университета — строгим, целеустремленным Богданом Колосовским, «книгопроходцем» Мироном Духновичем, угрюмоватым, ищущим свое призвание Андреем Степурой, Таней Криворучко, невестой Богдана... В излучении неистраченных сил, с надеждами на мирный труд вступила эта юность в жизнь, но как только прозвучал зловещий вызов врага, они сдали, не колеблясь, свои льготные отсрочки и пошли на фронт... «Нет права у нас ни на какую особую судьбу, кроме

судьбы народной, судьбы Родины» — этим порывом объединены и донецкий шахтер Дробаха, и Богдан Колосовский — юноша глубоко травмированный арестом отца в 1937 году и подозрениями к себе, и многие другие... И эта горстка молодых добровольцев мужественно встала на пути лавины нашествия; писатель не смягчает ни в чем жизненных путей, этих бесконечно для него дорогих, прекрасных, как собственная юность, героев. И, может быть, именно поэтому яснее вырисовывается глубокая мысль романа о бессмертии народа, вооруженного светлой правдой ленинизма.

Писатель развивает мотивы трагической жестокости войны: все родилось для жизни, для счастья, и надо всем нависла тень нашествия. Он видит девушек, сбившихся в испуге на отдаленной от села птицеферме, и сразу же болью сжимается средце: «...словно из их будущего ударил нас стон невольничий, стон девчат — черниговок, полтавчанок, киевлянок,— которых эшелонами отправляют на запад, в рабство...» И сам Харьков, откуда шли навстречу врагу герои романа — студенты, сформированные в особый студенческий батальон, и Днепрогэс, «энергетическое сердце Украины», который они видят накануне разрушения,— все омрачено приближающейся бедой, надо всем будто простерто мрачное крыло войны. Олесь Гончар настоящее испытывает грядущим. Но, с другой стороны, он часто к будущему обращается из ночей сорок первого года, из степей багрово-темной, в пожарах до туч Украины с призывами не допустить новых войн.

Кажется временами, что сама неумолимая история то зло смеется над героями, вынужденными отходить на восток, бросать родные города, деревни, над их попытками остановить вражескую лавину, то уважительно посматривает на них, когда они упорно идут к своей цели, вывозят заводы, выносят знамена, свято храня в душе верность Родине. В самом деле, разве не уверенность в победе вселяют мысли главного героя романа Богдана Колосовского, бредущего с бойцами из окружения, когда отчаяние, казалось, давно бы могло завладеть его сердцем: «Боль утрат, и дух степей полынный, и Днепра синеву, и чистые, как юность, рассветы — все забрали с собой и все несем на восток... Словно вне времени идем, не зная, что делается на других фронтах. Цель наша — где-то в тумане, за мраком ночи, но мы готовы всю жизнь идти, лишь бы достичь ее».

Олесь Гончар не случайно избрал именно такую форму романа, которая позволяет предельно сокращать расстояния между писателем и героями, вводить авторские раздумья, совмещать

приемы лирического дневника, эпического романа, народной думы...

«Чем ночь темней, тем ярче звезды...» Какие же путеводные звезды светят молодым героям О. Гончара в страшные ночи 1941 года? В «Знаменосцах» Родина была, как мы говорили, за холмом, ее свет шел издалека, с тыла. В романе «Человек и оружие» она рядом, она окружает, волнует с детства полюбившимися приметами. Напряженность внутренней жизни Богдана Колосовского, Мирона Духновича, молодых людей, еще вчера сдававших экзамены по древней истории, состоит в том, что все привычное, родное, близкое до боли сердечной сейчас каждодневно оскорбляется, гибнет. Олесь Гончар с большой художественной выразительностью передает жгучую муку молодых своих героев, тревогу за Родину, за разрушаемую красоту. Жестокие откровения войны врываются в сердце Богдана, юного мечтателя Степуры с такой резкостью, с такой горькой наглядностью, что кажется, они вот-вот придавят, пригнут их, погасят для них все звезды...

Олесь Гончар не скрывает возможности подобного психологического сдвига — ведь характеры юношей еще так податливы, мягки: они как глина у скульптора-времени в руках. Иное сердце порой так много вместит великой печали, тоски, разлитой и в глазах матерей, и во взорах девчат, и в расколотых касках, которые кладут на могилы, что рождаются невольные обращения к своей совести: «Задыхаясь от слез, Степура стоял над могилой, и думы его сами собой складывались в горькие строки: «Пройдем мы, и нас не будет. Что же останется после нас? Каски разбитые? Белые кости во ржи? Иль обелиски встанут до туч?»

Этот путь нравственного возмужания проходят все герои О. Гончара. Писателя больше всего интересует проверка истинного в их взглядах, замена гуманизма мечтательного или поверхностно усвоенного гуманизмом деятельным, подлинно человечным.

Так, Спартак Павлущенко, комсорг факультета, на фронте понял, сколь узки, неверны были его прежние оценки того же Богдана Колосовского лишь по анкетным данным, на основе формальной правильности дел и поступков человека.

Другого рода обновление души произошло со Степурой, молодым поэтом и романтиком. Ведь вначале в душе Степуры жило наивное верование во всесилие красоты, идей добра, величия природы, ему казалось, что красота сама себя хранит, хранит тем, что одним своим воздействием на душу человека отводит от

себя злую мысль о разрушении, гибели. Но вскоре он начинает мыслить иначе.

«Красота против войны,— думает Степура,— нет, этого недостаточно. Тут еще нужны сталь, беспощадность, нужна неутолимая жажда истребления врага...» Красота и добро не действительны без нас, мы их единственные защитники — к этой зрелой высокой мысли приходят герои романа, вырастая духовно и нравственно.

Особенно большое значение для боевого возмужания недавних студентов имела воспитательная работа комиссара Лещенко. В немногих эпизодах действует он. Но как глубок и серьезен весь смысл его дел! Именно Лещенко, облеченный высоким доверием партии, сумел рассмотреть чистую и благородную душу бойца, патриота в Богдане Колосовском, окрылил своим доверием его нравственные силы, вдохновил на подвиги. Это он нашел в себе мужество остановить бессмысленную неподготовленную атаку, затеянную самодуром Девятым. Благодаря ему студбатовцы особенно наглядно убеждаются в величии и мудрости дел партии, ее руководства, подлинной человечности и яркости характера коммуниста-бойца.

Олесь Гончар сознательно обостряет путь духовного возмужания своих героев, показывает рождение несокрушимой твердости характера, усиление любви к Родине, верности ее идеалам в обстоятельствах, в которых люди иного воспитания, солдаты иных армий были бы немедленно захлестнуты волной деморализации, духовного кризиса.

Герои романа О. Гончара — недавние студенты, жившие в мире книг, в эту суровую годину в свете народного подвига рассмотрели великие истины нашей жизни, могучие возможности народа так, как они не видели их раньше. Да, они видят, как разрушается все вокруг, это поражает их размером бедствия, но они осознают одновременно и размах деяний народа-созидателя, величие его духа, позволяющее ему своими руками уничтожить созданное. Они рассмотрели главное: как много было создано народом до них и для них, как привыкли они жить и при свете Днепрогэса, и в самой атмосфере коллективизма — основы нашего общества. Это было привычно, обыденно, сейчас это кажется самым дорогим. Нет ничего заурядного, мелкого в народе-богатыре, и этой мерой невольно начинают мерить свои дела и мысли герои О. Гончара.

Эмоциональная напряженность повествования, взаимовлияние героев чрезвычайно повышает в романе роль тех, кого обычно

называют эпизодичными героями. На всех их падает большая нагрузка, идейная, эмоциональная, и все они существенны для раскрытия мысли романиста. Из таких эпизодических героев особенно запоминаются два — рядовой артиллерист Решетняк, «врачующий» Духновича простыми средствами солдатской медицины, помогающей ему войти в войну, как в «горячий цех», где мужественный труд, черный труд солдата ведет к победе, и тетя Поля, последняя дежурная на Днепрогэсе.

Глубоко трогает душевная ясность этого простого рабочего человека — тёти Поли,— сцена ее последнего дежурства на Днепрогэсе. Вот она, старенькая, одинокая мать, проводившая сына на фронт, сидит с карабином у ворот Днепрогэса, прислушиваясь к затихающему биению его могучего сердца. Вся ее жизнь проходит в памяти: «Всяко бывало в жизни: были и обиды, были и премии, но все это теперь куда-то отошло... Хотя и малограмотна, но до чего же ясно видит она сейчас, что было хорошо в жизни и что неладно. Добре умели строить, даже ночами с музыкой приходили сюда заводские помогать днепростроевцам, и целые ночи при свете прожекторов кипела работа в котлованах. А как спасали стройку от весенних паводков, работали, не боясь никаких простуд, не жалея себя,— и вот он поднялся над дикими скалами, их Днепрогэс...»

Трагический свет войны рельефно очертил, осветил, выхватил из мрака единственно дорогое и близкое народному сердцу — приметы Родины, ее лицо, затуманенное слезами и едким дымом пожаров.

Все — и личный успех в жизни, и величие мыслей, и героизм поступков — студбатовцы начинают измерять одной мерой: свободой Родины, ее счастьем.

И как символично, что из окружения, когда нет никаких путеводных огней впереди, Богдан Колосовский и Мирон Духнович идут на восток по трассе электропередач Днепрогэса: «Бредем по степям, всюду натыкаемся на следы Днепрогэса, точно на останки погибшей цивилизации. Мачты. Пустота вокруг, и в ней — стройные днепрогэсовские мачты... Оборванные их провода грузно свисают на землю, теряются в полынях. Иногда мы останавливаемся возле такой мачты, и она высоко поднимается над нами, как монумент иной жизни, как напоминание о жизни электрической, трудовой, когда пчелиный гул электромоторов все лето слышен был на колхозных гумнах...» Сколько людей в это время таким же образом осознавало кровную связь с довоенной

жизнью, точно так же обращалось к высоким идеалам нашего общества!

Олесь Гончар своим романом словно прокладывает мостик к драгоценному нравственному опыту тех, теперь уже дальних лет. Опыт этот, нажитый в борьбе, сопутствует современным делам народа, его раздумьям, мечтам. В особенности актуален антивоенный, гуманистический пафос романа. Герои О. Гончара, опаленные войной, вынесшие все ее удары, ненавидят войну, мечтают о том времени, когда «счастливый человек, разряжая в солнечный день победы последнюю бомбу, скажет: это был последний кошмар на земле!»

Настоящее и будущее... О них всегда говорят люди, во все времена, в разных условиях. «Будущее! Будущее! Дело будущего — стереть это настоящее, решительно уничтожить, как нечто гнусное и позорное»,— так говорили солдаты в окопах первой мировой войны, герои романа «Огонь» Анри Барбюса. Философия героев Гончара иная. Дело будущего — уничтожить все античеловеческое, все, что до сих пор мешает земле стать пристанищем счастливого рода человеческого, смести войны, грозящие убить саму жизнь. Но в то же время это будущее должно взять из настоящего зерна светлой Правды, оно должно устроить жизнь на земле согласно лучшим идеалам. И слово солдат сорок первого года о судьбах будущего — решающее слово всего нашего народа — первооткрывателя новых миров. К нему, к мечте его о мире, о красоте жизни, вечной и неистребимой, должны прислушаться люди.

Роман «Человек и оружие» одновременно знаменует собой новый этап в развитии, укреплении романтического «крыла» нашей литературы, свидетельствует о «полноте власти» мастера литературы социалистического реализма над жизненным материалом, о полноте и глубине эстетического освоения искусством жизни нашей эпохи.

Новый роман, на наш взгляд, интересен тем, что Олесь Гончар ведет поиски новых художественных средств, показывающих «полноту власти» социалистического реализма над жизненным материалом где-то на границе романтического и предельно достоверного. На наш взгляд, в романе сугубо достоверное, бытовое часто перерастает в романтически обобщенное. Разве картины и сцены, связанные с тетей Полей, с Богданом Колосовским, прислонившимся к мачте Днепрогэса, как к маяку своей

жизни,— разве это не синтез достоверности и условности? Жизнь здесь рисуется в формах самой жизни, каждое душевное движение вполне обычно, воссоздано без авторской патетики, домысла. Но оно же и романтично, оно обобщает душевную жизнь всего народа в тот исторический период. Слова великие и слова простые живут здесь в полной гармонии, реальное питает символичное, крупный план подчеркивает яркость деталей.

Столь же удивительно и возросшее мастерство О. Гончара в живописи словом, в умении передать через мгновенную зарисовку и состояние чувств, и общую душевную настроенность героев, и дух времени. Вспоминается одна сцена — сцена бомбардировки студенческого эшелона на пути к фронту. «Прожекторы шарят по небу, по облакам — редким, высоким. Как руки войны, взметнутся вверх, сграбастают все небо, скрестятся, потом один остановится на мгновение в туче светлым огненным кулаком и вдруг, укоротившись, вмиг исчезнет, сея тревогу... И вот на самом острие одного из них вдруг сверкнуло что-то белое, ослепительное. И уже исчезает, теряет значение все остальное, и над бесконечным хаосом тьмы блестит на острие прожектора только одна она, эта точечка — человек, в гудящей ночной вышине. Человек, дюралюминий и бомбы». Так видят схватку зенитчиков с самолетами врага еще не обстрелянные студбатовцы. В этом выразились они сами — и их испуг перед неведомым «хаосом войны», и их страстное стремление также найти, «поймать» врага, вцепиться в него и не отпускать, пока он не рухнет на землю. Яркости изображения, рельефности картин и ситуаций помогает и добрый, народный в основе своей, красочный, но не легковесно-праздничный язык, которым написан роман и который умело сохранили переводчики.

Эти уроки романтики Олеся Гончара — уроки для всей нашей литературы. И это не только завоевание Гончара-стилиста, Гончара — мастера слова. Важнее отметить сейчас успех Гончара как писателя-мыслителя, плодотворность для всей нашей литературы такого именно видения жизни, которое присутствует в романе «Человек и оружие». Поэтому вполне заслуженно автор романа отмечен общественностью Украины — в марте 1962 года он удостоен премии имени Т. Г. Шевченко.

В. Чалмаев

СОДЕРЖАНИЕ

Человек и оружие *(Роман)* 5
В. Чалмаев. Знаменосцы сорок первого года . 356

Александр Терентьевич
Гончар
(Олесь Гончар)

ЧЕЛОВЕК И ОРУЖИЕ

Редактор *М. Новохатский*
Художественный редактор *Г. Кудрявцев*
Технический редактор *А. Трошин*
Корректор *М. Муромцева*

Сдано в набор 14/III 1962 г. Подписано в печать 30/V 1962 г. Бумага 60×84¹/₁₆ — 23 печ. л. = 20,9 усл. печ. л. 18,37+1 вклейка = 18,43 уч. изд. л. Тираж 100 000. Заказ № 2841. Цена 88 коп.

Гослитиздат,
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Московского городского Совнархоза.
Москва, Ж-54, Валовая, 28.

ЧЕЛОВЕК И ОРУЖИЕ

О. ГОНЧАР